



**ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ДРУЖБЫ НАРОДОВ
СЕРИЯ:
СОЦИОЛОГИЯ**

2023 Том 23 № 3

**Научный журнал
Издается с 2001 г.**

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-61214 от 30.03.2015 г.

Учредитель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»

**RUDN JOURNAL
OF SOCIOLOGY**

2023 Volume 23 No. 3

**Founded in 2001
by the Peoples' Friendship University of Russia
named after Patrice Lumumba**

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: СОЦИОЛОГИЯ

ISSN 2408-8897 (online); 2313-2272 (print)

4 выпуска в год.

Языки: русский, английский.

Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ.

Публикует статьи по научным специальностям согласно номенклатуре ВАК РФ: 22.00.00 — социологические науки и 09.00.11 — социальная философия. Журнал включен в ядро РИНЦ, RSCI, Scopus, ERICH PLUS, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Ulrich's Periodicals Directory, EBSCOhost, Google Scholar, WorldCat, Electronic Journals Library Cyberleninka. Журнал индексируется в базе данных Web of Science — Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics). Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 20826.

Цели и тематика

Журнал «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология» — периодическое международно-рецензируемое научное издание в области социологических исследований. Журнал является международным как по составу редакционной коллегии и экспертного совета, так и по авторам и тематике публикаций.

Цели журнала: публикация результатов фундаментальных и прикладных научных исследований по актуальным вопросам социологической науки, широкий обмен результатами теоретических и эмпирических исследований между специалистами, работающими в различных областях социально-гуманитарного знания. На страницах журнала публикуются материалы по историографии мировой социальной мысли как классического, так и современного периода; статьи по результатам фундаментальных и прикладных исследований по проблематике специальных социологических теорий, по методологии и методике социологических исследований и др. В журнале выступают специалисты, представляющие ведущие научные социологические центры, институты, организации, а также вузы России и зарубежных стран. Широкая тематика журнала представляет возможность публиковаться в нем представителям смежных специальностей (политологам, историкам, экономистам и т.д.), опирающимся в своих исследованиях на эмпирические социологические данные. Кроме научных статей публикуется хроника научной жизни, включающая рецензии, научные обзоры, информацию о конференциях, научных проектах.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE (Committee on Publication Ethics) <http://publicationethics.org>.

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования к подготовке и публикации статей, архив (полнотекстовые выпуски с 2008 года) и дополнительная информация размещены на сайте: <http://journals.rudn.ru/sociology>.

Электронный адрес: socioj@rudn.ru.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode>

RUDN JOURNAL OF SOCIOLOGY

ISSN 2408-8897 (online); 2313-2272 (print)

4 issues per year.

Languages: Russian, English.

Indexed/abstracted in RSCI, Scopus, ERICH PLUS, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Ulrich's Periodicals Directory, EBSCOhost, Google Scholar, WorldCat, Electronic Journals Library Cyberleninka. The journal is indexed and abstracted in the Web of Science — Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics).

Aims and Scope

Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia (RUDN Journal of Sociology) is a peer-reviewed international academic journal publishing research in sociology and related fields. It is international with regard to its editorial board, contributing authors and thematic foci of the publications.

The aims of the journal: to publish the results of fundamental and applied research on the topical issues of sociology, and to ensure a broad exchange of the results of theoretical and empirical studies between scientists from different fields of social sciences and humanities. In the journal one can find papers on the historiography of the classical and modern periods of the world social thought; on the results of fundamental and applied research devoted to the problems considered by special sociological theories; on the difficulties in choosing methodological approaches and techniques for the study of complex social phenomena, etc. The journal publishes papers of the authors representing the leading sociological centers, institutes, organizations, and universities in Russia and abroad. The thematic 'repertoire' of the journal presents opportunities for authors from many disciplinary fields (political scientists, historians, economists, etc.) relying on the empirical sociological data in their research. The journal also welcomes book reviews, literature overviews, and conference reports.

The journal is published in accordance with the policies of COPE (Committee on Publication Ethics) <http://publicationethics.org>.

Further information regarding the journal, its editorial board, requirements to articles for contributors, and the journal's archive (full-text issues from 2008) and additional information are available at <http://journals.rudn.ru/sociology>.

E-mail: socioj@rudn.ru.

Подписано в печать 05.09.2023. Выход в свет 15.09.2023. Формат 70×100/16.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Times New Roman».

Усл. печ. л. 23,08. Тираж 500 экз. Заказ № 1125. Цена свободная.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН)

117198, Москва, Россия, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Отпечатано в типографии ИПК РУДН: 115419, Москва, Россия, ул. Орджоникидзе, 3

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Нарбут Н.П., доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии Российского университета дружбы народов, Россия. E-mail: narbut-np@rudn.ru

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Троцук И.В., доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры социологии Российского университета дружбы народов, Россия. E-mail: trotsuk-iv@rudn.ru

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ

Бакиров В.С., доктор социологических наук, профессор, научный руководитель Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, академик НАН Украины, президент Украинской социологической ассоциации (Украина)

Гаспаривили А.Т., кандидат философских наук, доцент, заместитель директора Центра стратегии развития образования МГУ им. М.В. Ломоносова

Голенкова З.Т., доктор философских наук, профессор, руководитель Центра исследований социальной структуры и социального расслоения Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН

Гориков М.К., академик РАН, доктор философских наук, научный руководитель Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, директор Института социологии ФНИСЦ РАН

Диас Николас Х., доктор политологии, профессор факультета политических наук и социологии Мадридского университета Комплутенсе (Испания)

Егорышев С.В., доктор социологических наук, главный научный сотрудник Института социально-экономических исследований Уфимского федерального исследовательского центра РАН

Иванов В.Н., член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор, советник РАН

Куропятник М.С., доктор социологических наук, профессор, заведующая кафедрой культурной антропологии и этнической социологии Санкт-Петербургского государственного университета

Назарова И.Б., доктор экономических наук, заведующая лабораторией исследования здоровья населения и системы здравоохранения Института социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН

Пан Д., доктор социологических наук, профессор Института социологии Шанхайской академии общественных наук (КНР)

Подвойский Д.Г., кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры социальной философии и философии истории философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Пузанова Ж.В., доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры социологии, заведующая лабораторией социологических и фокус-групповых исследований факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов

Ротман Д.Г., доктор социологических наук, профессор, директор Центра социологических и политических исследований Белорусского государственного университета (Белоруссия)

Хагендорн Л., доктор философии (социальная психология), почетный профессор Утрехтского университета (Нидерланды)

Чамбаликова М., доктор философии (социология), профессор, научный сотрудник Института социологии Словацкой академии наук, заведующая кафедрой социологии и социальной психологии высшей школы Данубиуса (Словакия)

Чулуумбаатар Г., доктор философских наук, профессор, академик и первый вице-президент Монгольской академии наук (Монголия)

Шастри С., доктор философии, профессор, вице-канцлер университета Джагран Лейксити (Индия)

Шнайдер С., доктор философии (социология), профессор Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул (Бразилия)

Шубрт И., доктор философии (социология), профессор факультета гуманитарных исследований Карлова университета (Чехия)

Шувакович У., доктор социологических наук, профессор кафедры философии и социальных наук, Белградский университет (Сербия)

Литературный редактор *К.В. Зенкин*

Компьютерная верстка *И.А. Чернова*

Адрес редакции:

115419, Москва, Россия, ул. Орджоникидзе, д. 3

Тел.: (495) 955-07-16; e-mail: publishing@rudn.ru

Почтовый адрес редакции:

117198, Москва, Россия, ул. Миклухо-Маклая, д. 10/2

Тел.: (495) 434-20-12, e-mail: socioj@rudn.ru

EDITORIAL BOARD

EDITOR-IN-CHIEF

Narbut N.P., D.Sc (Sociology), Professor, Head of Sociology Chair, RUDN University, Moscow, Russia.
E-mail: narbut-np@rudn.

EXECUTIVE SECRETARY

Trotsuk I.V., D.Sc (Sociology), Professor, Sociology Chair, RUDN University, Moscow, Russia.
E-mail: trotsuk-iv@rudn.ru

EDITORIAL BOARD

Bakirov V.S., D.Sc (Sociology), Professor, Scientific Director of V.N. Karazin Kharkiv National University, Academician of National Academy of Sciences of Ukraine, President of Ukrainian Sociological Association (Ukraine)

Gasparishvili A.T., PhD (Philosophy), Associate Professor, Deputy Director, Center for Educational Development, Lomonosov Moscow State University (Russia)

Golenkova Z.T., D.Sc (Philosophy), Professor, Head of Center for Social Structure and Social Differentiation, Federal Sociological Research Center of Russian Academy of Sciences (Russia)

Gorshkov M.K., D.Sc (Philosophy), Academician of Russian Academy of Sciences, Scientific Director of Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of Russian Academy of Sciences, Head of Institute of Sociology of FCTAS of RAS (Russia)

Hagendoorn L., D.Sc (Social Psychology), Professor Emeritus, Utrecht University (Netherlands)

Diez Nicolás J., D.Sc (Political Sciences), Professor, School of Political Sciences and Sociology, Complutense University of Madrid (Spain)

Egoryshev S.V., D.Sc (Sociology), Senior Researcher, Institute of Social and Economic Studies, Ufa Federal Research Centre of Russian Academy of Sciences

Ivanov V.N., D.Sc (Philosophy), Professor, Corresponding Member and Advisor, Russian Academy of Sciences (Russia)

Kurojatinik M.S., D.Sc (Sociology), Professor, Chair of Cultural Anthropology and Ethnic Sociology, Saint Petersburg State University (Russia)

Nazarova I.B., D.Sc (Economics), Head of Laboratory for Population Health and Health System Studies, Institute of Socio-Economic Studies of Population, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of Russian Academy of Sciences (Russia)

Pan D., D.Sc (Sociology), Professor, Sociology Institute of Shanghai Academy of Social Sciences (China)

Podvoyskiy D.G., PhD (Philosophy), Associate Professor, Chair of Social Philosophy and Philosophy of History, Lomonosov Moscow State University (Russia)

Puzanova Zh.V., D.Sc (Sociology), Professor, Head of Laboratory of Sociological and Focus-Group Research, RUDN University (Russia)

Rotman D.G., D.Sc (Sociology), Professor, Head of Center for Sociological and Political Research, Belorussian State University (Belorussia)

Shastri S., PhD (Philosophy), Professor, Vice Chancellor, Jagran Lakecity University (India)

Schneider S., D.Sc (Sociology), Professor of Sociology of Rural Development and Food Studies, Federal University of Rio Grande do Sul (Brazil)

Čambáliková M., PhD (Sociology), Professor, Researcher, Institute of Sociology of Slovak Academy of Sciences; Head of Sociology and Social Psychology Chair, Higher School Danubius (Slovakia)

Chuluunbaatar G., D.Sc (Philosophy), Professor, Academician and First Vice-President of Mongolian Academy of Sciences (Mongolia)

Šubrt J., PhD (Sociology), Professor, Faculty of Humanities, Charles University (Czech Republic)

Šuvaković U., D.Sc (Sociology), Professor, Department of Philosophy and Social Sciences, University of Belgrade (Serbia)

Review Editor *Konstantin V. Zenkin*

Computer design *Irina A. Chernova*

Editorial office:

Postal Address of the Editorial Board:

10/2 Miklukho-Maklaya str., 117198 Moscow, Russian Federation

Ph. +7 (495) 434-20-12; e-mail: socioj@rudn.ru

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba (RUDN University), Moscow, Russian Federation

6 Miklukho-Maklaya str., 117198 Moscow, Russia

Printed at the RUDN Publishing House: 3, Ordzhonikidze str., 115419 Moscow, Russia,

+7 (495) 952-04-41; e-mail: publishing@rudn.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ

Куропятник М.С. Несвоевременные мысли о культуре разнообразия.....	419
Добренков В.И. Синергетическая парадигма глобального мира	433
Гончаров Н.В. Критика Э. Дюркгеймом эвдемонистической и гедонистической каузальности разделения труда в оптике современного консьюмеризма	451
Никулин А.М., Троцук И.В. Два с половиной незаслуженно забытых концептуальных основания сельской социологии (на англ.).....	468
Старостина Д.А. Социология тела как самостоятельное исследовательское направление: предпосылки становления и предметное поле	485

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Подлесная М.А., Шевченко О.К., Ильина И.В. Герои и героизм как репрезентации коллективной памяти.....	503
Троцук И.В., Субботина М.В. Представления россиян о героях и героизме: устойчивые и изменчивые компоненты (по материалам опросов общественного мнения)	525
Проказина Н.В., Ланцев В.Л. Социально-управленческие механизмы внедрения профессионального стандарта педагога: особенности и перспективы	546
Попов Е.А. Социальные функции наставников для выпускников детских домов (на примере Новосибирска)	564
Тупикова В.А., Гудкова Я.А., Овчинников-Лысенко Е.Г. Эмпатия студентов в контексте риска экстремизма	579

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ

Цвык В.А., Цвык И.В. Информационная безопасность личности как социальная проблема (на англ. яз.).....	590
Дорохина О.В., Синельников А.Б., Барков С.А. Запад, Россия и Китай: системы наследования и пути развития экономики (на англ. яз.)	600
Железняков А.С., Чулуунбаатар Г. Россия и Монголия в цивилизационной и геополитической парадигмах развития Центральной Евразии	612
Осадчая Г.И. Социогуманитарное сотрудничество членов Евразийского экономического союза: смыслы и инструменты	623

РЕЦЕНЗИИ

Кравченко С.А. Социологическая диагностика исторического сознания россиян: запрос на устойчивое развитие и преподавание социологии	634
Троцук И.В., Цимбал М.В. О пользе мифологем для социологического воображения	644

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Богдан И.В., Кузьменков В.А. Социогуманитарные аспекты построения диалога в системе здравоохранения	654
Овчинцева Л.А. Новейшие формы и модели кооперативного движения	661

НАШИ АВТОРЫ	668
-------------------	-----

CONTENTS

HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF SOCIOLOGICAL RESEARCH

Kurojpatnik M.S. Untimely thoughts on the culture of diversity	419
Dobrenkov V.I. Synergetic paradigm of the global world.....	433
Goncharov N.V. E. Durkheim's critique of the eudemonistic and hedonistic causality of the division of labor in the perspective of contemporary consumerism	451
Nikulin A.M., Trotsuk I.V. Two and a half undeservedly forgotten conceptual foundations of rural sociology	468
Starostina D.A. Sociology of the body as an independent research direction: Prerequisites for formation and subject field.....	485

CONTEMPORARY SOCIETY: THE URGENT ISSUES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

Podlesnaia M.A., Shevchenko O.K., Ilyina I.V. Heroes and heroism as representations of collective memory	503
Trotsuk I.V., Subbotina M.V. Russians' ideas of heroes and heroism: Stable and changing components (based on the public opinion polls).....	525
Prokazina N.V., Lantsev V.L. Social-managerial mechanisms for the implementation of the teacher's professional standard: Features and prospects	546
Popov E.A. Social functions of mentors for graduates of orphanages (on the example of Novosibirsk).....	564
Tupikova V.A., Gudkova Ya.A., Ovchinnikov-Lysenko E.G. Students' empathy in the context of extremist risks	579

SOCIOLOGICAL LECTURES

Tsvyk V.A., Tsvyk I.V. Personal information security as a social problem.....	590
Dorokhina O.V., Sinelnikov A.B., Barkov S.A. The West, Russia and China: Inheritance systems and ways of economic development	600
Zheleznyakov A.S., Chuluunbaatar G. Russia and Mongolia in the civilizational and geopolitical paradigms of Central Eurasia development	612
Osadchaya G.I. Eurasian Economic Union: Mechanisms and meanings of social-humanitarian cooperation.....	623

REVIEWS

Kravchenko S.A. Sociological diagnostics of the historical consciousness of Russians: Request for sustainable development and teaching of sociology	634
Trotsuk I.V., Tsimbal M.V. On the benefits of mythologies for sociological imagination	644

SCIENTIFIC LIFE

Bogdan I.V., Kuzmenkov V.A. Social-humanitarian aspects of dialogue in the healthcare system.....	654
Ovchintseva L.A. The latest forms and models of the cooperative movement	661

AUTHORS	668
----------------------	-----



ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ

HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF SOCIOLOGICAL RESEARCH

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-419-432

EDN: ZPRHGE

Несвоевременные мысли о культуре разнообразия*

М.С. Куропятник

Санкт-Петербургский государственный университет,
Университетская наб., 7–9, Санкт-Петербург, 199034, Россия

(e-mail: kuropjatnik@bk.ru)

Аннотация. Исследование феномена культурного разнообразия и сопряженных с ним моделей управления разнообразием, в том числе исторически сложившихся паттернов культурного доминирования, позволяет сформировать «иммунитет» к новейшим проявлениям евроцентризма. Как новая парадигма разнообразия интеркультурализм означает смещение фокуса с разнообразия культур и принципа мультикультурного сосуществования на культуру разнообразия, основными измерениями которой являются: осознание разнообразия, его признание, вовлеченность в контексты разнообразия, его репрезентация и создание большего количества общих публичных пространств. Концептуализация разнообразия как культуры, которая нуждается в поддержке соответствующих социальных институтов, позволяет сопрягать структурные изменения социальности и культурную перспективу. Другой важнейшей тенденцией представляется переосмысление культурного разнообразия: а) его дестигматизация как феномена сопрягаемого с Другими, с локусами экзотики и периферийности, и репрезентация как преимуществ в терминах творчества и культурных инноваций; б) концептуализация современных социальных и культурных контекстов в терминах суперразнообразия. В отличие от классических концепций мультикультурализма интеркультурализм сфокусирован на позитивных контактах между людьми как наиболее перспективном способе социальной интеграции и динамики в локальных контекстах суперразнообразия. Однако понимание этих процессов различается у сторонников политического (Ж. Бушар), социального (Т. Кэнтл) и культурного (Р. Запата-Барреро) течений интеркультурализма.

* © Куропятник М.С., 2023

Статья поступила 11.03.2023 г. Статья принята к публикации 15.06.2023 г.

В ситуации разрушения социальных структур и институтов интеркультурализм с его ориентацией на развитие межличностных контактов и выстраивание отношений через границы мог бы стать основанием для поиска компромиссов и взаимопонимания. Однако сформулированные в рамках интеркультурализма идеи и запущенные им процессы оказались «заперты» в западных контекстах, за пределами которых все более очевидна поляризация не только в политической, но и в культурной сфере. Эти тенденции подразумевают эпистемологическое и онтологическое различие Запада и России, продуцирование разрывов социокультурного пространства, паттернов эскалации схизмогенеза и культурной инкапсуляции, а также отказ от межкультурных контактов.

Ключевые слова: интеркультурализм; культура разнообразия; культурное разнообразие; позитивные контакты; паттерны культурного доминирования

Х. Арендт обратила внимание на трансформацию повседневных практик людей в логике «подстраивания» в контексте фашизации немецкого общества. Эта логика была вызвана к жизни «стремлением не отстать от веяний Времени», когда, например, «моментально сменило свои взгляды большинство публичных деятелей самых разных поприщ и культурных областей, и все это дополнялось необычайной легкостью, с которой рушились» социальные отношения [1. С. 55]. В условиях тектонических сдвигов, наблюдаемых сегодня во всех сферах жизни, тема культурного разнообразия во многом утратила свою актуальность. Речь идет не только о кардинальной смене содержания и тональности научных дискуссий, но и о возникновении множества контекстов, в которых научные идеи и концепты, сопряженные с изучением культурного разнообразия, уже не становятся источником социального и политического дискурса. Многие положения интеркультурализма как нового подхода к разнообразию сегодня представляются несвоевременными. Однако в ситуации разрушения социальных структур и институтов интеркультурализм с его ориентацией на развитие контактов мог бы стать основанием для поиска компромиссов и взаимопонимания. В любом случае, как заметил У. Ханнерц, исследование и, добавим, репрезентация разнообразия — лучшая прививка от евро- и этноцентризма [22. С. 49].

Как новая парадигма разнообразия, возникающая в последнем десятилетии, интеркультурализм интегрирует ряд теоретических направлений в логике частичного совмещения их проблемных полей, переосмысления концептов и дрейфа идей, создавая концептуальную карту, релевантную динамично меняющимся социокультурным контекстам XXI века. В условиях стремительного роста исследовательского поля наметилась тенденция подчеркивать новизну интеркультурализма как «принципиально иного концепта, отражающего новые реалии разнообразия» [16. С. 472]. Даже те исследователи, кто придерживается точки зрения на интеркультурализм как обновленную версию мультикультурализма, признают его эвристический потенциал — выход за рамки прежней модели мультикультурного сосуще-

ствования и большую ориентацию на развитие контактов и взаимодействий [24. С. 302; 25. С. 486–487] в контексте суперразнообразия и глобализации. Важно подчеркнуть, что в последнее время наметился сдвиг с обсуждения места интеркультурализма в дискурсе культурного разнообразия, определяемого его отношением к традиционным концепциям ассимиляции и мультикультурализма, к концептуализации самого интеркультурализма [27. С. 3] как нового подхода к разнообразию [23; 31], формируемого в пост-мультикультуральной перспективе.

От разнообразия культур к культуре разнообразия

Ключевым элементом интеркультурализма можно считать смещение фокуса внимания с «разнообразия культур», взлелеянного в лоне мультикультурализма и обернувшегося «видимостью» и осязаемым присутствием сообществ в социокультурном и политическом контекстах, на «культуру разнообразия» [33. С. 347], осмысляемую в логике процессуального подхода. Другими словами, речь идет уже не о мультикультурном сосуществовании по принципу «жить с разнообразием», а о поиске образа жизни «в условиях разнообразия» [16]. Культура разнообразия формируется в процессе взаимодействия людей с разными культурными основаниями и множественными идентичностями, а также приобретения ими опыта жизни в контексте суперразнообразия [26] — нового абсолютно для всех. В отличие от мультикультурализма, поддерживающего дискурс признания культурных различий, интеркультурализм акцентирует внимание на общности (*commonality*) [33. С. 347], возникающей благодаря вовлеченности в совместную деятельность. Привнесение этих идей в интеркультурализм сопровождается сдвигом от малопродуктивного постулирования «пропасти» культурных различий между европейцами и мигрантами, большинством и меньшинством в ходе утверждения и легитимации мультикультурализма к поиску новых смыслов и форм принадлежности в контекстах суперразнообразия, артикулируемых вне привычных коннотаций родства и происхождения. Этот сдвиг закрепляется в терминологии — культурный *background* в рамках интеркультурализма осмысляется как более значимое измерение разнообразия, чем этничность, религия или страна происхождения.

По мнению одного из наиболее влиятельных сторонников интеркультурализма Р. Запата-Барреро, культура разнообразия включает такие изменения, как осознание разнообразия, его признание, вовлеченность в контексты разнообразия, его репрезентацию и создание большего количества общих публичных пространств [34. С. 157]. Очевидно, что культура разнообразия концептуализируется и как продукт дискурса, и как процесс создания и репрезентации социальной реальности. Наряду с дискурсивным подходом к культуре, имплицитно отсылающим к идеям Н. Фэйрклоу

[18. С. 26], культура разнообразия представлена и как ожидаемый результат деятельности индивидуальных акторов и социальных институтов по созданию «контекстов совместной жизни». Этот концепт подразумевает переход от ставших тривиальными дискуссий о формах и степени разнообразия современных городов или обществ к обсуждению того, каким образом разнообразие может быть инкорпорировано в гражданскую культуру на уровне социальных институтов и повседневных практик [32. С. 31]. Концептуализация разнообразия не только как категории социального анализа и одного из современных контекстов, но и как культуры, которая нуждается в поддержке соответствующих социальных институтов [33. С. 347], позволяет сопрягать структурные изменения социальности и культурную перспективу. Однако признания культурного разнообразия в университетах и политических проектах мультикультурализма уже недостаточно, поэтому в дискурсе интеркультурализма обсуждаются возможные перспективы и формы признания разнообразия гражданами на основании приобретаемого ими интеркультурного опыта — «снизу», в локальных контекстах повседневной жизни [30. С. 7].

Методологический аспект интеркультурализма заключается в репрезентации контактов между людьми как наиболее перспективного способа социальной интеграции [33. С. 348] и основного драйвера европейской идентичности [24. С. 160]. Ориентация на развитие межличностных контактов становится столь значимой характеристикой интеркультурализма, отличающей его от классических концепций мультикультурализма [25. С. 486], что в ряде случаев интеркультурализм редуцируется к «техникам (способам) позитивного взаимодействия» [27. С. 8] или контактному подходу [29. С. 2, 16]. Концепт «позитивные контакты/взаимодействия» признается ключевым для интеркультурализма и релевантным его основным теоретическим направлениям [28. С. 163–164]. Однако содержание данного концепта различается у сторонников политического (Ж. Бушар), социального (Т. Кэнтл) и культурного течений (Р. Запата-Барреро) интеркультурализма. Ситуация осложняется и тем, что в дискурсе интеркультурализма термины «реципрокальные контакты», «техники позитивного взаимодействия», «межличностные контакты», «интеркультурный диалог» используются то как взаимозаменяемые, то как частично совпадающие.

Так, в рамках политического направления (Канады) речь идет о взаимодействии культуры большинства (граждан) и разнообразных культур меньшинств (иммигрантов) [13. С. 64], что привносит в интеркультурализм паттерны генерализации культуры и реификации группы — те самые «мультикультурные идола» (Р. Запата-Барреро), которые ранее определяли эпистемологические основания теории разнообразия. В теоретических рамках канадской модели интеркультурализма «парадигма дуальности» [24. С. 305] переопределяется в терминах поиска равновесия между лояль-

ностью и интересами граждан и правами иммигрантов, а признание «традиционных национальных ценностей» (а не только культур меньшинств) важнейшим аспектом взаимодействия приводит к смещению акцентов дискурса разнообразия в целом.

Европейские концепции интеркультурализма сфокусированы на межличностных контактах — как неформальных, так и предполагающих вовлеченность акторов в совместную деятельность. В отличие от интеркультурного диалога, ассоциируемого с переговорами, достижением соглашений и урегулированием конфликтов и имеющим четко выраженные социальные и политические коннотации [20. С. 11], «контакт» представляется рядом ученых более нейтральным термином [30. С. 10]. Если в концепции Т. Кэнтла позитивные взаимодействия понимаются как инструмент формирования «социальной сплоченности» (*community cohesion*) и новой гражданской культуры [14; 15], то в рамках культурного (или конструктивистского) подхода культурные контакты обретают коннотации творчества и инноваций [27. С. 8; 28. С. 164]. В последнем случае разнообразие представлено в терминах не традиции и этничности, а творчества, культурной трансформации, изменений, обновления, модернизации и даже культурного перформанса [28. С. 166]. Взгляд на культурное разнообразие как утрачивающее стигму периферийности и сопрягаемое с культурными изменениями и креативностью, ранее представленный в концепции креолизации У. Ханнерца [21. С. 65–78], становится релевантным в более широком контексте.

В отличие от мультикультурализма в сферу внимания интеркультурализма включен ряд фундаментальных достижений социальной антропологии, социологии и социальной психологии в изучении разнообразия и культурных контактов. Так, теория контакта Г. Оллпорта [10], длительное время находившаяся на периферии научных дискуссий, будучи интегрирована в теоретические рамки интеркультурализма [28. С. 160; 16. С. 474], обрела «вторую жизнь». Интерес к ней во многом обусловлен тем, что позитивные контакты, как свидетельствуют результаты многочисленных эмпирических исследований, действительно приводят к изменению установок, преодолению стереотипов и предрассудков [3], отказу от представления Других в ложном свете. То, что культурные различия могут быть усилены или ослаблены в результате контакта, убедительно продемонстрировал еще Г. Бейтсон [2]. Но способствует ли генерализация эффекта контакта, т.е. его перенос на других агентов, модусы и контексты [3. С. 193], если он развивается в позитивном ключе, формированию и расширению «зоны общих значений», сопрягаемой с культурой разнообразия? Среди сторонников интеркультурализма формируется убеждение, что культура разнообразия — это то новое для всех, что создается через контакты и как их результат [32. С. 15].

Интеркультурализм: способы формирования культуры разнообразия

Как социальный проект интеркультурализм ориентирован на создание «оптимальных условий» для развития позитивных контактов [34. С. 156] и их институциональную поддержку. Проблема в том, как моделировать эти условия и стимулировать контакты, тем более что опыт людей в этой сфере не всегда позитивный. Места, где живут и традиционно встречаются люди разного происхождения, — улицы, парки, рынки, «культурные перекрестки», которые также стары, как и городской образ жизни [17. С. 8], в рамках интеркультурализма понимаются как «публичные пространства контактов» [30. С. 8]. Социальная динамика в локальных контекстах суперразнообразия и отнесение интеркультурных инициатив к сфере ответственности местных органов власти и гражданского общества определяют содержание того «локального поворота», который связывают с интеркультурализмом.

Не менее важная задача — создание социальных условий для интеркультурных контактов в тех городских пространствах, где устойчиво воспроизводятся паттерны территориализации и инкапсуляции определенной культуры [30. С. 8], — в местах компактного проживания этнических сообществ, где возможно конституирование «другой социальности». Так, в ряде городов Германии, Франции и Нидерландов, в районах преимущественного проживания турецких иммигрантов, где «разнообразие оказывается у себя дома», будучи локализовано в том числе в мечетях и чайных домах, значимы именно локальные формы идентичности и принадлежности, которые вступают в диссонанс с опытом дискриминации и исключения на национальном уровне. Подобные тенденции отмечены и в местах компактного проживания мусульман в Великобритании. Такого рода соседства, сформированные по этническому или религиозному признаку в логике культурной инкапсуляции, воспринимаются местными жителями как своеобразный защитный «кокон» и при этом опираются на ресурсы транснациональных сетей [11. С. 2]. Продуцирование паттернов «параллельной жизни» приводит к ограничению контактов не только между иммигрантами и коренным населением, но и между этническими сообществами. Возникающие социальные границы только усиливаются сегрегацией в сферах занятости и образования, здравоохранения и культуры, когда отсутствие контактов с Другими оборачивается их демонизацией и нетолерантностью [16. С. 477].

В этой связи в фокусе внимания интеркультурализма оказываются социокультурные паттерны соседства, традиционно концептуализируемые в логике взаимного признания индивидов и групп, комплементарности [12. С. 178–187], но утратившие в крупных городах присущий им прежде социализирующий потенциал. Ревитализация соседских отношений в контекстах суперразнообразия рассматривается как один из инструментов социальной связанности и солидарности [34. С. 157]. Родственные

и семейные отношения неизбежно приводят к возникновению контекстов совместной жизни, где социальные отношения выстраиваются над различиями. Однако в публичных и академических дискуссиях эта тема традиционно обсуждается в логике проблемы толерантности и культурных различий, т.е. приверженности мигрантов культурным практикам и родственным конвенциям, кардинально отличающимся от «европейских традиций» [19. С. 9]. Несмотря на то, что такого рода представления часто являются продуктом социального воображения, они по-прежнему способствуют генерализации и эссенциализации культуры, что преодолевается в концепциях интеркультурализма, где романтические и брачные отношения понимаются в терминах взаимодействия людей с разным культурным опытом не в терминах «ограничений», а в логике реализации новых возможностей, т.е. акцент сделан на значимости родственных отношений в интеркультурном взаимодействии.

Интеллектуальные усилия интеркультурализма направлены на преобразование контекстов разнообразия, исторически сопрягаемых с социальным неравенством, отсутствием доверия и несправедливостью, в контексты, способные генерировать взаимопонимание и социальный капитал [30. С. 2, 7], — задача столь же амбициозная, сколь и трудно выполнимая. Прагматическая направленность интеркультурализма состоит в создании большего числа публичных пространств, где люди не только встречаются (например, в библиотеках), но и вовлекаются в совместную деятельность — проекты по преобразованию городской среды, занятия спортом, программы интеркультурного образования, профессиональная деятельность в компаниях и организациях. Особенно важны школы и университеты — как контексты множественных контактов и приобретения знаний. Например, во многих школах Великобритании наблюдается «балканизация», спровоцированная политикой поощрения различий и разделения по религиозному, этническому или классовому признаку. Т. Кэнтл предлагает развивать интеркультурные — в его версии «интегрупповые» — контакты на основе эмпирического обучения, вовлекая в этот процесс родителей и представителей разных сообществ. Эмпирическое обучение, которое отличается от практического непрерывным осмыслением и переоценкой ситуаций разнообразия, предполагает создание условий для «переживания» разнообразия не в алармистском, а позитивном ключе [16. С. 478], что в конечном счете должно способствовать тому, что люди будут чувствовать себя более комфортно. Создаваемые в европейских городах дискуссионные платформы и неформальные структуры [9. С. 101] в этом плане оказываются более эффективными, чем тренинги аккультурации и программы помощи мигрантам. Однако по-прежнему остается открытым вопрос, как избежать использования таких публичных пространств для репрезентации сообществами своих культурных притязаний и артикуляции культурных различий.

Итак, интеркультурализм сопрягается с социализацией и обучением [30], ориентированными на формирование через контакты «паттерна жить вместе» в контексте разнообразия (и суперразнообразия), а не сосуществования с Другими — этническими меньшинствами, иммигрантами. В рамках интеркультурализма формируется новое видение того, как «научиться жить вместе в условиях глобализации и суперразнообразия» [14. С. 2] — это известное выражение Т. Кэнтла становится лейтмотивом интеркультурализма. В его концепции социальной сплоченности прежний фокус мультикультурализма на преодолении неравенства и неблагополучия сопрягается с поиском способов выстраивания отношений «через границы», а не внутри них [16. С. 473]. И если разнообразие подобно мифическому двуликому Янусу [34. С. 157], то создание культурного нарратива о позитивном разнообразии способно изменить и установки, и паттерны поведения [16. С. 477]. Концепция социальной сплоченности, репрезентация разнообразия как преимущества и трактовка интеркультурализма как инструмента переговоров и достижения компромисса между единством и разнообразием вовлечены в формирование интеркультурализма как новой парадигмы разнообразия [32. С. 30].

Интеркультурализм: к новой концепции культурного разнообразия

Инструментальное значение интеркультурализма во многом определяется его усилиями по «доместикации разнообразия» в контексте глобального движения людей [34. С. 157]. Важным аспектом этой «доместикации» становится ребрендинг разнообразия, в том числе на основе стратегий символической инверсии, дестигматизации и включения в новые версии национальной идентичности, что требует преодоления дискурса Другого и артикуляции разнообразия как позитивной характеристики. Прежде всего, речь идет о преодолении тенденции использовать понятие разнообразия как эвфемизма для обозначения Других, все еще характерной для многих европейских контекстов [34. С. 155]. Символическая инверсия подразумевает своеобразное перевертывание противоположностей на шкале ценностей, смену акцентов социального дискурса — от репрезентации разнообразия, ассоциируемого с Другими, в терминах экзотики или опасности к артикуляции разнообразия как преимущества [29] в терминах творчества и инноваций.

Подобное смещение акцентов стало возможным в результате включения в теоретические рамки интеркультурализма положений об индигенизации разнообразия [23. С. 8] и мультипликации идентичностей. С одной стороны, индигенизация подразумевает признание культурного разнообразия фактором внутреннего развития национальных обществ, что свидетельствует о преодолении одного из давних заблуждений европейской мысли [4. С. 179]. С другой стороны, проникновение дискурса разнообразия в локальные контексты сопровождается приданием ему новых смыслов и включением науч-

ных концептов в локальные (индигенные) культурные конфигурации, что предопределяет связывание научного и ненаучного знания и онтологий множественными частичными отношениями. Параллельно в интеркультурализме происходит переход от признания доминирующего статуса национального нарратива к артикуляции значимости локальных репрезентаций и интерпретаций культурного разнообразия [34. С. 158].

Теоретическая рефлексия контекстов разнообразия в рамках интеркультурализма опирается на фундаментальные достижения социальной антропологии и социологии и осуществляется в логике «кластеризации» новейших концепций, таких как транснационализм, суперразнообразие и теория «социальной связанности» [33. С. 349]. Все это предопределило смещение на периферию научного дискурса «мультикультурных идиологов» (Р. Запата-Барреро) как эпистемологических оснований понимания разнообразия и управления им, а также переход от этно- (евро-) центристского и эссенциалистского взгляда на разнообразие и реификацию групп к признанию значимости индивидуальных культурных возможностей. Так, интеркультурализм в трактовке Р. Запата-Барреро акцентирует развитие индивидуальных возможностей и предпочтений, а также множественных траекторий социальной и культурной мобильности людей, которые больше не представлены исключительно как агенты своих «культур». Отличительной особенностью интеркультурализма становится артикуляция «равенства возможностей» как условия выбора образа жизни [28. С. 165].

Разнообразие как преимущество

Понимание разнообразия как преимущества (*diversity advantage*), не получившее развития в нормативном проекте мультикультурализма, характерно для городских исследований и менеджмента. Но именно в дискурсе интеркультурализма контексты разнообразия — ресурс и источник новых возможностей: для общества — генерируя новые формы принадлежности и социальной солидарности, для города или бизнес структур — продуцируя импульсы творчества и инноваций, социального и экономического развития, для индивида — создавая условия для реализации культурных возможностей [30. С. 9]. В городских пространствах, сопрягаемых с суперразнообразием, создается поле для индивидуальной избирательности и выбора, формируются условия, позволяющие актору стать бенефициаром ситуации. Так, в ряде земель Германии приняты законы, предусматривающие «интеркультурную открытость администрации» и предпочтения на рынках труда для соискателей с иммигрантскими корнями (20 % населения). В социальном дискурсе утверждается точка зрения, что более «разнообразная» рабочая сила позволяет получить доступ к новым сегментам рынка [23. С. 1, 8–9]. «Квотирование» персонала в структурах власти и управления, в организациях социальной сферы и руководстве компаний представлено как но-

вая стратегия — не только визуализировать локальные конфигурации разнообразия, но и заставить его «работать» [30. С. 9]. С другой стороны, более разнообразная среда, например города, привлекает людей с творческим потенциалом — речь идет о «дивидендах мобильности», о приобретенном опыте культурных обменов и взаимодействий в контексте суперразнообразия [34. С. 158]. В результате проекты управления разнообразием вытеснили программы аффирмативных действий (или позитивной дискриминации), весьма популярные, например, в США в 1980-е годы [23. С. 8–9]. Менеджер по управлению разнообразием становится влиятельной фигурой во многих транснациональных корпорациях, а их соответствие новым тенденциям — залогом не только успешного продвижения проектов, но и самой возможности их реализации.

Амплитуда подобных социальных проектов крайне широка: от управления разнообразием в сфере образования или бизнеса до репрезентации разнообразия в культурных нарративах — литературе, кино, искусстве. Парадокс в том, что в западных политических, экономических и культурных контекстах акторы не только побуждаются, но и принуждаются демонстрировать приверженность идее разнообразия, становящейся новым идолом современности. В дискурс разнообразия активно вовлекаются диаспоры и социальные медиа, бизнес-структуры и международные организации. Создается впечатление, что нередко разнообразие культивируется ради самого разнообразия. Необдуманное заигрывание с концептом разнообразия в политической сфере, включая злоупотребление инструменталистскими возможностями его «делового варианта» и расширение объема концепта, делает его уязвимым в аналитическом плане. Ведь если разнообразие всюду, оно также нигде — становится пустым лозунгом, который можно использовать практически в любых контекстах и как угодно [23. С. 3]. Эти тенденции имплицитно подразумевают определение критериев публичного пространства или социальной структуры, претендующих на статус культурно разнообразного, их артикуляцию и «встраивание» акторов разного уровня в логику доминирующего дискурса.

Вместо заключения

Новый подход к разнообразию, формируемый в рамках интеркультурализма, ориентирован, прежде всего, на европейский и канадский контекст, и вновь становится фатальным разрыв между способами концептуализации культурного разнообразия в западном мире и за его пределами. Например, набирают силу тенденции, которые подразумевают эпистемологическое и онтологическое различие Запада и России, глубоко сопряженное с институциональной структурой и исторически сложившимися фундаментальными способами европейского культурного доминирования [6]. Речь идет об отношении к России как Другому Европы (Запада), сопоставимом со структурой

ориентализма в понимании Э. Саида (и другими подобными феноменами), а также о присущих данному отношению стратегиях манипулирования «другими», в том числе представлении их в ложном свете [8. С. 16, 42–43]. Наблюдается «реинкарнация» расизма как «нового культурного расизма», например, категоризирующего русских или евреев как «зло» и выражающего уже не в психических или биологических, а в культурных терминах [5. С. 479]. В этой логике разворачиваются различные сценарии демонизации русских и всего того, что может быть идентифицировано и реинтерпретировано в терминах «русского мира». В современные социально-политические контексты громким эхом вернулись те представления о России как о «варваре у ворот Европы», сопернике, «азиатской стране» и аномалии, несовместимой с западными культурными классификациями, которые в той или иной форме муссировались в европейском дискурсе на протяжении пятисот лет [7. С. 128, 144, 149–153]. «Безотносительно к тому, какие социальные практики приобретали важность в тот или иной период (религиозные, телесные, интеллектуальные, военные, политические, экономические или какие-то иные), Россия неизменно рассматривалась как аномалия» [7. С. 153]. Вопрос даже не в том, какой образ России конструируется сегодня, а в том, каким образом этот глубоко укоренившийся в западно-европейской традиции взгляд на Россию, фокусирующийся на ее «инаковости» и в ряде случаев обретающий расистские коннотации, будет использован для «перезагрузки» европейской идентичности. В этом плане многогранная деятельность акторов макроуровня по формированию глобальной повестки, культурных политик и национальных идеологий через манипулирование информацией и использование перформативных возможностей дискурса, рассчитанных на долговременную перспективу, становится все более заметной.

Другими словами, в современных условиях наблюдаются беспрецедентные усилия по продуцированию разрывов социокультурного пространства, паттернов эскалации схизмогенеза (Г. Бейтсон) и культурной инкапсуляции, отказа от межкультурных контактов. В известном смысле речь идет о возвращении к прежним моделям дихотомизации, подразумевающим эпистемологическую и политическую организацию дискурса в терминах полярности нас и их/Других, субъекта и объекта. Наметившиеся в рамках интеркультурализма тенденции на выстраивание отношений через границы оказались «заперты» в западных контекстах, за пределами которых все более очевидна поляризация не только в политической, но и культурной сферах. И если позитивный опыт межкультурных взаимодействий, как убедительно продемонстрировали сторонники интеркультурализма, способствует преодолению стереотипов и предрассудков, то принуждение к отказу от контактов с Другими стимулирует проведение новых социальных (в понимании Ф. Барта) и реальных границ, стимулируя тиражирование феномена «Берлинской стены».

При этом проблематика Другого локализуется преимущественно в аксиологической плоскости, порождая своеобразное доминирование ценностей над экономикой. И если для А. Аппадурои проблема заключалась в том, что глобальные потоки глубоко разъединены [12. С. 27–47], то сегодня мы наблюдаем принципиально другую ситуацию — тиранию потока «культурных ценностей», смыслов и значений, сопрягаемых с этно- и медиаскейпами, формирующего и выражающего доминирование в сфере политики и экономики. На фоне эскалации напряженности использование в дискурсе разнообразия понятий, имеющих крайне негативные коннотации, и фреймирование ситуаций в терминах этничности становятся повсеместной практикой. Трактовка культурного разнообразия в научном дискурсе, в том числе в интуркультурализме, во многом не совместима с теми идеями, которые культивируются сегодня в общественных дискуссиях. Вопрос в том, станет ли интеркультурализм еще одной красивой академической концепцией, как это случилось с мультикультурализмом, или же сформулированные в его рамках идеи станут основанием для поиска компромиссов и взаимопонимания.

Библиографический список/References

1. *Арендт Х.* Ответственность и суждение. М., 2013 / *Arendt H.* *Otvetstvennost i suzhdenie* [Responsibility and Judgment]. Moscow; 2013. (In Russ.).
2. *Бейтсон Г.* Культурный контакт и схизмогенез // *Личность. Культура. Общество.* 2000. Т. II. № 3 / *Bateson G.* *Kulturny contact i skhizmogenez* [Cultural contact and schismogenesis]. *Lichnost. Kultura. Obshchestvo.* 2000; 2 (3). (In Russ.).
3. *Варшавер Е.А.* Теория контакта: обзор // *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены.* 2015. № 5 / *Varshaver E.A.* *Teoriya kontakta: obzor* [Contact theory: A review]. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes.* 2015; 5. (In Russ.).
4. *Вьевьерка М.* Коллективная разность или смешение? // *Полиэтнические общества: проблемы культурных различий* / Под ред. С.В. Прожогина. М., 2004 / *Wieviorka M.* *Kollektivnaya raznost ili smeshenie?* [Collective difference or mixing?]. *S.V. Prozhogin* (Ed.). *Polietnicheskie obshchestva: problemy kulturnyh razlichiy.* Moscow; 2004. (In Russ.).
5. *Кравченко С.А.* Вызовы «современного зла» устойчивому развитию: запрос на сотрудничество научного и теологического знания // *Вестник РУДН.* Серия: Социология. 2022. Т. 22. № 3 / *Kravchenko S.A.* *Vyzovy "sovremennogo zla" ustoychivomu razvitiyu: zapros na sotrudnichestvo nauchnogo i teologicheskogo znaniya* [Challenges of “modern evil” for the sustainable development: A request for cooperation of scientific and theological knowledge]. *RUDN Journal of Sociology.* 2022; 22 (3). (In Russ.).
6. *Куропятник М.С.* Антропологическая перспектива изучения современности // *Вестник Санкт-Петербургского университета.* Серия 12: Психология. Социология. Педагогика. 2012. № 2 / *Kurojpatnik M.* *Antropologicheskaya perspectiva izucheniya sovremennosti* [An anthropological perspective for the study of modernity]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta. Seriya 12: Psikhologiya. Sotsiologiya. Pedagogika.* 2012; 2. (In Russ.).
7. *Нойманн И.* Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М., 2004 / *Neumann I.* *Ispolzovanie Drugogo: "Vostok v formirovaniy evropeyskih identichnostey* [Uses of the Other. “The East” in European Identity Formation]. Moscow; 2004. (In Russ.).

8. Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006 / Said E. *Orientalism. Zapadnye kontseptsii Vostoka* [Western Conceptions of the Orient]. Saint Petersburg; 2006. (In Russ.).
9. Цаненко И.П. Перспективные технологии интеграции иммигрантов // Мировая экономика и международные отношения. 2019. Т. 63. № 10 / Tsapenko I.P. *Perspektivnye tekhnologii integratsii immigrantov* [Promising practices of migrant integration]. *World Economy and International Relations*. 2019; 63 (10). (In Russ.).
10. Allport G. *The Nature of Prejudice*. Cambridge; 1954.
11. Antonsich M. Living in diversity: Going beyond the local/national divide. *Political Geography*. 2018; 63.
12. Appadurai A. *Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis; 1996.
13. Bouchard G. *L'interculturalisme: un point de vue quebecois*. Montréal; 2012.
14. Cantle T. *Interculturalism: The New Era of Cohesion and Diversity*. London; 2012.
15. Cantle T. Interculturalism as new narrative for the era of globalization and super-diversity. Barrett M. (Ed.). *Interculturalism and Multiculturalism: Similarities and Differences*. Strasbourg; 2013.
16. Cantle T. Interculturalism: 'Learning to live in diversity'. *Ethnicities*. 2016; 16 (3).
17. Eriksen T.H. *Globalization. The Key Concepts*. London; 2013.
18. Fairclough N. *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. London; 2003.
19. Grillo R. Preface. Grillo R. (Ed.). *The Family in Question. Immigrant and Ethnic Minorities in Multicultural Europe*. Amsterdam; 2008.
20. Grillo R. *Interculturalism and Politics of Dialogue*. Lewes; 2018.
21. Hannerz U. *Transnational Connections. Culture, People, Places*. London–New York; 1996.
22. Hannerz U. *Anthropology' Words: Life in a Twenty-First-Century Discipline*. London; 2010.
23. Joppke C. War of words: Interculturalism versus multiculturalism. *Comparative Migration Studies*. 2018; 6 (11).
24. Modood T. Multiculturalism, interculturalism and the majority. *Journal of Moral Education*. 2014; 43 (3).
25. Modood T. What is multiculturalism and what can it learn from interculturalism. *Ethnicities*. 2016; 16 (3).
26. Vertovec S. Super-diversity and its implications. *Ethnic and Racial Studies*. 2007; 30 (6).
27. Zapata-Barrero R. Interculturalism: Main hypothesis, theories and studies. Zapata-Barrero R. (Ed.). *Interculturalism in Cities. Concept, Policy and Implementation*. Barcelona; 2015.
28. Zapata-Barrero R. Exploring the foundations of the intercultural policy paradigm: A comprehensive approach. *Identities. Global Studies in Culture and Power*. 2016; 23 (2).
29. Zapata-Barrero R. Interculturalism in the post-multicultural debates: A defense. *Comparative Migrations Studies*. 2017; 5 (14).
30. Zapata-Barrero R. Rejonder: Multiculturalism and interculturalism: Alongside but separate. *Comparative Migration Studies*. 2018; 6 (20).
31. Zapata-Barrero R. Transnationalism and interculturalism: Overlapping affinities. Fossum J.E., Kastoryano R., Silm B. (Eds.). *Diversity and Contestations over Nationalism in Europe and Canada*. London; 2018.
32. Zapata-Barrero R. *Intercultural Citizenship in the Post-Multicultural Era*. Los Angeles–London; 2019.
33. Zapata-Barrero R. Methodological interculturalism: Breaking down epistemological barriers around diversity management. *Ethnic and Racial Studies*. 2019; 42 (3).
34. Zapata-Barrero R. Rebooting European identity: Intercultural citizenship for building the future of a diverse Europe. *Journal of Contemporary European Studies*. 2020; 28 (2).

* © M.S. Kurapatnik, 2023

The article was submitted on 11.03.2023. The article was accepted on 15.06.2023.

Untimely thoughts on the culture of diversity*

M.S. Kuroijatnik

Saint Petersburg State University,
Universitetskaya Nab., 7–9, Saint Petersburg, 199034, Russia

(e-mail: kuroijatnik@bk.ru)

Abstract. The study of cultural diversity and relevant models of diversity management, including historical patterns of cultural dominance, helps to form immunity to the latest manifestations of Eurocentrism. As a new approach to diversity, interculturalism implies a shift in the focus from the diversity of cultures and multicultural coexistence to the culture of diversity. The main dimensions of the culture of diversity are awareness of diversity, recognition of diversity, engagement in contexts of diversity, and the creation of more common public spaces. Another important trend is rethinking the diversity: a) its destigmatization as a phenomenon associated with Others, with exotic and peripheral loci, and representation of diversity as an advantage in terms of creativity and innovation; b) conceptualization of contemporary social and cultural contexts in terms of superdiversity. Unlike the classical concepts of multiculturalism, interculturalism focuses on both positive contacts as the most promising way of social integration and social dynamics in local contexts of superdiversity. However, the understanding of these processes differs in the political (G. Bouchard), social (T. Cattle) and cultural (R. Zapata-Barrero) directions of interculturalism. Under the destruction of social structures and institutions, interculturalism focusing on the development of interpersonal contacts and relations across borders can become a basis for the search for compromises and mutual understanding. However, the ideas of interculturalism and the processes launched by it turned out to be ‘locked’ in Western contexts, outside of which polarization is obvious in both political and cultural spheres. These tendencies imply an epistemological and ontological distinction between the West and Russia, producing gaps in the social-cultural space, patterns of escalation of schismogenesis and cultural encapsulation, and the rejection on intercultural contacts.

Key words: interculturalism; culture of diversity; cultural diversity; positive contacts; patterns of cultural dominance



DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-433-450

EDN: WIBOAN

Синергетическая парадигма глобального мира*

В.И. Добреньков

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
ГСП-2, Ленинские горы, Москва, 119992, Россия

(e-mail: Vladimiro040239@mail.ru)

Аннотация. Все социологические парадигмы опираются на существующую картину мира, которая детерминирует их посредством познавательных моделей. Так, сложившиеся в прошлом веке дарвинистский эволюционизм и диалектический материализм в объяснении природных и социальных процессов в основном опирались на четыре познавательные модели: схоластическую (природа и социум как тексты, шифры), механистическую (природа и социум как машины), статистическую (природа и общество как балансы средних величин) и системную (природа и социум как организмы). На данные познавательные модели в той или иной мере опираются и современные социологические парадигмы — социальных фактов, социального поведения, социальных дефиниций и детерминизма. Однако сегодня социальные процессы выходят за рамки этих познавательных моделей и наблюдается стремительный рост интереса к междисциплинарному направлению, получившему название «синергетика» (1). Синергетический подход использует такие понятия, как «порядок», «хаос», «нелинейность», «неопределенность», «нестабильность», «диссипативные структуры», «бифуркация», «аттрактор» и др. Синергетика — наука об общих закономерностях самоорганизации, устойчивости и разрушения упорядоченных структур в сложных системах различной природы; теория самоорганизации и развития открытых систем любого происхождения [6]. Синергетический стиль научного мышления предполагает вероятностное видение мира, оформившееся еще в XIX веке. Значение синергетики в том, что она способствует становлению нового типа научного мышления — постнеклассической науки — и включению гуманистических и аксиологических параметров в научное исследование, формирует нелинейное мышление, обеспечивая понимание недостаточности схемы последовательной и постепенной кумулятивности в развитии. Новая социологическая парадигма должна принять идею синергетики о взаимосвязанности эпистемологии и онтологии, т.е. идею, что познавательная деятельность субъекта изменяет реальность: сам выбор предмета исследования, концептуальной схемы и методов, использование полученных результатов формирует, изменяет и разрушает онтологический базис, поэтому исследователь ответственен за мир, который он создает и реформирует.

Ключевые слова: синергетическая парадигма; хаос; нелинейность; постмодернизм; картина мира; эмерджентность; детерминизм; социологическая парадигма

*© Добреньков В.И., 2023

Статья поступила 09.02.2023 г. Статья принята к публикации 15.05.2023 г.

Сегодня социологические концепции не могут не учитывать складывающийся идеал научности, обусловленный новым типом исследуемых объектов — саморазвивающихся человекоразмерных систем, которые все больше доминируют в современном научном познании. В связи с появлением новых объектов формируется и новая методология наук, изучающих человека и общество, хотя проблемы самоорганизации социума (и синергетики) до сих пор почти не разработаны и только начинают осознаваться как относящиеся к предметному полю социальных наук благодаря стремительному возрастанию сложности, открытости и непредсказуемости общества [15]. Появившись на научном горизонте во второй половине XX столетия, концепции самоорганизации и динамического хаоса вызвали огромный интерес, прежде всего, глубоким мировоззренческим смыслом, поколебавшим принципиальные устои научной картины мира. Эти концепции основываются на теории динамических систем, которая в определенном смысле завершила длительную историю изучения движения, начавшуюся с Аристотеля и закончившуюся двумя научными революциями XX века, реабилитировавшими «событийное» видение мира (2).

Предыстория концепции самоорганизации, видимо, начинается в конце XIX — начале XX века с идеи, что существуют системы, где даже ничтожно малые изменения начальных условий могут привести к значительным следствиям. Хотя в основе концепции самоорганизации лежит теория динамических систем как обобщение классической механики, и непрерывные, детерминированные и обратимые движения занимают в ней важное место, теория динамических систем не сводится к описанию таких движений. Одно из ее принципиальных понятий — «бифуркация», введенная А. Пуанкаре: под ней понимается качественное изменение объекта при изменении параметра, от которого этот объект зависит. В 1950-е — 1960-е годы формируются кибернетические концепции самоорганизации, которые обычно именуют классическими: основной акцент в них сделан на управлении, а под самоорганизацией понимается процесс структурирования, управляемый изнутри системы.

В 1960-е годы кибернетика приходит к новому, неклассическому понятию самоорганизации, в результате чего понятие управления утрачивает прежнее значение. В 1960-е — 1970-е годы ведущим становится понятие диссипативной структуры, введенное И. Пригожиным, и самоорганизация трактуется как образование диссипативной структуры (диссипация — рассеяние энергии в окружающую среду). Диссипативная структура поддерживается ассимиляцией энергии из окружающей среды: «человеческое общество представляет собой необычайно сложную систему, способную претерпевать огромное число бифуркаций, что подтверждается множеством культур, сложившихся на протяжении сравнительно короткого периода в истории чело-

вечества. Мы живем в опасном и неопределенном мире, внушающем не чувство слепой уверенности, а лишь чувство умеренной надежды» [17. С. 276].

В конце 1960-х — начале 1970-х годов Г. Хакен выступил с проектом новой науки, описывающей явления самоорганизации в сильно неравновесных системах, и ввел понятие «синергетика», хотя некоторые авторы считают, что впервые этот термин употребил Ч.С. Шеррингтон около ста лет тому назад (3). Слово «синергетика» происходит от греческого *synergeia* — совместное, или кооперативное, действие.

Основное внимание в своих работах Хакен уделяет иерархиям неустойчивостей, приводящих к возникновению структур разной сложности, и выбору адекватного математического аппарата для их описания [21–32]. «Системное движение» в интерпретации Хакена включает такие характеристики, как понимание нелинейности и открытости систем, в которых происходят качественные изменения и обнаруживаются эмерджентные качества, системы могут стать нестабильными, структуры (пространственные, временные, пространственно-временные или функциональные) могут быть упорядоченными и хаотичными [26]. Возникает феномен фундаментальности случайного [8; 25]. Синергетику пронизывает парадигма элевации: эволюционно ранние процессы рассматриваются с учетом эволюционно поздних, т.е. прошлое — сквозь призму будущего [12. С. 405]. Хакен считал, что синергетика должна, как мост, связать естественные и социальные науки [34–37]. Он мыслил ее как междисциплинарную область исследований, изучающую спонтанное, т.е. самоорганизованное, формирование структур в системах, далеких от теплового равновесия, а также в нефизических системах. Пригожин добавил к изучению самоорганизации термодинамический подход [16–18]. А бельгийская школа заменила основное понятие синергетики Хакена (структура как состояние, возникающее в результате когерентного/согласованного поведения большого числа частиц) понятием диссипативной структуры.

В русле синергетического подхода в зарубежной и отечественной научной традиции происходит отказ от образа мира как построенного из элементарных частиц — кирпичиков материи — в пользу картины мира как совокупности нелинейных процессов [1; 3–5; 10; 11; 14; 16–19; 28; 33; 38; 36]. Фокус исследований общества смещается с создания универсальной теории развития на анализ самоорганизующихся систем, у которых есть спектр возможных путей развития, и каждый имеет лишь вероятностный характер. С методологическими постулатами Хакена согласны многие российские социологи: «Если речь идет об эпистемологическом редукционизме в смысле “существования всеохватывающей фундаментальной теории”, то синергетике ни в коей мере нельзя квалифицировать как теорию такого типа. Она имеет междисциплинарный статус и не может заменить химические, биологические, психологические и социологические исследования в конкретных дисциплинарных областях. Синергетика не имеет такого рода притязаний.

Она является скорее мыслительной схемой, которая показывает, как может осуществляться конкретное исследование сложных систем в той или иной области» [9. С. 18]. «Неравновесная социология представляется меж- и трансдисциплинарным социологическим знанием, встречным движением социологии и социосинергетики (параметры социального порядка, социальные аттракторы, автопоэзис, фракталы, диссипативные структуры, социальные бифуркации и др.), общей теории катастроф, теории хаоса и случайностей, концептуального осмысления социальной эмерджентности, теории социального времени/пространства, теории управления рисками и кризисами, теории ситуационного управления, теории экстремального управления» [8. С. 27]. Синергетику можно рассматривать как учение о конструктивной роли хаоса в формировании устойчивых порядков, в том числе и социальных. Причем в зарубежной социологии проблемы кризиса, хаоса и аномии рассматриваются в тесной связи с теориями социальной дезорганизации и девиации, стигматизации и «радикальных криминологов» [20].

В таком статусе синергетика должна кардинально расходиться с классическими парадигмами социологии типа структурного функционализма, где все заранее предписано и детерминировано. Концепция самоорганизации содержит две центральные идеи: порядок из хаоса и порядок в хаосе; вторая означает, что хаос есть объект самоорганизации, поэтому нужно изучать механизмы, управляющие явлениями, которые его сопровождают. Синергетика предлагает рассматривать мир с позиции нелинейности, глобального эволюционизма, общих закономерностей самоорганизации мира человека, природы и социума. Она меняет представление о механизме развития, утверждая, что оно происходит через неустойчивость (без неустойчивости нет развития), случайность (которая ранее изгонялась из научных теорий) и бифуркации (раздвоения). В синергетике преодолевается характерное для классической рациональности противопоставление субъекта и объекта, внешнего и внутреннего, переосмысливаются идея развития и принцип детерминизма, что дает возможность предвидения будущего состояния системы и управления развивающимися процессами.

Под влиянием идей синергетики социология может построить принципиально новую парадигму познания социума, концептуальным центром которой будут понятия многовариантности, изменения, непредсказуемости и эмерджентности — взамен детерминизма (в жестком лапласовском духе), определенности, когерентности и порядка. Современная наука считает, что единственное равновесное состояние, которое может принимать система, — это стабильность. Сама логика используемого метода последовательных приближений предполагает совокупность стабильных природных и социальных законов, которым подчиняются индивиды и к которым стремятся общества. Нестабильная динамика считается следствием социальной дезорганизации, дисфункции, девиации и просчетов в управлении. Современные

социологические парадигмы деперсонализируют источники беспорядка, изменения и разнообразия, приписывая отклонения от считающихся нормальными форм социальных отношений ущербной социализации, неадекватному контролю и т.п. Наука эпохи модерна даже более, чем социальная философия предшествующей эпохи, отдает предпочтение идеям стабильности и контроля как естественной и нормальной концептуальной основе теории и исследования. Однако современные «находки» социологов не вписываются в эту модель: часто обнаруживается несовпадение результатов, полученных для одного и того же объекта в одних и тех же изначальных условиях. Современные эпистемологические парадигмы объясняют такие отклонения ошибками в программе исследования, неадекватным инструментарием, неточностями измерения, недостаточным числом переменных, погрешностями в работе исследователей или «плохой теорией». Синергетика постулирует, что многообразие и беспорядок (хаос) — имманентные характеристики социального мира, поэтому сходные результаты могут быть получены, а идентичные крайне редки.

Вбирая в себя идеи и методы теории хаоса и синергетики, социология постепенно освобождается от гнета традиционной научности, сближаясь с логикой и установками постмодернизма, что меняет ее методы и задачи. Все мы формируем мысли друг друга с помощью сложного набора символов, и, если мы говорим на одном языке, они определяют понимание мыслей, чувств и действий другого человека. В структуре «Я» любой личности каждая из основных идентичностей, ролей человека, во-первых, является ответом на роль другого, во-вторых, сама по себе фрактальна, т.е. неопределенна и неправильна. Понимание недискретности социальных объектов приводит к вопросу о возможности объективности в социологическом исследовании. Очевидно, что объективность в социологии не может быть подобна объективности в физике или химии, поскольку объекты, составляющие социальную реальность, гораздо более сложны и независимы, обладают большей способностью влиять на свое окружение посредством деятельности. Кроме того, если объекты по своей природе не дискретны (а на этом построена методология современной науки), то логичен вопрос, может ли исследователь отделить себя как личность от объекта изучения, его исторического и социального контекста. По сути, исследователь — невидимая часть «поля», которое он изучает, а может ли часть быть изолирована от целого?

Вторая проблема, с которой сталкивается социолог, проводя исследование в рамках синергетической парадигмы, — проблема выборки. В хаотических системах и процессах генеральную совокупность определить невозможно, соответственно, становится проблематичным и наше представление о выборке, и ее репрезентативность. Любые выборки в исследовании, объектом которого является самоорганизующаяся система, будут фрактальны, их параметры будут существенно различаться в зависимости от области фа-

зового пространства, из которой они «выбраны», от состояния и стадии развития системы.

Третья методологическая проблема, которая требует осмысления в свете синергетических идей, — концептуализация. Динамика любого объекта социологического исследования, будь то личность, группа, институт или организация, интердетерминирована и нелинейна, что делает ее «кодирование» в социологических категориях в большинстве случаев весьма проблематичной.

С самого первого момента размышления о природе и обществе до выбора понятий, с помощью которых будут описаны их черты, формулировки исследовательских задач, адаптации и интеграции результатов, каждый исследователь работает внутри социокультурной формации. Например, метеоролог-эскимос изучал бы динамику 20 видов снега и был бы шокирован тем, что метеоролог-европеец использует всего 5–6 понятий. С точки зрения гипотетического исследователя-эскимоса концептуальные средства европейцев не позволяют целостно изучать климат, поэтому должны быть заменены эскимосскими. Европейское понятие «снег» было бы признано им фрагментарным. Аналогичные примеры можно найти и в социологии, т.е. содержание понятия определяется не онтологическими чертами объекта, а социокультурным контекстом, в котором находится исследователь. Таким образом, в новых социологических парадигмах интегральные понятия должны уступить место фрактальным, которые топологически и интерактивно пересекаются, а не являются абсолютно независимыми или зависимыми переменными. Категории, которыми мы привыкли оперировать, на самом деле показывают неопределенность, самоподобие и различность.

Исходя из идеи нелинейности, эволюция общества предстает как внутренне детерминированный процесс с нелинейным характером протекания. Социолог должен видеть во всяком, казалось бы, даже застывшем, явлении определенную эволюционную стадию его развертывания. Причем многообразный ход процессов в разных областях эволюционирующей системы (структуры) в настоящий момент содержит информацию о характере ее прошлого и будущего. Нелинейность развития проявляется в том, что настоящее не только определяется прошлым, но и строится, формируется из будущего. Реализация социальных явлений — это «всплытие» из экзистенциального базиса возможностей во времени. Экзистенциалисты были правы, когда выдвинули идею одновременности трех модусов времени. Время — это иррациональный поток, не имеющий определенной направленности: любой миг настоящего представляет собой такую продолжительность, в которой прошлое, настоящее и будущее сосуществуют. Экзистенциалисты в свое время выдвинули идею, что время субъективно, у каждого человека свое время и им можно управлять. Сегодня ученые полагают, что каждая система имеет «свое» время, следовательно, ее возраст может быть измерен на шкале собственного времени. Знание возраста и стадий развития экономических и со-

циальных систем имеет огромное значение при планировании и прогнозировании. Незнание временной структуры социальных систем может привести к волюнтаризму, произвольному назначению сроков начала и завершения их развития.

В то же время социологу необходимо выявлять такие слои социального бытия, которые отражаются и контролируются сознанием лишь косвенным символическим образом. Его цель — приоткрыть завесу над неописанной и ненаблюдаемой социальной реальностью, которую трудно загнать в идеологические и научные схемы. Социальная реальность не будет выглядеть пустой абстракцией, если будут поняты смысловые аспекты общественной жизни, внутренняя природа живых связей социальных явлений. Для этого необходим ценностный подход, ценностно-смысловое освоение изучаемого феномена. Отсюда актуальность метода понимания в социологии, суть которого — целостное постижение объекта не только как наличного бытия, но и как всей его бесконечной смысловой глубины и перспектив.

Сегодня по поводу синергетики ведется широкая дискуссия метатеоретического характера. Синергетика рассматривается как научная онтология, дополняющая философскую онтологию критического реализма: для социологии здесь важно, что снимается давняя проблема противостояния количественного и качественного подходов. Синергетический подход в социологии позволяет увидеть, что количественному неотъемлемо присуще качественное, а принцип нелинейности и эмерджентности социальных систем означает, что невозможно установить общее вне контекста и что количественный подход — это способ описания локальных контекстов и трансформации системы.

Смысл «нового мышления» социологи восприняли по-разному. Одним из путей его приложения и развития стала описанная рядом исследователей эксплицитная имитация подходов физических наук: спектрального анализа, экспонент Ляпунова, техник «ближайшего соседа» и др. Целью использования этих методов стал поиск хаотического порядка, хаотического детерминизма в стохастических системах. Эта традиция исследования хаоса в основном развивается американскими учеными, в то время как европейские исследователи акцентируют внимание на возникновении порядка из хаоса. Думается, что прямой перенос методов физики в социологию не очень плодотворен, поскольку они требуют отслеживания большого числа определенных во времени измерений заданного качества, что обычно невозможно в случае социальных систем.

Более плодотворен второй подход синергетики — моделирование поведения нелинейных социальных систем. Как утверждает синергетика, практически любая хаотическая система может быть смоделирована, в то время как точно предсказать ее состояние невозможно. В широко развернувшейся дискуссии вокруг методов моделирования отмечается одно бесспорное пре-

имущество данного подхода: моделирование позволяет исследовать социальность, т.е. качества системы в целом, что соответствует дюркгеймовской теории социальных фактов и дает возможность изучать их трансформации во времени. Это важная поправка к распространенному подходу в количественной социальной науке, где индивидуалистический взгляд влечет имплицитное и ложное допущение о возможности получения макросвойств социальных систем путем агрегации (сложения) свойств образующих их индивидов.

Признание сложности социальных систем требует переосмысления значения количественной и качественной стратегий социологического исследования. Традиционные техники числовой таксономии и количественного моделирования полезны при описании эволюционного поведения сложной социальной системы во времени (например, панельное исследование). В свою очередь, методы качественного анализа данных позволяют увидеть разные траектории развития сложных социальных систем и перспективы эмерджентного порядка. Например, развитие фондового рынка как динамической системы поддается описанию и анализу в синергетических терминах фракталов, странных аттракторов и трендов, и этот подход может быть более плодотворным, чем использование конвенциональных эксплицитных уравнений.

Идеи синергетики обладают эвристическим потенциалом и могут стать концептуальной основой принципиально новой глобальной парадигмы в социологии, которая рассматривала бы социальную реальность с позиций нелинейности, хаоса и самоорганизации. Конечно, формы социального порядка и источники беспорядка всегда находились в центре внимания поведенческих наук. На протяжении большей части истории доминировало представление, что возможен естественный путь организации социальных отношений, санкционированный религией и воспроизводимый из века в век (зачастую в условиях недостаточной социальной компетентности). С появлением понятия «эволюция» акцент в социальных теориях сместился со стабильности на изменения, однако в большинстве теорий присутствует представление о некоторой высшей или конечной стадии развития социальной организации, к которой направлен вектор изменений. Теория хаоса ставит под сомнение как нормальность всякого наличного состояния, так и направленность и конечность социальной эволюции. Социолог должен исходить из того, что, хотя формы исторических изменений в социальных структурах не бесконечны, действует несколько степеней свободы, а не один-единственный исход является неизбежным, т.е. нет преопределенного пути развития.

С точки зрения синергетики развитие сложной открытой системы имеет нелинейный характер, происходит через неустойчивость, хаос, т.е. эволюция социальной системы не сводится к переходу от одного типа по-

рядка к другому. Всякая система не свободна, не полностью независима от процессов на нижележащих уровнях организации. При определенных условиях (неустойчивости) микрофлуктуации могут прорываться на макроуровень и определять макрокартину. Эффект разрастания/усиления флуктуаций означает, что в нелинейном мире малые причины могут породить большие следствия на всех уровнях организации. Социологи часто выделяют в качестве определяющих какие-то одни факторы и недооценивают те моменты в настоящей ситуации, которые могут сыграть весьма существенную роль в будущем. Социологи должны учитывать и кооперативные эффекты — когда минимальное воздействие в одном месте может резонировать в других подсистемах целого. Их нужно научиться замечать, измерять, фиксировать.

Социолог должен учитывать ускорение темпа перемен, глобализацию, усиливающуюся взаимосвязанность происходящих в современном мире процессов. К сожалению, современная теория социальной динамики несовершенна и не может в полной мере объяснить суть социальных процессов. Все чаще звучит мысль о необходимости новых концепций социальных изменений на основе теории катастроф и теории хаоса. Что представляет собой социальная динамика в парадигме хаоса? Здесь полемизируют сторонники структурного и процессного подходов, акцентирующие одну из двух сторон этого явления. Между тем точка зрения на социальную динамику в парадигме синергетики зависит от выбора «шкалы наблюдения»: на уровне прямого наблюдения в реальном времени социальная динамика, безусловно, имеет характер процесса; на уровне наблюдения фазового пространства возникают фрактальные паттерны, которые позволяют говорить о социальной динамике как о структуре.

Согласно синергетике, новое появляется в результате бифуркаций как эмерджентное и непредсказуемое, но в то же время новое как бы запрограммировано в виде спектра возможных путей развития и относительно устойчивых структур-аттракторов эволюции. Аттракторы выступают как цели эволюции и могут быть как правильными, просто описываемыми структурами, так и хаотичными состояниями. В первом случае аттракторы характеризуются либо одним конечным состоянием, либо циклически повторяющимся процессом, задаваемым простой математической формулой; во втором случае аттракторы обретают более сложную структуру, становясь «странными» (не точка или предельный цикл, сложная область случайных блужданий). Наличие странных аттракторов, с одной стороны, приводит к динамическому хаосу, становится причиной катастроф, где возможен внезапный переход из хаотического состояния в упорядоченное и обратно при изменении параметров системы; с другой стороны, «язык» аттракторов позволяет осмыслить предсказуемость и непредсказуемость, дает по-

нимание вероятностного, хаотического поведения систем, обусловленного не ограниченностью наших исследовательских возможностей, а природой нелинейных систем.

Возможно ли управление хаосом? Рациональное манипулирование им невозможно, и мы не можем претендовать на абсолютный контроль над какой-либо сферой реальности, включая социальные процессы. Только хаос может сдерживать хаос, что подтверждают социальные реалии. Социологу нужно учитывать, что в современном обществе механизмы внешней детерминации ослаблены, формирование потребностей и мотивов становится более хаотичным, разнонаправленным и плюралистическим процессом. Рост индивидуализации (внутренней детерминации и свободы психологического выбора) приводит к росту случайности. Утверждение нравственных норм и принципов поведения происходит во многом стихийно, а его механизм малопонятен. В условиях, когда в человеческой деятельности все большее значение приобретают стохастические, непредвиденные последствия, важно владеть методами нелинейного управления сложными системами в состоянии неустойчивости. Нельзя навязывать сложноорганизованным системам пути их развития — можно лишь понять, как способствовать их собственным тенденциям развития. Свобода выбора человека ограничена возможностями объекта, его собственной свободой. Иными словами, проблемы, поднимаемые синергетикой, смыкаются с вопросами, рассматриваемыми в социологии, психологии и этике (проблема сознательного выбора и определения верной установки к действию). Эффективное управление сложной системой возможно только в том случае, если ориентироваться на ее собственные тенденции развития. Совершая выбор направления развития социальной системы, субъект управления должен ориентироваться на изменения в инфраструктуре и свои ценностные предпочтения, чтобы способствовать выводу системы на новый аттрактор, новый режим функционирования.

На уровне социальной системы самоорганизация не исключает организацию, и лишь их взаимодействие может привести к устойчивому и динамическому развитию общества. Теория символического интеракционизма описывает образование того, что на языке синергетики называется «торус», а в социальной психологии и социологии — «нормы». Формы социальной реальности сконструированы с использованием 4–5 групп символов: слова в устном и печатном виде; язык тела, воплощенный в жесте и поведенческом акте; «внешние оболочки» тела, зашифрованные в одежде и косметике; поведенческие действия, которые могут быть «прочитаны» с точки зрения их смысла. Все это, как и архитектура, инфраструктура общества, формирует и предопределяет поведение значимых других в отношении конкретного случая и социального порядка в целом. В ка-

ждой группе символов существует полустабильная смесь порядка и беспорядка (хаоса), значимая для социального выживания, коммуникации и интерсубъективного понимания. В сложных социальных системах социализация и социальный контроль формируют нормы развития, например, размер семьи. В любой группе семей, живущих в одной политико-экономической системе, число детей будет стремиться к некоторой норме. В каждой отдельной семье число детей варьирует, но всегда есть нижний и верхний предел, ограничивающий размер семьи в рамках пространства репродуктивного поведения.

Неконтролируемая изменчивость, неединственность эволюционного вектора, наличие альтернативных путей развития делают непредсказуемым результат преодоления кризиса (бифуркации). К числу бифуркаций относятся все революционные перестройки: результат любой революции, ее исход непредсказуем, поэтому при выборе стратегии развития человечество должно избегать, насколько это возможно, кризисов системы. Одной из таких стратегий, разработанных на основе идей синергетики, может быть оптимально организованное общество (ООО) — характеризующееся отсутствием катастроф, вызванных внутренними причинами, что может дать только асимптотическое решение. Если в основе социального развития лежит нарастание синтеза порядка и свободы, то необходима последовательная борьба против одностороннего культа как порядка (ведущего к тоталитаризму), так и свободы (ведущего к анархизму). Золотой серединой между этими крайностями является поиск оптимальной (для конкретных исторических условий) формы синтеза порядка и свободы, что особенно важно для России, переживающей период нестабильности.

Открытия синергетики приводят к окончательному преодолению лапласовского детерминизма и наносят удар по всем концепциям фатализма благодаря тому, что возрастает статус случайности, играющей важную роль в точках бифуркации. Синергетика разрушает привычное представление о случайности как второстепенном факторе, не имеющем принципиального значения. Случайность (флуктуация) выступает как форма детерминации процессов развития. Синергетика исходит из того, что в мире действуют как необходимость, так и случайность, и они находятся в отношении не иерархии, а сосуществования. Роль случайности нужно рассматривать прежде всего в онтологическом плане: не как непознанную необходимость, а как имманентное и неустранимое состояние синергетической системы. Отсюда следует, что мы не можем претендовать на абсолютный контроль над какой-либо сферой реальности, в том числе невозможно тотальное управление социальными процессами.

Подчеркивая неустойчивость самоорганизующихся систем, роль случайностей в их развитии, синергетика не исключает их стабильности

и детерминизма (4). Суть синергетической идеи о поле путей развития в том, что, хотя имеет место нелинейная эволюция и множество ее траекторий, дороги эволюции ограничены. Случайность приводит к блужданиям по полю путей развития, но имеют место не какие угодно блуждания, а ограниченные определенным полем возможностей. Состояние системы определяется не только ее прошлым, но и формируется из будущего, исходя из грядущего порядка. Применительно к человеку и обществу можно сказать, что явные, осознанные, и латентные, подсознательные, установки определяют поведение системы в каждый момент, связывая ее как с прошлым, так и будущим. При этом синергетика исходит из неоднозначности будущего и возможности выхода на желаемое будущее, т.е. речь идет о новом типе детерминизма, который усиливает роль человека. Выявив в развитии системы точку бифуркации, человек может инициировать ее развитие в желаемом направлении посредством малых воздействий. При этом чрезвычайно повышается ответственность человека за последствия своих действий — даже слабые воздействия в моменты неустойчивости системы, в условиях нелинейного саморазвития могут вызывать лавинообразный рост и привести к непредсказуемым результатам вплоть до распада сложноорганизованной структуры.

Соответственно, управление не есть силовое воздействие на реальность с целью ее кардинального изменения. Оно должно учитывать внутренние тенденции саморазвивающейся системы. Нелинейное мышление предполагает понимание недостаточности схемы последовательной и постепенной кумулятивности в развитии. Оно сочетает в себе дивергентные тенденции к повышению разнообразия и конвергентные тенденции к его свертыванию (избирательность), поэтому эффективное управление сложными системами возможно только в том случае, если ориентироваться на собственные тенденции (пути) их эволюции. В сложноорганизованной системе, как правило, скрыт целый спектр возможных путей развития, но существует возможность сокращать многочисленные зигзаги постепенного эволюционного пути — можно резонансно возбуждать правильные структуры в нелинейной среде, которые почти идеальны и близки к аттракторам эволюции. Причем резонанс — это не взаимное усиление параллельных усилий, движений, колебаний, а эффективность малых, но топологически правильных воздействий. Архитектурно правильное объединение частей в целое (структур разной степени сложности и разного возраста в сложную структуру) позволяет ускорять темпы эволюции как целого, так и входящих в него частей. В этом смысле синергетика серьезно подорвала миф о том, что усилия отдельного человека не могут оказать заметного воздействия на ход истории. Как видим, детерминизм вступает в нетривиальные отношения со свободой выбора и ответственностью человека.

Таковы в общих чертах основные идеи синергетической парадигмы в естественных и социальных науках. Сегодня возможно широкое внедрение синергетики как программы изучения общественной жизни, поскольку эволюционный подход стал активно использоваться в общественном знании. Синергетика внесла большой вклад в развитие методологии понимания путей эволюции сложных социальных и человекообразных систем, наметила новый подход к познанию эволюционных кризисов, нестабильности и хаоса, к овладению методами нелинейного управления сложными системами в состоянии неустойчивости.

Эвристическая ценность синергетического подхода заключается в понимании общества как сложной, развивающейся, самоструктурирующейся системы, обладающей синергетическими характеристиками. Явления, составляющие эту систему, образуют три основных слоя, которым соответствуют качественно различные процессы. Первый, нижний, слой доступен внешнему наблюдению в ходе эмпирического исследования: его образуют отдельные люди, социальные группы и организации, их активность и взаимодействия (обмен информацией, товарами, идеями, услугами и пр.). Ограниченность лишь видимыми явлениями не способствует целостному видению общества, включающего также более высокие и одновременно менее очевидные слои явлений. Так, не столь очевидна при эмпирическом наблюдении область, образуемая «процессами совмещения»: люди, группы и организации образуют некоторые целостности в формате общей деятельности, единой территории, культуры, государства и т.д. Любая целостность предполагает согласование, совмещение, гармонизацию деятельности и взаимодействий отдельных элементов, что можно наблюдать как на биологическом, так и на социальном уровне. Однако процессы совмещения, как правило, не учитываются социологическими теориями.

В результате совмещения элементов нижнего уровня возникают новые качества: морально-оценочные, правовые, логико-рациональные (в виде научного знания), явления культуры, религии, т.е. разные формы осознания обществом самого себя и управленческие решения. Все развитие человеческого общества можно рассматривать как процесс совершенствования двух видов средств совмещения — морали и права как регуляторов согласования человека с компонентами социума, т.е. другими индивидами, группами, организациями, институтами и т.д., и научно-технических и технологических средств, отвечающих за взаимодействие человека с окружающей средой. Явления верхнего слоя многообразны, но могут быть объединены понятием коллективного разума. Явления верхнего слоя оказывают обратное влияние на явления нижнего слоя — поведение и мировоззрение отдельных людей и групп посредством тех или иных императивов. Таков механизм самоорганизации общества, главным регулятором

которой выступает коллективный разум — сложное образование, интегрирующее мораль, право, науку и культуру.

Сегодня социология питается «неуставными» знаниями из антропологии, психофизиологии, квантовой механики, политологии, экономики, философии, психологии, порождая на границах с ними междисциплинарные области: экономическую социологию, социальную антропологию, политическую социологию, социальную психологию. Постепенно дисциплинарный горизонт социологии расширяется, включая знания математики, системной методологии, кибернетики, физики, биологии и др. Социология превратилась в «мультимедийное» и «перекресточное» знание. Для современного этапа развития науки характерно стирание граней между различными ее отраслями, что вызвано потребностью создать целостную картину мира. Этот процесс затронул и социологию: в поисках новой парадигмы социология, видимо, должна исходить из идеи открытости методологической системы. Представляется, что лишь в рамках междисциплинарного синергетического подхода возможно адекватное представление об обществе и происходящих в нем изменениях.

Примечания

- (1) Единая наука о самоорганизации в Германии называется «синергетикой», во франкоязычных странах — теорией диссипативных структур (И. Пригожин), в США — теорией динамического хаоса (М. Фейгенбаум), в Латинской Америке — теорией аутопоэза (У. Матурана). В отечественной литературе используются в качестве эквивалентных термины «синергетика» и «нелинейная динамика».
- (2) Теорию динамических систем можно рассматривать как обобщение и развитие классической механики И. Ньютона.
- (3) Ч. Шеррингтон называл синергетическим, или интегративным, согласованное воздействие нервной системы при управлении мышечными движениями.
- (4) Парадигма синергетики готовит нас к переходу от линейной каузальности (линейного детерминизма) к фрактальной каузальности для одного и того же феномена в одних и тех же условиях. Каузальность рассматривается как интертекстуальность, т.е. как сложное и варьирующееся переплетение действий и реакций. Синергетика утверждает, что линейная каузальность редка, и если таковая обнаруживается в результате исследования, то чаще всего это является результатом построения исследования, использования контроля, упрощения и сведения сложности и нелинейности изучаемого процесса к линейному паттерну.

Библиографический список

1. *Ваторопин А.С.* Социология и квантовая физика: поиск новой социологической парадигмы // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2015. № 4.
2. *Гленсдорф П., Пригожин И.* Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций. М., 1973.
3. *Гуц А.К.* Квантовая механика для социологов: аксиомы квантовой социологии // Математические структуры и моделирование. 2021. № 2.
4. *Гуц А.К.* Квантовый подход к описанию социальной статистики и социальной динамики Огюста Конта // Математические структуры и моделирование. 2016. № 4.
5. *Гуц А.К.* Социология общественного мнения в рамках квантового поворота // Scientific Heritage. 2021. Т. 64. № 4.

6. Добреньков В.И., Агапов П.В. Введение в изучение социальных систем, структур и социальных процессов. М., 2014.
7. Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. М., 1997.
8. Карпичев В.С. Идея неравновесности — возможности для социологии // Социологические исследования. 2008. № 10.
9. Князева Е.Н. Синергетика как направление универсализма в современном научном познании // Синергетика, философия, культура. М., 2001.
10. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. СПб., 2002.
11. Лоскутов А.Ю., Михайлов А.С. Введение в синергетику. М., 1990.
12. Назаретян А.П. Универсальная перспектива творческого интеллекта в свете постнеклассической методологии // Вызов познанию: стратегии развития науки в современном мире. М., 2004.
13. Николас Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах. М., 1979.
14. Ногина Н. Попытка квантовой социологии // URL: <http://www.port-folio.org/part162.htm>.
15. Платонов С.И. Междисциплинарность в современном социальном знании // Теория и практика общественного развития. 2012. № 12.
16. Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. М., 1994.
17. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 2001.
18. Пригожин И. От существующего к возникающему: время и сложность в физических науках. М., 1985.
19. Тузов В.В. Синергетика в социальных науках // Библиосфера. 2011. № 2.
20. Фетискин Н.П. Феномен социальной энтропии и гендерной самореализации россиян в изменяющемся обществе // Мир лингвистики и коммуникации. 2007. Т. 1. № 6.
21. Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам. М., 2005.
22. Хакен Г. Лазерная светодинамика. М., 1988.
23. Хакен Г. Можем ли мы применять синергетику в науках о человеке? // Синергетика и психология. 2000. Вып. 2.
24. Хакен Г. Основные понятия синергетики // Синергетическая парадигма. М., 2000.
25. Хакен Г. Принципы работы головного мозга: Синергетический подход к активности мозга, поведению и когнитивной деятельности. М., 2001.
26. Хакен Г. Самоорганизующееся общество // Стратегии динамического развития России: единство самоорганизации и управления. Т. III. Ч. 1. М., 2004.
27. Хакен Г. Синергетика как мост между естественными и социальными науками // Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях нестабильности. М., 2003.
28. Хакен Г. Синергетика. М., 1980.
29. Хакен Г. Синергетика: Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах. М., 1985.
30. Хакен Г. Тайны восприятия. Синергетика как ключ к мозгу. Ижевск, 2002.
31. Хакен Г. Тайны природы. Синергетика — учение о взаимодействии. М., 2003.
32. Хакен Х. Квантополевая теория твердого тела. М., 1980.
33. Шалаев В.П. Синергетика в пространстве философских проблем современности. Йошкар-Ола, 2009.
34. Haken H. Synergetics: An Introduction. Springer, 1977.
35. Haken H. Synergetics: An overview // Reports on Progress in Physics. 1989. Vol. 52. No. 5.
36. Haken H. Advanced Synergetics. Springer, 1983.
37. Haken H. Information and Self-Organization. Springer, 1988.
38. Haven E., Khrennikov A. Quantum Social Science. N.Y., 2013.
39. Zohar D., Marshall I. The Quantum Society. L., 1993.

Synergetic paradigm of the global world*

V.I. Dobrenkov

Lomonosov Moscow State University,
GSP-2, Leninskie Gory, Moscow, 119992, Russia

(e-mail: Vladimiro040239@mail.ru)

Abstract. All sociological paradigms are based on the existing picture of the world, which determines them through cognitive models. Thus, the Darwinian evolutionism and dialectical materialism that developed in the last century were mainly based on four cognitive models: scholastic (nature and society as texts), mechanistic (nature and society as machines), statistical (nature and society as balances of average values) and systemic (nature and society as organisms). Contemporary sociological paradigms — of social facts, social behavior, social definitions and determinism — are also based on these cognitive models; however, today social processes go beyond these cognitive models, and there is a growing interest in an interdisciplinary approach called ‘synergetics’ (1). The synergetic approach uses such concepts as ‘order’, ‘chaos’, ‘nonlinearity’, ‘uncertainty’, ‘instability’, ‘dissipative structures’, ‘bifurcation’, ‘attractor’ and etc. Synergetics studies the general laws of self-organization, stability and destruction of ordered structures in complex systems of various nature; it is a theory of self-organization and development of open systems of any origin [6]. The synergetic style of scientific thinking presupposes a probabilistic vision of the world, which developed in the 19th century. Synergetics contributes to the formation of a new type of scientific thinking — post-non-classical, to the inclusion of humanistic and axiological parameters in scientific research and to the development of non-linear thinking, proving the inadequacy of the model of consistent and gradual cumulative development. The new sociological paradigm should accept the idea of synergetics about the interconnectedness of epistemology and ontology, i.e. the idea that the cognitive activity of the subject changes reality: the very choice of the object, conceptual scheme, methods and the use of the results obtained forms, changes and destroys the ontological basis; therefore, the researcher is responsible for the world that he creates and reforms.

Key words: synergetic paradigm; chaos; nonlinearity; postmodernism; world picture; emergent nature; determinism; sociological paradigm

References

1. Vatoropin A.S. Sotsiologiya i kvantovaya fizika: poisk novoj sotsiologicheskoj paradigmy [Sociology and quantum physics: In search for a new sociological paradigm]. *Vestnik Surgutskogo Gosudarstvennogo Pedagogicheskogo Universiteta*. 2015; 4. (In Russ.).
2. Glensdorf P., Prigogine I. *Termodinamicheskaya teoriya struktury, ustojchivosti i fluktuatsij* [Thermodynamic Theory of Structure, Stability and Fluctuations]. Moscow; 1973. (In Russ.).
3. Guts A.K. Kvantovaya mekhanika dlya sotsiologov: aksiomy kvantovoj sotsiologii [Quantum mechanics for sociologists: Axioms of quantum sociology]. *Matematicheskie Struktury i Modelirovanie*. 2021; 2. (In Russ.).

*© V.I. Dobrenkov, 2023

The article was submitted on 09.02.2023. The article was accepted on 15.05.2023.

4. Guts A.K. Kvantovy podkhod k opisaniyu sotsialnoj statiki i sotsialnoj dinamiki Augusta Comta [Quantum approach to the description of social statics and social dynamics of Auguste Comte]. *Matematicheskie Struktury i Modelirovanie*. 2016; 4. (In Russ.).
5. Guts A.K. Sotsiologiya obshchestvennogo mneniya v ramkah kvantovogo povorota [Sociology of public opinion under the quantum turn]. *Scientific Heritage*. 2021; 64 (4). (In Russ.).
6. Dobrenkov V.I., Agapov P.V. *Vvedenie v izuchenie sotsialnyh sistem, struktur i sotsialnyh protsessov* [Introduction to the Study of Social Systems, Structures and Social Processes]. Moscow; 2014. (In Russ.).
7. Kapitsa S.P., Kurdyumov S.P., Malinetsky G.G. *Sinergetika i prognozy budushchego* [Synergetics and Forecasts for the Future]. Moscow; 1997. (In Russ.).
8. Karpichev V.S. Ideya neravnovesnosti — vozmozhnosti dlya sotsiologii [Idea of disequilibrium — opportunities for sociology]. *Sotsiologicheskie Issledovaniya*. 2008; 10. (In Russ.).
9. Knyazeva E.N. Sinergetika kak napravlenie universalizma v sovremennom nauchnom poznanii [Synergetics as a universalist approach in contemporary scientific knowledge]. *Sinergetika, filosofiya, kultura*. Moscow; 2001. (In Russ.).
10. Knyazeva E.N., Kurdyumov S.P. *Osnovaniya sinergetiki* [Foundations of Synergetics]. Saint Petersburg; 2002. (In Russ.).
11. Loskutov A.Yu., Mikhajlov A.S. *Vvedenie v sinergetiku* [Introduction to Synergetics]. Moscow; 1990. (In Russ.).
12. Nazaretyan A.P. Universalnaya perspektiva tvorcheskogo intellekta v svete postneklassicheskoy metodologii [Universalistic perspective of creative intelligence in the framework of post-nonclassical methodology]. *Vyzov poznaniyu: strategii razvitiya nauki v sovremennom mire*. Moscow; 2004. (In Russ.).
13. Nikolas G., Prigogine I. *Samoorganizatsiya v neravnovesnyh sistemah* [Self-Organization in Nonequilibrium Systems]. Moscow; 1979. (In Russ.).
14. Noginova N. Popytka kvantovoy sotsiologii [An attempt of quantum sociology]. URL: <http://www.port-folio.org/part162.htm>. (In Russ.).
15. Platonov S.I. Mezhdisciplinarnost v sovremennom sotsialnom znanii [Interdisciplinarity in contemporary social knowledge]. *Teoriya i Praktika Obshchestvennogo Razvitiya*. 2012; 12. (In Russ.).
16. Prigogine I., Stengers I. *Vremya, khaos, kvant* [Time, Chaos and the Quantum]. Moscow; 1994. (In Russ.).
17. Prigogine I., Stengers I. *Poryadok iz khaosa. Novy dialog cheloveka s prirodoj* [Order Out of Chaos: Man's New Dialogue with Nature]. Moscow; 2001. (In Russ.).
18. Prigogine I. *Ot sushchestvuyushchego k voznikayushchemu: vremya i slozhnost v fizicheskikh naukah* [From Being to Becoming: Time and Complexity in the Physical Sciences]. Moscow; 1985. (In Russ.).
19. Tuzov V.V. Sinergetika v sotsialnyh naukah [Synergetics in social sciences]. *Bibliosfera*. 2011; 2. (In Russ.).
20. Fetiskin N.P. Fenomen sotsialnoj entropii i gendernoj samorealizatsii rossiyan v izmenyayushchemsya obshchestve [The phenomenon of social entropy and Russians' gender self-realization in a changing society]. *Mir Lingvistiki i Kommunikatsii*. 2007; 1 (6). (In Russ.).
21. Haken H. *Informatsiya i samoorganizatsiya. Makroskopichesky podhod k slozhnym sistemam*. [Information and Self-Organization. A Macroscopic Approach to Complex Systems]. M., 2005.
22. Haken H. *Lazernaya svetodinamika* [Laser Light Dynamics]. Moscow; 1988. (In Russ.).
23. Haken H. Mozhem li my primenyat sinergetiku v naukah o cheloveke? [Can we apply synergetics to the human sciences?]. *Sinergetika i psikhologiya*. Moscow; 2000. Vol. 2. (In Russ.).
24. Haken H. Osnovnye ponyatiya sinergetiki [Basic concepts of synergetics]. *Sinergeticheskaya paradigma*. Moscow; 2000. (In Russ.).

25. Haken H. *Printsipy raboty golovnogo mozga: Sinergetichesky podkhod k aktivnosti mozga, povedeniyu i kognitivnoj deyatel'nosti* [Principles of Brain Functioning: A Synergetic Approach to Brain Activity, Behavior and Cognition]. Moscow; 2001. (In Russ.).
26. Haken H. Samoorganizuyushcheesya obshchestvo [Self-organizing society]. *Strategii dinamicheskogo razvitiya Rossii: edinstvo samoorganizatsii i upravleniya*. Vol. III. Part 1. Moscow; 2004. (In Russ.).
27. Haken H. Sinergetika kak most mezhdru estestvennymi i sotsialnymi naukami [Synergetics as a bridge between the natural and social sciences]. *Sinergeticheskaya paradigma. Chelovek i obshchestvo v usloviyah nestabilnosti*. Moscow; 2003. (In Russ.).
28. Haken H. *Sinergetika* [Synergetics]. Moscow; 1980. (In Russ.).
29. Haken H. *Sinergetika: Ierarkhii neustojchivostej v samoorganizuyushchihsiya sistemah i ustrojstvah* [Advanced Synergetics: Instability Hierarchies of Self-organizing Systems and Devices.]. Moscow; 1985. (In Russ.).
30. Haken H. *Tajny vospriyatiya. Sinergetika kak klyuch k mozgu* [Secrets of Perception. Synergetics as a Key to the Brain]. Izhevsk; 2002. (In Russ.).
31. Haken H. *Tajny prirody. Sinergetika — uchenie o vzaimodejstvii* [Secrets of Nature. Synergetics as a Doctrine of Interaction]. Moscow; 2003. (In Russ.).
32. Haken H. *Kvantopolevaya teoriya tvyordogo tela* [Quantum Field Theory of Solids]. Moscow; 1980. (In Russ.).
33. Shalaev V.P. *Sinergetika v prostranstve filosofskih problem sovremenosti* [Synergetics in the Space of the Contemporary Philosophical Issues]. Joshkar-Ola; 2009. (In Russ.).
34. Haken H. *Synergetics: An Introduction*. Springer; 1977.
35. Haken H. Synergetics: An overview. *Reports on Progress in Physics*. 1989; 52 (5).
36. Haken H. *Advanced Synergetics*. Springer; 1983.
37. Haken H. *Information and Self-Organization*. Springer; 1988.
38. Haven E., Khrennikov A. *Quantum Social Science*. New York; 2013.
39. Zohar D., Marshall I. *The Quantum Society*. London; 1993.



DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-451-467

EDN: WNKWCH

Критика Э. Дюркгеймом эвдемонистической и гедонистической каузальности разделения труда в оптике современного консьюмеризма*

Н.В. Гончаров

Оренбургский государственный университет,
просп. Победы, 13, Оренбург, 460018, Россия

(e-mail: nik567485@mail.ru)

Аннотация. В статье предпринята попытка ревизии дюркгеймовской пейоративной оценки утилитарно-гедонистических импульсов в качестве причин дифференциации трудовой деятельности в рамках консьюмеристской проблематики. Рассмотрена дюркгеймовская критика экономизма и утилитаризма в рамках теории социальной солидарности, имеющей не утилитарные, а моральные основания. Дюркгеймовская концепция солидаризма и основанная на ней идея разделения труда специфически преломляются в социальных практиках современного общества потребления. Сосредоточение морали в правилах (по Дюркгейму), регулирующих социальное поведение, позволяет говорить, что правила и мораль общества потребления, определяемые консьюмеристскими ценностями, предписывают индивиду исправно играть роль потребителя. Противоречивость солидаризма в условиях консьюмеризма выражена в том, что, несмотря на высокую степень социальной интеграции индивида, требующей от него как от органической части социального «жертвовать» себя этому целому, в обществе потребления наблюдается обратная тенденция — доминирование потребительских ценностей, установок и стереотипов, определяющих модели социального поведения, во многом основанные на эгоизме. Анализируемые во второй части статьи утилитарно-гедонистические потребности, мультиплицируемые консьюмеризмом, стали одной из ключевых причин прогресса и дифференциации труда. Гедонистические интенции, проявляющиеся в потребительских практиках, следует рассматривать не как психические или психологические (по Дюркгейму), а как социальные факты. Подчеркивается, что концепция социальной солидарности Дюркгейма, стремящаяся преодолеть экономизм и утилитаризм в интерпретации причин прогресса труда, может представлять научный интерес как альтернативная (моральная) точка зрения. Однако, игнорируя потенциал перманентного стремления к удовольствиям в социокультурной среде консьюмеризма, в условиях общества потребления с соответствующей моралью, она уступает утилитарно-экономической трактовке прогресса труда. Один из главных аргументов Дюркгейма в критике гедонистической и эвдемонистической каузальности прогресса труда состоит в том, что если бы дифференциация труда преследовала цель приращения счастья и удовольствия, то этот прогресс давно бы достиг своих пределов, но современное общество потребления доказывает обратное.

*© Гончаров Н.В., 2023

Статья поступила 13.02.2023 г. Статья принята к публикации 15.06.2023 г.

Ключевые слова: Дюркгейм; социальная солидарность; труд; структурная дифференциация; функциональная дифференциация; утилитаризм; гедонизм; консьюмеризм; потребительские практики

Как точно сказал о творчестве Э. Дюркгейма А.Б. Гофман, «классик на то и классик, чтобы в его творчестве можно было найти что угодно, или, точнее, что кому нравится» [3. С. 282]. Уникальность классики состоит в том, что, несмотря на конкретное определение объектно-предметной области, целей, задач и методов исследований, она, как правило, затрагивает широчайший спектр вопросов, пытаясь сохранить ригористичность в следовании вектору намеченной исследовательской программы.

Теория Дюркгейма о разделении общественного труда полемизирует одновременно с контрактуализмом, классической политической экономией, утилитаризмом и эволюционизмом [30]. Но полемика с утилитаризмом не означает, что Дюркгейм позиционирует себя как антиутилитариста [см.: 4], хотя для него было принципиальным доказательство неэкономической и неутилитарной причины импульсов и драйверов социального прогресса, в том числе дифференциации трудовой деятельности. Данная идея разворачивается в концепции социальной солидарности — центральной теме его изысканий. В дюркгеймовском понимании социальная солидарность имеет прежде всего моральные основания, а солидарность (можно назвать ее утилитарной), возникающая в процессе обмена благами и услугами, кратковременна, «является лишь поверхностным выражением внутреннего, более глубокого состояния» [7. С. 63]. Для него суть социальной солидарности — стремление индивидов к целостности или полноте бытия на основании дополняющих друг друга различий: «как бы богато мы ни были одарены, нам постоянно не хватает чего-нибудь, и лучшие из нас чувствуют свое несовершенство» [7. С. 57]. К тому же «сама мораль полноценна только в той мере, в какой мы чувствуем себя солидарными с различными обществами, в которые мы вовлечены (семья, корпорация, политическая ассоциация, отечество, человечество)» [6. С. 23–24]. Такая трактовка социальной солидарности подразумевает у нее как объективные свойства (взаимосвязь и взаимозависимость индивидов), так и субъективные (чувство единства) [5].

Противопоставляя механическую и органическую солидарности, Дюркгейм демонстрирует тенденцию возрастания солидарности по различиям и зависимости индивида от общества. В консьюмеристской интерпретации это может выглядеть следующим образом: в результате расширения набора потребительских благ и разнообразия потребительских практик индивидкратно усиливает свою зависимость от результатов труда других индивидов, которые обеспечивают целостность модели его потребительского поведения в соответствии с установленными в конкретном социокультурном пространстве стандартами комфорта и потребления.

Полемизируя со Спенсером и отмечая, что тот неверно понимал природу социальной солидарности, не точно определяя функцию разделения труда, Дюркгейм настаивал на моральной природе разделения труда и подчеркивал эволюцию морали, более выраженную в организованном типе общества. Поскольку сегодня индивид менее самодостаточен (в обществе, где преобладает органическая солидарность, связь индивида и общества сильнее и крепче), чем в примитивном обществе (где преобладает солидарность по сходствам, человеку проще интегрироваться в другой коллектив, он ощущает меньшую зависимость от общности), именно от общества он получает все, что необходимо, поэтому у индивида формируется устойчивое и более интенсивное чувство личной зависимости от общества. В то же время и общество рассматривает своих членов уже не как неразличимые единицы, которые можно потерять без серьезных нарушений внутренней экономики, а как незаменимые органические части, по отношению к которым нельзя пренебрегать своими обязательствами. К совершенствованию этой моральной функции стремилась вся социальная эволюция [31. С. 41]. В интерпретации Дюркгейма эволюция социальной солидарности — это линейный переход от механической солидарности к органической, но современная солидарность демонстрирует скорее цикличное развитие, доказательством чему может служить реактуализация солидарности по сходствам [41]. Дюркгеймовская типология социальной солидарности методологически схожа с идеально-типическим подходом М. Вебера: в эмпирической реальности невозможно общество, характеризующееся наличием только одного типа социальной солидарности (механической или органической).

Определяя причины и условия разделения труда, Дюркгейм начинает с критики, по сути, политэкономии и утилитаризма — теории, имеющей утилитарно-гедонистические и эвдемонистические основания, согласно которой основная причина разделения труда — непрерывно возрастающее стремление человека к счастью и удовольствию [7. С. 217–238]. Он подчеркивает, что утилитарная каузальность социального прогресса и разделения труда просматривается только на первый взгляд, и говорит о бездоказательности аксиомы о причинно-следственной связи между стремлением к счастью и прогрессом разделения труда. Сопоставляя потребность в счастье и границы производительности труда, Дюркгейм отмечает естественную ограниченность первого и отсутствие рациональной границы у второго, несмотря на те объективные факторы (техника, технологии, капитал и т.д.), что оказывают на труд и производство временный ограничительный эффект.

Анализируя естественную ограниченность стремления к удовольствию (как неотъемлемого элемента счастья), Дюркгейм сосредоточивает внимание на критериях его достижения/получения, которые подчинены принципу *aurea mediocritas*. Рассматривая удовольствия с точки зрения абсолютной и относительной величины изменения, на примере с богатством он показыва-

ет, что в случае среднего богатства абсолютная и относительная величина изменений находятся в наилучших условиях для возникновения удовольствия, поскольку «легко приобретают важное значение, и при этом для того, чтобы высоко оцениваться, они не должны быть огромными» [7. С. 220]. По сути, речь идет об оптимальном сочетании выгод и издержек в контексте оценки их индивидом в относительных и абсолютных величинах. Состояния, при которых индивиды стремятся к чрезмерному удовольствию (стремление не ограничено), Дюркгейм считает патологиями, которые не могут рассматриваться в качестве социальной причины разделения труда. Важно, что естественные ограничения имеют не только стремления к чувственно-телесным удовольствиям, но и стремления к удовольствиям духовного порядка (этическим, эстетическим): «наша жажда знания, искусства, благосостояния ограничена так же, как и наш аппетит, и все, что переходит эту границу, оставляет нас равнодушными или заставляет страдать» [7. С. 224].

Другой важный аргумент против утилитарно-эвдемонистических и гедонистических причин прогресса и разделения труда — то, что на каждом этапе исторического развития общество обладает соответствующим набором вкусов и привычек, определяющих критерии удовольствия и счастья. Поэтому для адекватной оценки производительной силы труда необходимо учитывать те вкусы, привычки, предпочтения и т.д., что обусловлены изменением «природы индивида». Впрочем, Дюркгейм признает невозможность установить — происходили эти изменения, чтобы стать счастливыми или чтобы получить большее удовольствие [7. С. 224].

В своей критике эвдемонистических и гедонистических причин прогресса разделения труда Дюркгейм рассматривает категорию счастья (как правило, «среднее счастье») и в контексте суицидальной проблематики, трактуя самоубийство как макроиндикатор (социального) счастья. В его трактовке самоубийство выступает продуктом цивилизации, и рост самоубийств коррелирует со степенью ее развития (за некоторыми исключениями). По его мнению, статистика суицидальных смертей может коррелировать с финансовыми и экономическими кризисами, однако и повышение благосостояния может способствовать росту числа суицидов. Но тогда возникают следующие вопросы: становится ли общество по мере цивилизационного развития или повышения благосостояния более счастливым; насколько негативной девиации (эгоистическому и аномическому самоубийству) могут противостоять компенсаторные явления цивилизации; уравниваются (возмещаются) ли порождаемые цивилизацией страдания удовлетворением расширяющихся гедонистических и эвдемонистических импульсов, также порожденных прогрессом, и т.д.

Дюркгейм полагает, что «среднее счастье» «не может увеличиваться и уменьшаться одновременно — увеличение его невозможно, раз увеличиваются самоубийства; другими словами, дефицит, существование которого

они обнаруживают, не возмещается ничем [7. С. 232]. Поэтому цивилизационный прогресс не увеличивает (как минимум) счастье (среднее, социальное), но прогресс в разделении труда по мере развития цивилизации достигает выдающихся результатов. Таким образом, констатируется явная диспропорция/диахрония между «прогрессом счастья» и «прогрессом разделения труда» [7. С. 234]. Примечательно, что в книге «Самоубийство», написанной позже работы «О разделении общественного труда», содержатся более осторожные выводы о взаимосвязи самоубийств и прогресса цивилизации — акцент смещен на особые (паталогические) условия: «возможно и даже вероятно, что прогрессивное увеличение числа самоубийств происходит от паталогического состояния, сопровождающего теперь ход цивилизации, но не являющегося его необходимым условием» [8. С. 508].

Вопрос о том, увеличивает ли цивилизационный прогресс счастье, не решен до сих пор, несмотря на многочисленные попытки квантификации счастья в социальных науках на основе объективных, субъективных и интегральных показателей. Тем не менее, оформилось самостоятельное направление «экономика счастья», в котором особое место занимает парадокс Истерлина и его теоретические и эмпирические интерпретации [21; 27; 40]. Причем одно из объяснений парадокса исходит из феномена гедонистической адаптации — после нашего привыкания к набору благ (пресыщения) они уже не способны вызвать у нас прежнее удовлетворение или удовольствие.

Дюркгейм рассматривает снижение гедонистического эффекта как, прежде всего, результат интенсификации повторений. Во многом аналогичный эффект характерен для функции полезности — она убывает по мере роста количества блага. В социологии этот принцип сформулировал Дж.К. Хоманс в теории социального обмена: «Чем чаще в недавнем прошлом человек получал определенное вознаграждение, тем менее ценной становится для него любая последующая единица этого вознаграждения» [29. С. 29]. Как поясняет Дюркгейм, при приближении к верхней границе удовольствия/счастья требуется прикладывать все больше усилий; то же можно сказать об удовлетворении все возрастающих потребностей в более гетерогенной модели потребления (потребности становятся более изысканными). Дюркгейм рассматривает расширение спектра гедонистических импульсов в потребительской модели на фоне склонности к изменениям и поиска новых источников и форм удовольствий, отрицая приписываемую этому процессу роль движущей силы прогресса и указывая его нецелесообразность даже в контексте утилитаризма (прикладывать больше усилий для той же порции удовольствия). Так называемая диверсификация потребительских практик, сопровождающаяся увеличением количества удовольствий и повышением их уровня, требует соответствующего роста производительности труда, и Дюркгейм постоянно подчеркивает эту взаимосвязь в формате «вечер свеч не стоит». Если бы прогресс труда имел исключительно утилитарную функцию, то он бы сводился

к амортизации производимых им самим последствий — «перевязке причиненных им ран»: «возможно, было бы необходимо его терпеть, но не было бы никакого основания желать его, так как оказываемые им услуги сводились бы к восстановлению причиняемых им самим потерь» [7. С. 56].

Одна из основных причин прогресса дифференциации труда в дюркгеймовской теории — увеличение численности и плотности населения (1), причем разделение труда также способствует уплотнению общества и в количественном, и в моральном отношении [7. С. 238–245]. Из этого, а также из неразрывной взаимосвязи «объема» обществ и «объема» «моральной или динамической плотности» [9. С. 224], следует, что одна из важнейших неэкономических или неутилитарных функций разделения труда — социально-стабилизирующая, позволяющая обществу в условиях постоянно усложняющейся структуры и возрастающей гетерогенности сохранять устойчивость механизмов социальных интеракций. Разделение труда по мере увеличения объема и плотности населения обусловлено и возрастающей конкуренцией на более разнообразном социальном ландшафте [7. С. 248]: структурная и функциональная дифференциация трудовой деятельности позволяет оптимизировать конкуренцию — каждый «может достигнуть своей цели, не мешая другим достигнуть их цели» [7. С. 249].

В результате прогресса разделения труда, согласно Дюркгейму, общественное (или коллективное) сознание становится более плюралистичным, преобладает солидарность не по сходствам (механическая), а по различиям (органическая), а репрессивные санкции заменяются реститутивными. Возрастающая гетерогенность и плюралистичность общества приводят к тому, что члены социальной группы не будут иметь друг с другом ничего общего, кроме своих человеческих качеств, конституирующих признаков личности. Только идея человеческой личности остается неизменной и безличной на фоне изменчивости конкретных мнений, и чувства, которые она вызывает, становятся единственными, в большей или меньшей степени присутствующими во всех сердцах. В итоге у людей не остается почти ничего, что они могли бы любить и почитать совместно, кроме самого человека [25].

Еще одна значимая причина разделения труда — исчезновение сегментарной структуры как главного барьера для более организованной социальной системы. Снижение жесткости сегментарной структуры положительно воздействует на социально-динамические процессы за счет более проницаемых и гибких «перегородок», позволяя интенсифицироваться социальным интеракциям, которые становятся более вариативными и сложными. В свою очередь, разделение труда оказывает регрессивное влияние на сегментарность: постепенное растворение сегментов в социальной среде и их естественное сращение с социальным целым порождают функциональную спецификацию, обусловленную адаптацией сегмента к потребностям «агрегата» (общества). Благодаря усиливающейся социальной динамике возникает потребность в бо-

лее совершенных неутилитарных механизмах, обеспечивающих устойчивое функционирование и развитие социальной системы. Структурная и функциональная дифференциация трудовой деятельности, имеющая моральные основания, позволяет сохранять целостность социального агрегата, купируя дезинтеграционные процессы или минимизируя их эффект. Моральный вакуум между социальными сегментами по мере разрушения сегментарных перегородок заполняется, возрастает моральная/динамическая плотность общества.

Определяя причины разделения труда, Дюркгейм критикует экономический подход (по сути, утилитарный), опровергая предположение о *homo oeconomicus* и демонстрируя, что экономическая теория ограничена в своей объяснительной силе [30]. Как верно отметил Р. Белла, Дюркгейм рассматривает классический анализ экономической взаимозависимости (устойчивое стремление к удовольствиям в форме спроса и предложения как результат производительной деятельности) как отправную точку для понимания разделения труда, но не как его суть [18]. В его критике эвдемонистических и гедонистических причин прогресса труда прослеживается идея, что концепции, признающие в качестве основных причин социального прогресса стремление к счастью и удовольствию рискуют впасть в психологический, экономический и утилитарный редукционизм, упуская из внимания фактор социальной среды (или социальной реальности как *sui generis*) и ее изменений. Вместе с тем устойчивая потребность в удовольствиях, реализуемая в потребительских практиках в консьюмеристском социокультурном пространстве, выступает одним из фундаментальных факторов социальной среды.

Выделим три ключевых аспекта отражения неутилитарной и негедонистической концепции социальной солидарности и разделения общественного труда Дюркгейма в социальных практиках современного консьюмеризма. Во-первых, солидаризм у Дюркгейма имеет моральные основания: мораль выражается прежде всего в правилах, регулирующих социальное поведение и взаимодействие индивидов, тем самым обеспечивая стабильность функционирования и развития социальной системы, а поскольку правила есть факт моральный и социальный, то их нарушение, как правило, сопровождается санкциями. В обществе потребления также формируются и работают правила, определяющие нормы социального поведения и контроля, например, устойчивое стремление к изобилию и комфорту (часто чрезмерному), демонстрация своей покупательной способности. Индивид, по той или иной причине не соблюдающий подобные правила, если и не сталкивается прямо с санкцией в виде социального неодобрения, то может испытывать сложности с социализацией, обусловленные косвенным влиянием неодобрения, зачастую переходящего в порицание.

Во-вторых, моральные основания социальной солидарности в концепции Дюркгейма обязательно предполагают возрастание зависимости индивида от общества, а в условиях консьюмеризма индивид чрезвычайно силь-

но зависит от других членов общества, поскольку получает все необходимое от них, одновременно работая на них. «Так образуется весьма сильное чувство состояния зависимости, в котором находится индивид... он приучается оценивать себя согласно истинной ценности, т.е. рассматривать себя только как часть целого, как орган организма» [7. С. 215]. Чувство зависимости индивида от общества в условиях консюмеризма весьма сильное, но эта зависимость во многом имеет потребительский характер.

В-третьих, ощущение индивидом своей сильной (органической) зависимости от общества, ощущение себя неотъемлемой частью органического целого, как полагает Дюркгейм, способно «внушить не только те ежедневные жертвы, которые обеспечивают упорядоченное развитие повседневной социальной жизни, но при случае и акты полного и безраздельного самоотречения» [7. С. 215], что предполагает развитие альтруистических чувств и, как правило, уменьшение или подавление эгоистических. В этом смысле в обществе потребления наблюдается некоторое противоречие дюркгеймовской концепции социальной солидарности. С одной стороны, индивид крайне зависим от общества, поскольку сильнее интегрирован в социальную систему, и по логике солидаризма Дюркгейма должен больше «жертвовать собой», в том числе проявляя альтруизм. С другой стороны, несмотря на эту зависимость и проистекающий из нее моральный долг части (индивида) перед целым, в обществе потребления проявляется обратная тенденция относительно моральных требований органической солидарности: устойчивые социальные установки на изобилие, культивируемые обществом потребления, сигнализируют скорее о развитии эгоизма. Конечно, альтруизм проявляет себя и сегодня, однако наблюдается явная диспропорция — острый дефицит альтруизма и изобилие эгоизма, а, следовательно, и соответствующей морали. Возможно, в этом состоит уникальность общества потребления, в котором наблюдается высокая моральная плотность, несмотря на преобладание эгоистических установок. Всякое общество обладает некоей моралью [7. С. 215], но важно ее содержание, в связи с чем актуализируется вопрос о легитимности и корректности термина «потребительская мораль».

Постоянное стремление к удовольствию или счастью не может служить (основной) причиной разделения труда. Дюркгейм видел ее в таких взаимосвязанных макросоциальных факторах, как увеличение объема и плотности общества и исчезновение в нем сегментарных структур. Более того, он считал новые утилитарно-гедонистические потребности следствием той же причины, что вызывает прогресс разделения труда, т.е. увеличения объема и плотности общества: «вот почему пища, которой до тех пор хватало для восстановления органического равновесия, теперь недостаточна; необходима пища более обильная и изысканная» [7. С. 254]. По мере возрастания численности и плотности населения, или объема социального организма, а также динамики и частоты контактов между акторами требуется больше потребляемой

энергии. Но каким образом изменения в объеме и плотности общества приводят к появлению новых потребностей, к тому же «более изысканных»? Ответ Дюркгейма таков: увеличение плотности населения, частоты и интенсивности социальных интеракций приводит к усилению конкуренции, следствием которой является, в том числе, развитие интеллекта, отсюда и «изысканность» гедонистических потребностей. Чем более развит интеллект, тем более он чувствителен в этическом, эстетическом и гедонистическом плане. К тому же, чем более дифференцирован труд, тем он более требователен к интеллектуальным способностям. Хотя здесь мы сталкиваемся с некоторым противоречием, связанным с разложением трудовых функций: наблюдается однообразие, обусловленное тем, что при узкой специализации человеку требуется выполнять меньшее количество разнообразных трудовых функций — «цивилизация вместе с большей подвижностью вносит и большее однообразие, ибо она навязала человеку монотонный, непрерывный труд» [7. С. 226].

Действительно ли гедонистические импульсы как постоянное стремление к удовольствию в масштабе общества не могут быть причиной прогресса разделения труда, выступая производными универсальных причин структурной и функциональной дифференциации? Общество потребления показывает, что устойчивое расширение и развитие потребительских практик — не менее значимая причина дифференциации труда, чем увеличение объема и плотности общества и исчезновение сегментарных структур. Дуализм потребительских практик в рамках консьюмеризма, включая утилитарно-функциональные и символические его аспекты (в первом случае потребитель получает удовлетворение/удовольствие от использования непосредственных свойств товара/услуги, во втором — от демонстрации потребительной стоимости товаров), оказывает существенное влияние на функционирование и развитие института труда и его производительной силы. Переход от «общества производителей» (*producer society*) к «обществу потребителей» (*consumer society*) символизирует смещение макросоциальных акцентов в пользу потребления: «То, как современное общество формирует своих членов, продиктовано, прежде всего, необходимостью играть роль потребителя, и норма, которую наше общество предъявляет своим членам, — это способность и готовность играть эту роль» [16. С. 24]. Учитывая, что массовое производство объективно невозможно без массового потребления, актуальным становится понятие Ж. Бодрийяра, которое он использует наряду с производительностью (труда) — «потребительность» [1. С. 97–100].

Консьюмеристские паттерны служат доказательством устойчивого стремления общества к разнообразию удовольствий. Диверсификация потребительских практик часто приводит к максимизации удовольствия, и ради разнообразия индивиды иногда включают в свой потребительский набор даже менее понравившиеся предметы [32. С. 102–121]. Чем ближе человек к идеальному комфорту и, следовательно, к отсутствию стимуляции, тем

больше он стремится к тем формам потребления, которые обеспечивают возбуждение и повышают его уровень [37]. «Скука — это продукт комфорта современного общества потребления; но, по иронии судьбы, скука сама по себе является движущей силой потребления, потому что облегчение скуки активизирует бесконечное стремление к новизне и возбуждению» [43].

Мультиплицирование гедонистических потребностей в консьюмеристском социокультурном пространстве (не в последнюю очередь благодаря рекламе и маркетологам) — мощный фактор технологического развития. Институт производства в капиталистическом обществе крайне чувствителен к потребностям в новых товарах и услугах. Яркий пример — мощная динамика технологических инноваций: потребитель быстро привыкает к ним (срабатывает механизм гедонистической адаптации), и критерии получения удовольствия постоянно повышаются, заставляя производителей в условиях жесткой конкуренции диверсифицировать предложение и создавать более технологичную продукцию. Согласно данным ВЦИОМ за период с 2013 до 2021 годы, самое частое приобретение года у россиян — мобильный телефон или смартфон: в 2020 году его купили 27 % [11]. Можно сказать, что потребители требуют постоянного апгрейда даже в эпоху постиндустриализма, когда ценностные приоритеты, особенно молодого поколения в долгосрочной перспективе, смещаются в сторону «постматериальных» [14. С. 41–74], что, в частности, способствует развитию экосознания, экоэкономики и экокультуры, т.е. инвайроментальных установок. Так, в российском обществе активно развивается экоконсьюмеризм: по данным ВЦИОМ, 64 % предпочтут более дорогой товар, если он будет более безопасным для окружающей среды (68 % среди 25–34-летних); 54 % не используют лампы накаливания, 21 % выразили готовность отказаться от них; 53 % отказались от меха животных, 26 % готовы это сделать; 42 % не используют пластиковую посуду, 41 % готовы от нее отказаться [13].

Устойчивость консьюмеристских установок в условиях интенсивной социодинамики во многом объясняется тем, что существование разных потребностей необходимо для функционирования и развития социальной системы — общество потребления продуцирует и поддерживает соответствующие потребности (главным образом утилитарно-гедонистические). В естественном ограничении потребностей (потребительских практик) капитализм проделал то же самое, что традиционализм — со стремлением к максимизации прибыли. Как показал Вебер, в обществе, где преобладает традиционный тип социального действия, человек не склонен зарабатывать больше того, что ему необходимо в соответствии с традиционными привычками [2. С. 81], поэтому традиционализм был одним из главных барьеров на пути развития «духа капитализма». Для преодоления традиционалистских ограничений в зарабатывании денег для капитализма исключительно важен целерациональный тип социального действия, для развития потребительских практик

капиталистически-рыночного типа — ценностно-рациональный. Ценностно-символическая система консьюмеристского ландшафта предписывает индивиду исправно «играть роль» потребителя, и потребительство превращается в самодовлеющую ценность, хотя в социологии потребления часто акцентируется формальная свобода потребителя (в капиталистическом обществе): «со свободой “потребителя” дела обстоят так же, как со свободой труда. Система капитала утверждается на свободе, на формальной эмансипации рабочей силы (а не на конкретной автономии труда, которую она уничтожает); точно так же потребление существует лишь в абстракции некоей системы, которая основывается на “свободе” потребителя» [1. С. 98].

Свободу потребителя не вполне корректно трактовать как способность определять потребительскую стоимость товара, т.е. диктовать свою волю производителю (например, ряд исследователей отрицает общество потребления, считая его мифом, эпифеноменом [см., напр.: 22]). Во-первых, с экономической точки зрения это может порождать серьезные издержки для производителя в виде дополнительных рисков, хотя широко распространены практики кастомизации (и некоторые разновидности просьюмеризма, например, краудсорсинг). Во-вторых, связь производства и потребления является корреляционной, а не причинно-следственной (предложение не может не зависеть от спроса, но справедливо и обратное). В-третьих, несмотря на манипулирование потребительскими интересами (маркетологи, пиарщики, рекламщики и т.д.), даже манипуляции основываются на потребностях и предпочтениях аудитории. Современные теории «использования и вознаграждения» (*uses and gratifications theory*) и ее ответвления — теории «зависимости медиа» (*media system dependency theory*), в некоторой степени оппоненты теории «волшебной пули» Г.Д. Лассуэлла (*magic bullet theory*), рассматривают аудиторию не как пассивный объект, а как активного субъекта в условиях интерактивности и нелинейности взаимодействия СМИ и аудитории [15; 35; 38]. За счет интерактивной коммуникации, создания дискуссионных площадок и проведения опросов/голосований производители стремятся активно взаимодействовать с потребительскими комьюнити, учитывая их мнение при совершенствовании или создании новой продукции/услуги, а ведущие мировые бренды создают и развивают так называемые клиентские сообщества (*brand community*), повышая потребительскую лояльность.

Что касается символических аспектов консьюмеризма, то коммодификация социального ландшафта сопровождается становлением символической системы, в которой товар обладает не только утилитарно-функциональными свойствами. Благодаря символической функции товара, усиливаемой консьюмеризмом, демонстрация потребительских практик становится одним из значимых социальных действий не только для «праздничного класса» с обостренным чувством статуса [42]. Демонстративные мо-

дели потребления отражены в «эффекте победителя/подножки» «эффекте сноба» и «эффекте Веблена» [33]. Консьюмеризм развивает механизм конвертации утилитарных характеристик товара в символические посредством соответствующих потребительских моделей, несмотря на то что установки социально одобряемой (часто поощряемой) модели потребления в условиях погони за престижем порождают «ущербных потребителей», которым не хватает ресурсов для этой погони [17]. И так называемая декоммодификация [23. С. 35–41] не отменяет символической функции товара в обществе потребления. Концепция товарного фетишизма К. Маркса отражает социально-экономические причины коммодификации: «таинственность товарной формы состоит просто в том, что она является зеркалом, которое отражает людям общественный характер их собственного труда как вещный характер самих продуктов труда, как общественные свойства данных вещей, присущие им от природы; поэтому и общественное отношение производителей к совокупному труду представляется им находящимся вне их общественным отношением вещей» [10. С. 78].

В своем символическом измерении консьюмеризм гиперболизирует форму, и демонстративность статусных моделей стала социальной нормой. Например, в последнее время социальная бинарность «статус–престиж» тесно связана с тенденциями эстетизации тела, внешнего вида (формы) и дает мощный импульс развитию индустрии красоты, в том числе способствуя дифференциации труда в этой отрасли [24; 26]. Сегодня можно говорить о чрезмерном внимании к внешнему виду (форме) — состояние кожи, волос и лица человека может выступать индикатором его статуса и престижа, что способствовало «глобализации красоты» [20]. С учетом феноменальных возможностей косметологии, пластической и эстетической хирургии внешний вид отражает и финансовые возможности индивида. Гомогенизация стандартов красоты в консьюмеристском социокультурном пространстве функционально связана с коммерциализацией эстетики тела [19], хотя чрезмерное увлечение эстетическим консьюмеризмом, например, в стоматологии, может иметь негативные последствия: по мере снижения уровня стоматологических заболеваний в более обеспеченных социально-экономических группах отрасль переориентируется с терапии на эстетику [28]. Сегодня можно говорить о навязчивой потребности в демонстрации потребительских практик, успешно удовлетворяемой современными средствами массовой коммуникации, в первую очередь социальными сетями и платформами. Доминирование и развитие потребительских паттернов определяет устойчивость чувственной культуры, своеобразным амбассадором которой выступает консьюмеризм. И, несмотря на пессимистичный прогноз П. Сорокина о «великом кризисе чувственной культуры» [12. С. 790], ее «самоубийство» явно откладывается на неопределенный срок.

Опровергая эвдемонистические и гедонистические причины дифференциации труда, Дюркгейм констатирует естественную ограниченность потребности индивида в удовольствиях чувственных и духовных, а также «локализацию» критериев удовольствия и счастья конкретной эпохой, тогда как прогресс труда не имеет рациональной границы. Если дюркгеймовский анализ удовольствий основан на их биопсихической природе (как факты психические, а не социальные, удовольствия непостоянны и зависят от степени и интенсивности их удовлетворения), то прогресс разделения труда он интерпретирует строго в рамках социологизма, определяя в качестве его фундаментальной причины возрастание объема и плотности общества, а также исчезновение сегментарных структур. По сути, данная причина структурной и функциональной дифференциации вытекает из универсального эволюционистского постулата о том, что количественные изменения в социальном организме (увеличение численности индивидов) со временем приводят к качественным: не будучи эволюционистом, Дюркгейм разделял идею Г. Спенсера о социальной эволюции как переходе от несвязанной гомогенности к организованной гетерогенности.

Теория Дюркгейма о дифференциации труда в оптике современного утилитарно-гедонистического консьюмеризма выглядит как явно недооцененный потенциал стремления к удовольствиям (в форме потребительских практик) как движущей силы разделения труда. Это не ошибка ученого, поскольку консьюмеризм — относительно молодое социальное, экономическое и культурное явление. Кроме того, нужно учитывать его стратегию разработки теории социальной солидарности как имеющей неутилитарные основания: обоснование неутилитарности социальной солидарности и интеграции были призвано преодолеть ограничения экономической интерпретации прогресса труда. Учитывая многообразие и сложность структуры, механизмов и функций социальных интеракций, дюркгеймовское обоснование моральной архитектуры солидарности, в том числе в трудовых отношениях, расширяет теорию прогресса труда, наполняя ее социологическим реализмом. Ему удалось показать одну из важнейших неэкономических/неутилитарных функций разделения труда — ее социально-стабилизирующее воздействие на постоянно усложняющуюся социальную структуру в условиях возрастающей гетерогенности общества. Но в то же время Дюркгейм преувеличивает роль объема и плотности общества — неутилитарных факторов — в прогрессе разделения труда.

Консьюмеризм показывает, что развитие и разнообразие потребительских моделей поведения и практик — мощный импульс для прогресса труда. Современный институт производства оперативно реагирует на меняющиеся потребительские установки и предпочтения, а эффект гедонистической адаптации стимулирует создание новой продукции. Можно возразить, что

это скорее результат манипулирования, однако современный потребитель не является пассивным объектом, и широко используемый производителями клиентоориентированный подход позволяет эффективно задействовать коммуникативные механизмы для создания продукции, более соответствующей потребностям и желаниям потребительских комьюнити. К тому же потребительская «суверенность» относительна: потребитель не свободен в обществе потребления не потому, что не способен навязывать свою волю производителям или ограничен в денежных средствах и выборе товара, а потому что потребление стало социальной нормой, социальным фактом, социокультурным императивом и социально одобряемым средством демонстрации социального статуса — обрело статус самодовлеющей ценности. Таким образом, общество потребления подтверждает как утилитарно-экономическую каузальность прогресса труда, так и динамичную эволюцию своей гедонистической природы.

Примечание

- (1) Во время защиты Дюркгеймом диссертации «О разделении общественного труда» Э. Бутру сделал замечание по поводу утверждения, что разделение труда — прямое следствие увеличения численности и плотности населения, поскольку это не единственно возможное решение этой проблемы. Дюркгейм парировал: «Я не хотел сказать, что мой закон выступает единственно возможным следствием, скорее необходимым. Есть и другие, но они второстепенны и слабы» [39. С. 298]. Несмотря на стремление Дюркгейма к стройной аргументации, очевидна некоторая неопределенность в причинно-следственной связи между возрастанием плотности населения и прогрессом разделения труда: «Мы не говорим, что возрастание и уплотнение обществ допускают все большее разделение труда, но утверждаем, что они обуславливают его необходимость. Это не орудие, посредством которого осуществляется разделение труда; это — определяющая причина его» [7. С. 245].

Библиографический список/References

1. *Бодрийяр Ж.* К критике политической экономии знака. М., 2007 / Baudrillard J. *K kritike politicheskoj ekonomii znaka* [For a Critique of the Political Economy of the Sign]. Moscow; 2007. (In Russ.).
2. *Вебер М.* Избранные произведения. М., 1990 / Weber M. *Izbrannyye proizvedeniya* [Selected Works]. Moscow; 1990. (In Russ.).
3. *Гофман А.Б.* Дюркгейм сегодня // Социологический ежегодник. М., 2013 / Gofman A.B. Durkheim today. *Sotsiologicheskyy ezhegodnik*. Moscow; 2013. (In Russ.).
4. *Гофман А.Б.* К теоретической реконструкции дюркгеймовской трактовки морали // Общественные науки и современность. 2019. № 6 / Gofman A.B. On the theoretical reconstruction of Durkheim's interpretation of morality *Obshchestvennyye Nauki i Sovremennost*. 2019; 6. (In Russ.).
5. *Гофман А.Б.* Солидарность или правила, Дюркгейм или Хайек? О двух формах социальной интеграции // Социологический ежегодник / Ред.: Н.Е. Покровский, Д.В. Ефременко. М., 2013 / Gofman A.B. Solidarity or rules, Durkheim or Hayek? On two forms of social integration. *Sotsiologicheskyy ezhegodnik*. Moscow; 2013. (In Russ.).
6. *Дюркгейм Э.* Моральное воспитание (Лекции 6–7) // Личность. Культура. Общество. 2019. № 3–4 / Durkheim E. Moral education (Lectures 6–7). *Lichnost. Kultura. Obshchestvo*. 2019; 3–4. (In Russ.).

7. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда; Метод социологии. М., 1991 / Durkheim É. *O razdelenii obshchestvennogo truda; Metod sotsiologii* [The Division of Labor in Society; The Rules of Sociological Method]. Moscow; 1991. (In Russ.).
8. Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд. СПб, 1912 / Durkheim É. *Samoubijstvo: Sotsiologicheskij etjud* [Suicide: A Study in Sociology]. Saint Petersburg; 1912. (In Russ.).
9. История буржуазной социологии XIX — начала XX века / Отв. ред. И.С. Кон. М., 1979 / *Istorija burzhuznoj sotsiologii XIX — nachala XX veka / Otv. red. I.S. Kon* [History of Bourgeois Sociology in the 19th — Early 20th Centuries]. Moscow; 1979. (In Russ.).
10. Маркс К. Капитал: критика политической экономии. Т. 1. Процесс производства капитала. Кн. 1. М., 1952 / Marx K. *Kapital: kritika politicheskoy ekonomii*. Т. 1. Protsess proizvodstva kapitala. Кн. 1 [Capital: A Critique of Political Economy. Vol. 1. : The Process of Capitalist Production. Book 1]. Moscow; 1952. (In Russ.).
11. Потребительские планы / Potrebitel'skie plany [Consumer plans]. 27.01.2021. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/potrebitel'skie-plany-2021>. (In Russ.).
12. Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М., 2006 / Sorokin P.A. *Sotsial'naja i kulturnaja dinamika* [Social and Cultural Dynamics]. Moscow; 2006. (In Russ.).
13. Экологичное потребление / Ekologichnoe potreblenie [Green consumption]. 13.10.2021. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/ehkologichnoe-potreblenie?sclid=lbxguntee6171224337&cHash=22812f964e04e32c0ecb901ad1a4cd55>.
14. Abramson P.R., Inglehart R. *Value Change in Global Perspective*. Ann Arbor–Michigan; 1995.
15. Ball-Rokeach S.J., DeFleur M.L. A dependency model of mass-media effects. *Communication Research*. 1976; 3 (1).
16. Bauman Z. *Work, Consumerism and the New Poor*. London; 2004.
17. Bauman Z. Collateral casualties of consumerism. *Journal of Consumer Culture*. 2007; 7.
18. Bellah R.N. *Émile Durkheim: On Morality and Society*. Chicago–London; 1973.
19. Benbow-Buitenhuis A.A. Feminine double-bind? Towards understanding the commercialization of beauty through examining anti-ageing culture. *Social Alternatives*. 2014; 33.
20. Berghoff H., Kühne T. Globalizing beauty: Consumerism and body aesthetics in the twentieth century. *American Historical Review*. 2014; 119 (3).
21. Clark A.E., Frijters P., Shields M.A. Relative income, happiness, and utility: An explanation for the Easterlin Paradox and other puzzles. *Journal of Economic Literature*. 2008; 46 (1).
22. Conrad L. *The Myth of Consumerism*. London–Sterling; 2002.
23. Corrigan P. *The Sociology of Consumption: An Introduction*. London–Thousand Oaks; 1997.
24. Dimulescu V. Contemporary representations of the female body: Consumerism and the normative discourse of beauty. *Symposion*. 2015; 4 (2).
25. Durkheim É. L'individualisme et les intellectuels. *Revue Bleue*. 1898; 10.
26. Evans A., Riley S. Immaculate consumption: Negotiating the sex symbol in postfeminist celebrity culture. *Journal of Gender Studies*. 2013; 22.
27. Graham L., Oswald A.J. Hedonic capital, adaptation and resilience. *Journal of Economic Behavior & Organization*. 2010; 76 (2).
28. Holden A.C.L. Consumed by prestige: The mouth, consumerism and the dental profession. *Medicine, Health Care and Philosophy*. 2020; 23.
29. Homans G.C. *Social Behavior. Its Elementary Forms*. New York; 1974.
30. Jarring H. A rational reconstruction of Durkheim's thesis concerning the division of labor in society. *Mens en Maatschappij*. 1979; 54.
31. Jones R.A. *Émile Durkheim. An Introduction to Four Major Works*. Beverly Hills, London, New Delhi; 1986.
32. Kahn B.E., Ratner R.A. *Inside Consumption: Consumer Motives, Goals, and Desires*. S. Ratneshwar, D.G. Mick (Eds.). London–New York; 2005.

33. Leibenstein H. Bandwagon, Snob, and Veblen effects in the theory of consumers' demand. *Quarterly Journal of Economics*. 1950; 64 (2).
34. Luck E. Commodity feminism and its body: The appropriation and capitalization of body positivity through advertising. *Liberated Arts*. 2016; (2) 1.
35. Menon D. Purchase and continuation intentions of Over-The-Top (OTT) video streaming platform subscription: A uses and gratification theory perspective. *Telematics and Informatics Reports*. 2022; 5.
36. Rueschemeyer D. *Power and the Division of Labour*. Stanford; 1986.
37. Scitovsky T. *The Joyless Economy: The Psychology of Human Satisfaction*. New York; 1992.
38. Severin W.J., Werner J. *Communication Theories: Origins, Methods, and Uses in the Mass Media*. New York; 2001.
39. Steven L. *Emile Durkheim, His Life and Work: A Historical and Critical Study*. London; 1973.
40. Stevenson B., Wolfers J. Economic growth and subjective well-being: Reassessing the Easterlin Paradox. *Brookings Papers on Economic Activity*. 2008; 1 (1).
41. Tiryakian E.A. Revisiting sociology's first classic: *The Division of Labor in Society* and its actuality. *Sociological Forum*. 1994; 9 (1).
42. Veblen T. *Conspicuous Consumption*. New York; 2006.
43. Vries de J. *The Industrious Revolution: Consumer Behavior and the Household Economy, 1650 to the Present*. Cambridge–New York; 2008.

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-451-467

EDN: WNKWCH

E. Durkheim's critique of the eudemonistic and hedonistic causality of the division of labor in the perspective of contemporary consumerism*

N.V. Goncharov

Orenburg State University,
Prosp. Pobedy, 13, Orenburg, 460018, Russia

(e-mail: nik567485@mail.ru)

Abstract. The article aims at revising Durkheim's pejorative assessment of utilitarian-hedonistic impulses as the reasons for the differentiation of labor in the consumerism perspective. The author considers Durkheim's criticism of economism and utilitarianism through his theory of social solidarity as having moral rather than utilitarian foundations and shows the transformation of Durkheim's concept of solidarism and the idea of division of labor based on it in social practices of the contemporary consumer society. Thus, the concentration of morality in the rules (according to Durkheim) that regulate social behavior proves that the rules and morality of the consumer society are determined by consumerist values and make every individual play the consumer role. The inconsistency of solidarism under consumerism is expressed in the fact that, despite the high degree of social integration which demands that as an organic part of the social we have to 'sacrifice' ourselves to this whole, in the consumer society, there is a reverse trend — the dominance of consumer

*© N.V. Goncharov, 2023

The article was submitted on 21.02.2023. The article was accepted on 15.05.2023.

values, attitudes and stereotypes which determine models of social behavior based on selfishness. In the second part of the article, the author considers utilitarian-hedonistic needs multiplied by consumerism as one of the key reasons for the progress and differentiation of labor. Hedonistic intentions manifested in consumer practices should be considered not as mental or psychological (according to Durkheim) but as social facts. The author argues that Durkheim's concept of social solidarity, which seeks to overcome economism and utilitarianism in the interpretation of the progress of labor, may be of scientific interest as an alternative (moral) approach. However, it ignores the potential of the permanent desire for pleasure in the social-cultural environment of consumerism; therefore, in the consumer society with appropriate morality, this approach loses to the utilitarian-economic interpretation of the progress of labor. One of Durkheim's main arguments in the critique of the hedonistic and eudemonistic causality of the progress of labor is that if the differentiation of labor aimed at increasing happiness and pleasure, then this progress would have reached its limits long ago, but the contemporary consumer society proves the opposite.

Key words: Durkheim; social solidarity; labor; structural differentiation; functional differentiation; utilitarianism; hedonism; consumerism; consumer practices



DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-468-484

EDN: WWNFKX

Two and a half undeservedly forgotten conceptual foundations of rural sociology*

A.M. Nikulin^{1,2}, I.V. Trotsuk^{1,3,4},

¹Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Vernadskogo Prosp., 84, Moscow, 119571, Russia,

²Moscow School of Social and Economic Sciences
Gazetny Per., 3–5, 1, Moscow, 125009, Russia,

³RUDN University
Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, 117198, Russia

⁴National Research University Higher School of Economics,
Myasnitskaya St., 20, Moscow, 101000, Russia

(e-mail: harmina@yandex.ru; irina.trotsuk@yandex.ru)

Abstract. Although Russian society is strongly connected with the countryside and has deep ‘rural roots’, agrarian issues have always been somewhat marginal in the national scientific tradition, mainly in its social-scientific branch. Today the situation seems to change due to at least two globally urgent issues — sustainable food-security patterns (agricultural production) and rural social/human capital — which increase both theoretical and practical interest to the heuristic and reform potential of the rural sociology research. To the acknowledged factors of the somewhat marginal status of rural sociology the authors add the fact that not all its conceptual foundations, especially in the national tradition, were identified and systematized. The article presents only two and a half such foundations: agricultural economics, theories of peasant agrarianism, and, partly, theory of rural-urban continuum (forgotten in its rural half and widely used to explain suburbanization trends). In the first part of the article, the authors reconstruct the historical path of agricultural economics, focusing on its creative adaptation to the specific conditions of rural Russia. At the turn of the 1920s — 1930s, the national and global political-ideological crisis of agricultural economics determined the replacement of its initial German economic-philosophical agrarian approach by the American pragmatic agricultural approach and applied farm management. In the second part of the article, the authors summarize, on the one hand, utopian, political-economic and populist ideas of agrarianism (1); on the other hand, reasons for its fair criticism which did not focus on the utopian ideas of agrarianism (rather on its being an eclectic pragmatic ideology, contradictions between its left and right wings, its negative conservative potential, lack of political experience and decisiveness, and so on). In the third part of the article, the authors reconstruct a more successful life path of the theory of rural-urban continuum, which emphasizes not so much the fundamental differences between rural and urban communities as a spatially extended rural-urban scale of community types differing by size, population density, division of labor, isolation, local solidarity, and so on. This continuum model

* © Nikulin A.M., Trotsuk I.V., 2023

The article was submitted on 05.03.2023. The article was accepted on 15.06.2023.

remains extremely important for the analysis of the social development of contemporary rural areas and should be supplemented by the elements of the theory of peasant economy and cooperation in order to study comprehensively rural social and human capital.

Key words: rural sociology; social/human capital; agricultural economics; theories of peasant agrarianism; theory of rural-urban continuum; rural and urban communities; rural areas; agricultural production; rural and urban way of life; theory of peasant economy and cooperation

In the first post-Soviet decades, Russian rural sociology had a disappointing ‘diagnosis’, and many ‘diseases’ of this discipline remain ‘uncured’: “The situation of rural sociology both in the USSR and in post-Soviet Russia was and is still determined by two factors acting in opposite directions. On the one hand, Russian society is strongly connected with the countryside and has deep ‘rural roots’, which has always explained the scientific interest to rural issues. On the other hand, there are many reasons for ignoring such issues: territorial remoteness of the village from the city, less institutionalized rural environment, inaccessibility of rural residents for standard survey methods, etc. Moreover, there is a clear dependence of rural research on the state agrarian policy in certain periods of the national history. In the 20th century, Russian village at least twice — under Stalin’s collectivization and post-Soviet reforms — underwent the most severe social-economic upheavals. Thereby, despite the great social significance of the village for Russia, the sociological interest to the village as an object of study varied at different stages of the national history and sometimes was lost completely” [82].

This surprisingly stable list of the Russian rural sociology’s problems lacks another significant factor of its ‘unfavorable condition’ — ignorance of its most important conceptual foundations/origins. As a rule, different periodizations of the rural sociology evolution mention that monographic studies of the countryside in the 1920s — 1930s (several villages were comprehensively described) had deep historical roots in the work of provincial *zemstvos* and sanitary bureaus of the late 19th century within the general ethnographic tradition (detailed peasant family households censuses, analysis of demographic trends, etc.). Perhaps, this explains a kind of ‘marginal’ disciplinary status of rural sociology: certainly, its research focus shifted from macro-level to micro-objects (from ‘big data’ to ‘expert opinions’ of rural residents); statistical and sociological macro-descriptions of the past and current agrarian reforms, of human and social capital of rural areas and agro-industrial complex, of social-geographical differentiation of the Russian space, etc. were supplemented by ethnographic studies of local rural realities based on various combinations of qualitative methods, with a strong anthropological and/or peasant-studies emphasis; different typologies of Russian rural areas were developed (for instance, ‘territories of growth’, ‘territories of stagnation’ and ‘territories of compression’/‘zones of desolation’ [66]); the party-ideological and institutional orientation of rural research to the social reorganization of the countryside was definitely overcome; however, it is hardly possible to apply the research ‘potential’

of rural sociology to the study of rural human capital, which is so urgent today, until all conceptual prerequisites/foundations of rural sociology are identified and systematized. In this article, we consider as such only two and a half approaches: agricultural economics, theories of peasant agrarianism, and, partly, theory of rural-urban continuum (forgotten in its rural half and widely used to explain the contemporary suburbanization trends).

Agricultural economics developed into an independent science with its own subject field and research methods in the early 19th century, based on some agrarian and economic sections of the 18th-century cameralism and the accumulated experience of progressive landowners and farmers in some Western-European countries, mainly England and Germany. A.D. Thaer and J.H. von Thünen were the first to systematize the findings of agricultural economics and to develop the first agrarian-economic models of agricultural production. In addition to creating the first specialized agricultural research and training institutions, Thaer published the first systematic treatise on agriculture *The Principles of Rational Agriculture*, in which considered the economic planning of agricultural enterprises in the market-economy perspective (maximization of profit rather than of gross production) [94]. Von Thünen followed these ideas and became a pioneer of agrarian marginalism in *The Isolated State in Relation to Agriculture and Political Economy*, in which presented the model of an isolated city-state to prove that agriculture can be consistently oriented to the maximum possible net profit and to show the types of change in agricultural industries and regions in relation to their market location [95]. Von Thünen's regional-industry marginalism remains an important methodological approach in the management of agriculture and the whole economic system.

Further agricultural and economic discussions of the 19th century clarified interdisciplinary issues in the interaction of natural sciences, technology and social sciences. By the early 20th century, the school of von der Goltz developed a model for the analysis of the agrarian enterprise based on a comprehensive study of its constituent economic elements. The economist of this school used a special reference book with tables of agricultural norms and coefficients and elementary arithmetic calculations to estimate various options for the profitability of farming, confidently calculated rent amount and land cost, i.e., it seemed that he could organize the sustainable development of the agricultural enterprise without even leaving his office. The empirical data accumulated over decades ensured von der Goltz's school unconditional dominance in the European agrarian science until the World War I.

In the early 20th century, a new systematization of knowledge and models of agricultural economics was proposed by F. Aereboe and T. Brinkman [1; 7] in the holistic concept of the agricultural enterprise as a systemic interdependencies of subsystems, in which the scholars analyzed both microeconomics of agricultural enterprises and macroeconomics of agricultural sector: "Agricultural enterprise is a system of harmonious balance of economic factors, and the task of the organizer of the economy is to bring the tension of these factors to the limit and harmony. Thus,

the success of the farm is determined not by the average cow, but by the ‘maximum’ cow the farm can keep with its fodder resources. . . . At the same time, there is no place for abstract arithmetic at the farm, and everything should be based on the positive specific experience. . . . Agricultural production is not only a technology in which the means of production and labor in kind must be harmoniously combined, but also an economy that depends on the general conditions of the national economic situation; this determines the need to combine technical and economic considerations of each issue in agricultural economics” [7]. After the World War I, in the seventh volume of *Grundriss der Socialökonomik*, Brinkmann managed to connect general issues of political economy with the specific issues of agricultural economics, which helped the latter to overcome its initial ‘provincialism’ determined by its long staying away from the fundamental debates of agrarian theory.

In Russia, agricultural economics was influenced by the German science: Russian scientists studied and creatively adapted the theoretical and empirical experience of German professors to the Russian realities of the late 19th — early 20th centuries (A.P. Ludogovsky, V.K. Khdyudzinsky, A.N. Shishkin, A.I. Chuprov, A.I. Skvortsov, K.A. Verner and A.F. Fortunatov [53]). From the classical all-European theoretical issues between political economy and agronomy (land rent, law of diminishing fertility of the soil or of diminishing returns, spatial marginalism, etc.), Russian scientists selected and adapted some issues to the specific conditions of rural Russia. The head of the organization-production school A.V. Chayanov developed the theory of peasant economy and agricultural cooperation, and, on this basis, made practical conclusions and recommendations for agrarian policy, which have not lost their relevance [13]. By the 1920s, agricultural economics in the USSR reached its peak in the works of Chayanov’s colleagues — A.N. Chelintsev, B.D. Brutskus, N.P. Makarov, G.A. Studensky and others.

The turn of the 1920s — 1930s was marked by the political-ideological crisis in agricultural economics. The political crisis in the USSR was associated with the excesses of collectivization — many representatives of agricultural economics were repressed as petty-bourgeois saboteurs [76]. In the 1930s, a new Soviet agrarian-economic science was announced — economics of agriculture based on the postulates of the Stalinist version of Marxism-Leninism. At the same time, the world economic crisis, which provoked authoritarian political upheavals, adversely affected the stronghold of agricultural economics — Germany, and the American approach began to dominate, being more interested in empirical research than in the systematic development of the theory of agricultural economics in the German style. Thus, the German economic-philosophical agrarian approach *Betriebslehre* was replaced, on the one hand, by the American pragmatic agricultural economics (market capital, prices, land relations, credit, crises, etc.); and, on the other hand, by the applied farm management.

Ideologists of *agrarianism* believed that the rural way of life had many advantages over urban life, the social-moral status of the peasant was higher than

of the urban wageworker, and agriculture as a way of life formed the key social values. T. Inge defined agrarianism as follows: agriculture is the only occupation that ensures complete independence and self-sufficiency; urban life, capitalism and technology destroy independence and dignity and promote vice and weakness; agricultural community with its collective labor and cooperation is an ideal social model; farmers have a strong, stable position in the universe, a sense of identity, a sense of historical and religious tradition, a sense of belonging to a particular family, place and region, which are favorable in the psychological and cultural perspectives; harmony of farmers' lives restrains encroachments of the fragmented, alienated contemporary society; farming "has positive spirituality", which allows the farmer to gain such virtues as "honor, courage, self-confidence, moral integrity and hospitality" — this is the result of the farmer's direct contact with nature and — through nature — of the closer relationship with God; farmers are blessed to follow the example of God in creating order out of chaos [44. P. 12–13].

In Europe, F. Quesnay was an ideological Confucian supporting the Chinese agrarianism and working hard on the theoretical basis of agrarianism in the Age of Enlightenment [80]. In the United States, the development of agrarianism is associated with the first president, T. Jefferson: he argued that it was farmers who were real citizens, sincerely devoted to the republic, and that farmers' republicanism restrained landed aristocracy and urban corruption, forming a true national virtue [32. P. 56–57]. In the second half of the 19th century, Germany became the leader of agrarianism, and then countries of Central and Eastern Europe. In Germany, ideology of agrarianism was typical not only for *Bauers* (peasants), but also for political associations of the Prussian *Junkers* (landowners). European agrarianism declared that land and rural labor were the basis of the economy and society, while urban life, alienated from nature, wasted physical and mental health, i.e., agriculture was the true source of progress.

Critics of agrarianism insisted that it reflected the delayed modernization in agriculture: the feverish struggle for access to the market formed the ideological system of agrarianism in countries with the developing capitalist relations, especially in Eastern and Central Europe. In the poorly industrialized agrarian countries, rural movements and their agrarian ideologies strived to preserve the rural family economy and traditional village communities. In the first third of the 20th century, agrarianism affected deeply the intellectual-cultural life of peasant societies in the Eastern-European region and became a part of its national identity. After the World War I, many agrarian ideologists sought to promote agrarianism as a social alternative to both liberalism and socialism [65]. Agrarianism flourished between the two world wars — when many influential parties and peasant movements played the key role in national governments. Some peasant parties in Europe suggested to create an international peasant political union — by the mid-1920s 16 agrarian parties (Bulgaria, Croatia, Lithuania, Netherlands, Austria, Poland, Romania,

Switzerland, Serbia, Hungary, etc.) united into the so-called Green International with the headquarters in Prague, since Czechoslovakia was the theoretical-organizational leader of European agrarianism [5]. In the USSR, the Bolsheviks also decided to play the revolutionary card of leftist agrarianism and created in 1923 an international alliance of leftist peasant movements and parties — Peasants' International, or *Krestintern* ('brother' of the Third Workers' International, *Comintern*) — to exert the communist political influence on the peasantry of Eastern and Central Europe, Asia and Latin America.

Unfortunately, there were many contradictions between left and right agrarianists. For instance, activities of the 'red' Peasants' International were criticized by liberal conservatives from the Green International. The *Krestintern* was accused of being pro-communist and pro-Bolshevik, of striving to make advances to the peasantry for the sake of the world proletarian revolution. Ideologists of the *Krestintern* accused the Green International of betrayal and named it a '*kulaks*' international' acting in selfish, conciliatory interests of the bourgeoisie. In some countries of Eastern Europe, liberal-democratic agrarianists came to power (Czechoslovakia), while in other countries — authoritarian agrarianists (Bulgaria, Poland and the Baltic states).

In Eastern Europe, the struggle for universal suffrage was to ensure the political mobilization of the peasants in the interests of land reforms, which led to the integration of the rural population into nation-states and to the democratization of public life in the 1920s. At the same time, agrarianism showed a powerful conservative potential — not only of anti-capitalism and anti-communism, but also of nationalism and anti-Semitism. Under the crisis of the Great Depression in the early 1930s, political agrarianism moved significantly to the right, often becoming the ideological support of authoritarian and fascist regimes in Europe and Asia [69]. In the USSR, the period of forced collectivization coincided with the refusal to cooperate with the international peasant movement — the *Krestintern* was abolished, and supporters of agrarianism in Soviet Russia were repressed for political reasons.

Although the term 'agrarianism' did not become popular in Russia, its ideas influenced certain theoretical concepts of populists and neo-populists in the early 20th century. In Russia, specialization and concentration of production in agriculture were slow compared to industry. In tsarist Russia, rural life and work were determined primarily by peasant households with their small-scale and largely subsistence economy. Peasants often kept strip farming in the traditional primitive way, and their worldview remained extremely conservative. In general, the peasant economy did not correspond to the ideas of the modern rational economy, and the peasantry was endlessly reproached for eternal rural backwardness [52; 62]. Therefore, the idea that agrarian modernization implies a radical transformation of peasant agriculture was often a commonplace in liberal and socialist 'solutions' of the peasant question.

Certainly, supporters of agrarianism did not dispute the obvious backwardness of the peasantry, but they believed that the social-economic progress would provide unprecedented means for the sustainable development of the peasant economy. Agrarianists were skeptical about the popular opposition of the progressiveness of large farms to the inefficiency of small farms, arguing that the sustainable agrarian growth could be based on the peasant way of life. Moreover, agrarianists believed that the peasantry could take the path of progressive evolution almost spontaneously [56. P. 6]. Critics and supporters of the theory of agrarian modernization skeptically defined the scientific interest to the peasant economy as an ideological rejection of the modernization of rural life. When in 1924 Chayanov, the leader of the Russian agrarianism, published a collection of selected articles on the development of agriculture, the agrarian Marxist L.N. Kritsman criticized him for developing “political economy of the pre-capitalist small economy and what is more of the antediluvian small economy with stagnant technology, i.e., an economy at the mercy of the forces of nature” [9. P. 5]. By the way, criticism of the Russian agrarianism resumed after the discovery of Chayanov’s legacy in the 1960s — 1970s: his model of the peasant economy was declared a kind of shelter for underdeveloped, crisis forms of the traditional economy [27; 55; 74].

However, in the early 20th century, Russian agrarianists did not seek to “protect the idealized peasant world from rationalized modernity” [101. P. 278]. The fact that they studied the peasant economy did not mean that they wanted to combine agrarian conservatism, nationalism and cultural phobia in a new agrarian myth to preserve the glorious rural past [6]. Their interest in peasant models of agricultural development was determined mainly by the search for contemporary rural alternatives to the excesses of industrialization and urbanization. In the era, when social-economic progress was associated primarily with the expansion of industrial production and the declining role of agriculture, Chayanov’s school worked on an interdisciplinary development program for peasant Russia and did not accept the subordinate development of agricultural sector as a prerequisite for urban modernity; on the contrary, agricultural development (rural modernization) was declared the cornerstone of social development/modernization.

Thus, the concept of the Russian peasant modernization was a version of agrarianism as a set of political-philosophical ideas about the priority of the rural way of life as culturally and technologically not inferior to the urban way of life. Agrarianism consists of a wide range of programs suggested by politicians, scientists, groups of intellectual elites, peasant communities, cooperators and writers from different countries as a critical response to industrialization. All agrarianists wanted to find an alternative to the one-sided urban modernization in which they saw a source of social problems (spontaneous growth of the disenfranchised, aggressive proletariat, domination of monopolies, alienation of man from nature, mental illness from stresses of the urban lifestyle, political conflicts, religious and environmental crises, etc.) [61]. Agrarianism has never been a unified philosophical approach —

rather an eclectic ‘pragmatic ideology’ [25. P. 19] as if between two ideological poles — rural idealism (conservative ‘village’ romanticism with myths of glorious but perishing rural traditions) and ideas of pragmatic agrarian modernization (regional models of rural family households, powerful peasant cooperatives, peasant parties defending ideology of agrarianism in the political struggle, latest agricultural technologies, etc.) [84].

Russian agrarianists from Chayanov’s circle developed alternatives for rural modernization but also supported legends of rural antiquity. For instance, Chayanov wanted the peasants to understand the electrical nature of thunderclouds and lightning but respected their faith in Elijah the Prophet with thunders on his heavenly chariot. Russian agrarianists respected peasants as equal, not backward members of society and emphasized their role in the rural-urban modernization of Russia. Moreover, agrarianism political-economic programs aimed at achieving democracy and economic growth without concentrating the means of production in the hands of the narrow circle of those in power [91. P. 18]. Russian agrarianism sought to combine agrarian modernization with the democratic political transformation, which would overcome the tsarist and then the Bolshevik legacy of authoritarianism (peasants as eternal political marginals under the central government’s control). Agrarianists called to the preservation and development of peasant households united by various forms of cooperation and territorial local self-government — as a foundation of the national political-economic system [16; 91].

In general, agrarianism ideas of rural modernization were formed at the turn of the 19th — 20th centuries, when the Russian *zemstvo* statistics was creatively combined with the political-economic works, primarily of the German historical school [2; 51; 87]. At that time, populist convictions of most *zemstvo* statisticians determined their interest in solving social problems, which, according to German scientists, would lead to the recognition of the peasant population of the Russian Empire as the main economic and creative power of the country [20; 48]. Therefore, agronomy, whose representatives — agronomists — were mainly engaged in the natural-scientific and technical fields of agriculture, began to define agronomy as a social science contributing to the development of the organized, political peasant movement, i.e., agricultural statistics and agricultural economics became academic disciplines [34. P. 74]. In the 1910s, the idea that the scientific study of rural life should consider social-cultural conditions of the peasant economy became widespread, and A.F. Fortunatov declared “the equality of natural science and social science as two foundations of agronomy” [35. P. 11]. However, political economy began to change too, and its representatives became interested in agriculture — not only in land relations, but also in small rural credit, demography of the rural population, etc. [28–30; 58].

Thus, in the early 20th century, *zemstvo* statisticians and agrarian economists developed a systematized concept of the peasant family economy, the pinnacle of which was Chayanov’s theory [13]. Chayanov’s school argued that the research

tools of classical political economy were ineffective in the study of peasant economy, since peasant rationality implied special economic psychology: the capitalist agricultural enterprise was guided by profit maximization, while peasant households were guided by optimization of the labor-consuming balance. Therefore, agrarianists of Chayanov's school are often called supporters of the labor-consuming peasant balance. However, they argued that, despite the initial focus of the peasant household on family consumption, its further development did not necessarily contradict agricultural progress as the level of agricultural production depended on the peasants' estimates of their needs for a satisfactory rural life. In other words, the level of peasant consumption is dynamic and depends on the development of culture in the broadest sense of the word [18. P. 164]. Most Russian agrarianists did not believe in stagnation in the peasant-economy development, since the growth of the market exchange led to the new peasant consumption standards and to a corresponding increase in labor efforts based on new skills.

This version of agrarianism reflected a fundamental change in the perception of the peasantry by the educated society. In the 19th century, Russian elites considered the peasantry as a kind of cultural anti-world and an antipode of civilization — either in the positive (populism) or negative (liberalism, Marxism) perspective; now the peasantry was recognized as the most important force in the developing social system. In the early 20th century, the fierce ideological battles between Marxists and populists determined the development of agrarianism which strived to combine the key features of these two ideologies [36. P. 46–47]. On the one hand, agrarianism accepted the Marxist identification of capitalism with wage labor; on the other hand, rethought the concept 'labor' in the populist sense. By combining Marxist and populist ideas, agrarianism offered an ideal model of the peasantry — as a social stratum cultivating its land with its labor and indifferent to the delights of the capitalist surplus value.

The fact that agrarianists as theoreticians of the peasant economy were often perceived as romantic apologists for the decaying peasant conservatism is largely due to the semantic misunderstanding. The agrarianism thesis about a special peasant, 'non-capitalist' strategy was determined by the negative interpretation of capitalism by the educated society, i.e., agrarianists considered the peasantry (mainly family households with a small share of wage labor) as an ideal of the non-capitalist, efficient and fair economic system [93. P. 169]. The critical objection that the peasants were increasingly correlating their economic motivation with the demands of the expanding market hardly bothered agrarianists, since they made fundamental distinctions between the market and capitalist economies and considered the market guidelines for the peasants to be quite progressive (and not contradicting the 'non-capitalist' nature of the peasant economy). In other words, as long as the peasants did not exploit the wage labor, their economic activity was not defined by agrarianism as a part of the capitalist production of surplus value. Chayanov's model of the family peasant economy provided this idea with

a complete form by translating intellectual sympathies for the ‘working people’ into the political-economic terms.

Unlike some countries of Eastern and Central Europe [45], in Russia agrarianism did not take shape of the peasant party; however, many prominent representatives of the Russian scientific agrarianism were activists in rural social movements (peasant cooperation and *zemstvo* self-government) and implemented peasant ideals of social modernization. Unlike agrarian experts in the Russian state apparatus with their bureaucratic management of rural life [42], economists and statisticians of the Chayanov school implemented modernization projects with non-state organizations [73]. With the outbreak of the World War I, the activity and influence of agrarianists increased since the tasks of food supply were assigned to *zemstvos* and cooperatives [31; 37; 39; 77]: agrarianists managed to formalize and strengthen their institutional status; between the February and October Revolutions, they took an active part in politics, in particular, in the Council of All-Russian Cooperative Congresses and the League of Agrarian Reforms [23; 50; 54]; many agrarianists took important positions in the central departments of the Provisional Government which promised agrarian reforms in peasants’ interests. But agrarianists lacked political experience and decisiveness: when given the opportunity to resolve the agrarian question in accordance with their ideological principles, they gave up reformist-revolutionary actions in favor of discussions about the scientific criteria of the democratic agrarian policy. Repressive restrictions and the Civil War disrupted the activities of agrarianism, and after nationalization of cooperative organizations, rural societies and associations agrarianism as a social-political social movement ceased to exist [22. P. 2], although many prominent agrarianists took expert positions in the Bolshevik institutions and played an important role in the implementation of the New Economic Policy, especially at its initial stage [40; 41; 98].

The fate of the theory of *rural-urban continuum* is different. This theory states that there are not only fundamental differences between rural and urban communities, but also a spatially extended rural-urban scale of community types differing by size, population density, division of labor, isolation, local solidarity and alienation, temporality of social events. The term ‘rural-urban continuum’ was introduced by P.A. Sorokin and C. Zimmerman in the 1920s and later was developed as an antithesis of a discrete-dichotomous approach to the city and the village [96]. The sharp rural-urban confrontation was recognized in the second half of the 19th century [38]: since that time, there have been numerous attempts to find a consensus between the city and the countryside — both utopian and scientific. In England, the most advanced in urbanization a century and a half ago, the first models of rural-urban continuum were developed [63]. For instance, to slow down the spontaneous urbanization, E. Howard proposed the model of ‘three magnets’ [43]: cities attract by prospects, but they are cramped, dirty and unsafe; in the village, there are almost no such dangers, but few resources and entertainment; we need a ‘city-village’, a garden city that combines ‘magnetic’ attractions of urban and rural life.

Today, the rural-urban continuum is usually “defined by contradiction: as a rejection of the polarity of the city and the village, of their sharp territorial and social division. These two ‘sections’ complement each other as continual and discrete constructions. Typology can imply a conditional continuum, while its objects remain spatially discrete... This should generally result in the recognition of the plurality of rural-urban continuums that differ in spatial and population scales, structure and nature of connections. The fate of the idea... varied by discipline. When sociologists and culturologists were passionate about the rural-urban continuum, they compared it with the communal *Gemeinschaft* and the public *Gesellschaft* (according to F. Tönnies), cohesion, stratification, modernity and tradition, lifestyle, vertical and horizontal mobility... In the middle of the 20th century, the idea was already criticized” [96. P. 54]. In the first half of the 20th century, this idea was extremely popular: for instance, Chayanov made it the basis of his peasant utopia, and his Institute of Agricultural Economics used the method of geographical profiles to explore the phenomenology of the rural-urban continuum in the Moscow region : “in the theoretical perspective, Moscow’s influence is of the utmost interest, since our city, for random or non-random reasons, is located at the junction of three natural-historical regions... Accordingly, in the natural-historical perspective, the Moscow region could not represent any unified system, and only the huge industrial city in the center and its enormous economic influence overcome the natural-historical conditions and turn the entire central-industrial region into a definite and compact whole. Nowhere else one can so perfectly understand the force of the urban economic influence on the structure of agriculture...” [10. P. 10].

Chayanov made this conclusion after field studies in Moscow’s rural suburbs. At first, he tested some elements of Thünen’s model — by assessing the influence of the Moscow economic region on the structure of rural areas located at different distances from Moscow. Economic profiles were identified by the railway directions: for each *verst*, Chayanov calculated the fall in prices and the changes it caused in the organization of agriculture and rural areas, i.e., these macro-profiles showed the dynamics of the influence of the huge Moscow market on the structure of rural areas near Moscow. Chayanov supplemented this research with the utopian modeling of the rural-urban development. *The Journey of My Brother Alexei to the Land of Peasant Utopia* [16] presents a radical rural-urban continuum in the peasant Russia of the future: cities decreased in size, and the planned deurbanization made the countryside densely and extensively populated. Chayanov developed the idea of the rural-urban continuum in the agrarianism perspective: the main thing for the sustainable rural-urban continuum is a flourishing rural-urban culture based on the best examples of national and world architecture, literature, music and painting; and Moscow is the most important metropolitan social hub capable of absorbing several million inhabitants due to the developed tertiary sector. This utopian rural-urban continuum becomes a vegetative system of the national multi-structural economy as a combination of the powerful peasant-cooperative way of life with public sector

that controls natural resources and capitalist entrepreneurship as a source of private economic initiative.

In the early 21st century, post-socialist capitalist reforms of the countryside again raised the question of the structure of the rural economy as a heterogeneity of organizational and social-economic forms. Today in rural sociology, seasonal works (non-agricultural employment of the rural population) are interpreted as one of the key trends in rural development. Just like the studies of the early 20th century moved from ‘economy’ as an isolated unit devoid of the social-communal qualities to the ‘elements of the peasant community’, contemporary rural sociology increasingly focuses on the community, i.e., issues of social capital and social norms as determining rural daily practices. Despite the seeming disappearance of the objective basis for the reproduction of the traditional peasant model, rural studies show preservation, re-institutionalization and revival of the traditional elements of the rural social organization in the course of the rural population adaptation to the post-reform changes. In other words, the continuum model of rural ‘objects’ remains extremely important for understanding social development of contemporary rural areas, and some Chayanov’s ideas are added to this model in the projects of cultural industries. The ideas of the theory of peasant economy and cooperation have become an integral part of the still reproducing large-scale ideological programs for creating an agrarian society based on a harmonious combination of peasant family economies, cooperatives and local self-government — as a foundation of a multi-structural rural-urban Russian economy.

Funding

The article was prepared in the framework of a research grant funded by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (grant ID: 075-15-2022-326).

Note

- (1) Our review of agrarianism is based on the ideas and findings of K. Bruisch presented in: *Als das Dorf noch zukunft war: Agrarismus und Expertise zwischen Zarenreich und Sowjetunion*. Köln; 2014; Expertise and the quest for rural modernization in the Russian Empire and the Soviet Union: Introduction. *Cahiers du Monde Russe*. 2016; 57 (1); co-authored with M. Kopsidis, D.W. Bromley. Where is the backward Russian peasant? Evidence against the superiority of private farming, 1883–1913. *Journal of Peasant Studies*. 2015; 42 (2).

References

1. *Aereboe F. Fundamentals of Agricultural Economics*. Saint Petersburg; 1912. (In Russ.).
2. Barnett V. Historical political economy in Russia, 1870–1913. *European Journal of the History of Economic Thought*. 2004; 11 (2).
3. Bernstein H. V.I. Lenin and A.V. Chayanov: Looking back, looking forward. *Journal of Peasant Studies*. 2009; 36 (1).
4. Bilimovich A.D. *Cooperation in Russia Before, During and After the Bolsheviks*. Moscow; 2005. (In Russ.).

5. Borrás S.M., Edelman M., Kay C. Transnational agrarian movements: Origins and politics, campaigns and impact. *Journal of Agrarian Change*. 2008; 8 (2–3).
6. Brass T. *Peasants, Populism and Postmodernism. The Return of the Agrarian Myth*. London; 2000.
7. Brinkman T. *Economics of the Farm Business*. Moscow; 1926. (In Russ.).
8. Chayanov A.V. Basic ideas and forms of agricultural cooperation. *Selected Works*. Moscow; 1992. (In Russ.).
9. Chayanov A.V. *Essays on the Theory of Labor Economy*. Moscow; 1924. (In Russ.).
10. Chayanov A.V. Foreword. Goretsky G.I., Malyshev S.M., Rybnikov A.A. Moscow's Economic Influence on the Regional Organization of Agriculture. Moscow–Leningrad; 1927. (In Russ.).
11. Chayanov A.V. On the theory of non-capitalist systems of economy. *Peasant Economy. Selected Works*. Moscow; 1989. (In Russ.).
12. Chayanov A.V. Organization of the peasant economy. *Peasant Economy: Selected Works*. Moscow; 1989. (In Russ.).
13. Chayanov A.V. *Organization of the Peasant Economy*. Ekaterinburg; 2015. (In Russ.).
14. Chayanov A.V. Possible future of agriculture. *Economic Legacy of A.V. Chayanov*. Moscow; 2006. (In Russ.).
15. Chayanov A.V. Should the *zemstvo* agronomist work in cooperatives? *Cooperative Life*. 1915; 1. (In Russ.).
16. Chayanov A.V. The journey of my brother Alexei to the land of peasant utopia. *Venetian Mirror*. Moscow; 1990. (In Russ.).
17. Chayanov A.V. *What is the Agrarian Question?* Moscow; 1917. (In Russ.).
18. Chelintsev A.N. *Theoretical Basis of Peasant Economy*. Kharkov, 1918. (In Russ.).
19. Cloke P., Marsden T., Mooney P. *Handbook of Rural Studies*. Sage; 2006.
20. Darrow D.W. From commune to household: Statistics and the social construction of Chaianov's theory of peasant economy. *Comparative Studies in Society and History*. 2001; 43 (4).
21. Davydenko V.A., Andrianova E.V., Khudyakova M.V. Contemporary global contexts of rural sociology in the realities of the Russian rural life. *Bulletin of the Tyumen State University. Social-Economic and Legal Studies*. 2020; 6 (3). (In Russ.).
22. Decree of the Council of People's Commissars on the unification of all types of cooperative organizations. *Cooperative Life*. 1920; 1-2. (In Russ.).
23. Departments of the Council of All-Russian Cooperative Congresses. *Proceedings of the Council of All-Russian Cooperative Congresses*. 1917; 1. (In Russ.).
24. Dewey R. The rural-urban continuum: Real but relatively unimportant. *American Journal of Sociology*. 1960; 66 (1).
25. Eellend J. *Cultivating the Rural Citizen. Modernity, Agrarianism and Citizenship in Late Tsarist Estonia*. Stockholm; 2007.
26. Ely C. *Russian Populism: A History*. Bloomsbury; 2022.
27. Ennew J., Hirst P., Tribe K. 'Peasantry' as an economic category. *Journal of Peasant Studies*. 1976–1977; 4.
28. *Essays on the Peasant Question*. Vol. 1. Moscow; 1904. (In Russ.).
29. *Essays on the Peasant Question*. Vol. 2. Moscow; 1905. (In Russ.).
30. Bulgakov S.N. *Capitalism and Farming*. Saint Petersburg; 1900. Vol. 1–2. (In Russ.).
31. Fallows T. Politics and war effort in Russia. The Union of *zemstvos* and the organization of the food supply, 1914–1916. *Slavic Review*. 1978; 37 (1).
32. Ferling J. *A Leap in the Dark: The Struggle to Create the American Republic*. Oxford University Press; 2003.
33. Fischer H.W., Chatre A., Devalkar S., Sohoni M. Rural institutions, social networks, and self-organized. *Environmental Research Letters*. 2021; 16 (10).
34. *Flagship of the Agrarian-Economic Education*. Moscow; 2002. (In Russ.).
35. Fortunatov A.F. *Agriculture and Agronomy*. Moscow; 1903. (In Russ.).

36. Gerasimov I. *Modernism and Public Reform in Late Imperial Russia. Rural Professionals and Self-Organization 1905–1930*. London; 2009.
37. Gleason W.E. The All-Russian Union of Towns and the politics of urban reform in tsarist Russia. *Russian Review*. 1976; 35 (3). (In Russ.).
38. Gornova G.V. *Antinomies of the City*. Omsk; 2011. (In Russ.).
39. Gronsky P.P., Astrov N.J. *The War and the Russian Government*. New Haven; 1929.
40. Heinzen J.W. Alien personnel in the Soviet state. The People's Commissariat of Agriculture under proletarian dictatorship, 1918–1929. *Slavic Review*. 1997; 56 (1).
41. Heinzen J.W. *Inventing a Soviet Countryside. State Power and the Transformation of Rural Russia, 1917–1929*. Pittsburgh; 2004.
42. Holquist P. “In accord with state interests and the people’s wishes”. The technocratic ideology of Imperial Russia’s resettlement administration. *Slavic Review*. 2010; 69 (1).
43. Howard E. *Garden Cities of Tomorrow*. London; 1902.
44. Inge M.T. *Agrarianism in American Literature*. New York; 1969.
45. Ionescu G. Eastern Europe. *Populism. Its Meanings and National Characteristics*. London; 1969.
46. *Issues of the Systematic Study of the Village*. Novosibirsk; 1975. (In Russ.).
47. Jaffe J., Gertler M. Rural sociology. *The Cambridge Handbook of Sociology*. Cambridge; 2017.
48. Johnston R.E. Liberal professionals and professional liberals. The *zemstvo* statisticians and their work. T. Emmons, W.S. Vucinich (Eds.). *The Zemstvo in Russia. An Experiment in Local Self-Government*. Cambridge; 1982.
49. Kerans D. *Mind and Labor on the Farm in Black-Earth Russia, 1861–1914*. Budapest; 2001.
50. Khitrina N.E. *Agrarian Policy of the Provisional Government in 1917*. Nizhny Novgorod; 2003. (In Russ.).
51. Kingston-Mann E. *In Search of the True West. Culture, Economics, and Problems of Russian Development*. Princeton; 1999.
52. Kotsonis Ya. *How the Peasants Were Made Backward. Agricultural Cooperatives and the Agrarian Question in Russia 1861–1914*. Moscow; 2006. (In Russ.).
53. Kuznetsov I.A. *Essays on the History of Agricultural Economics in Russia: 19th — early 20th Century*. Moscow; 2018. (In Russ.).
54. *League of Agrarian Reforms. Land Reform Authorities. Land Committees and the League of Agrarian Reforms*. Moscow; 1917. (In Russ.).
55. Littlejohn G. Peasant economy and society. *Sociological Theories of the Economy*. London; 1977.
56. Makarov N.P. *Peasant Economy and Its Evolution*. Moscow; 1920. Vol. 1. (In Russ.).
57. Makhrova A.G., Nefedova T.G., Treivish A.I. Polarization of the Central-Russian megalopolis’s space and population mobility. *Bulletin of the Moscow University. Geography Series*. 2016; 5. (In Russ.).
58. Manuilov A.A. *Land Lease in Russia in Economic Terms*. Saint Petersburg; 1903. (In Russ.).
59. *Methodology and Techniques of the Systematic Study of the Soviet Village*. Novosibirsk; 1980. (In Russ.).
60. Miner H. The folk-urban continuum. *American Sociological Review*. 1952; 17.
61. Montmarquet J.A. Philosophical foundations for agrarianism. *Agriculture and Human Values*. 1985; 2.
62. Moon D. *The Russian Peasantry 1600–1930. The World the Peasants Made*. London; 1999.
63. Morris W. *Art and Life*. Moscow; 1973. (In Russ.).
64. Murray C. Social capital and cooperation in Central and Eastern Europe — a framework for research on governance. *Journal of Rural Cooperation*. 2008; 1.
65. Narykova N.M. Agrarian economics and rural society of foreign countries in the assessments of contemporaries (the first half of the 20th century). *Issues of History*. 2020; 6. (In Russ.).
66. Nefedova T.G. *Rural Russia at a Crossroads*. Moscow; 2003. (In Russ.).

67. Nefedova T.G. *Ten Actual Questions about Rural Russia: Answers of the Geographer*. Moscow; 2013. (In Russ.).
68. Nikulin A. James Scott and Alexander Chayanov: From the peasantry through revolutions, to the states, and anarchies. *Russian Sociological Review*. 2022; 21 (3). (In Russ.).
69. Nikulin A.M. Agrarian ideologies of fascism among alternatives of rural development in the 1920s–1930s. *ECO*. 2020; 6. (In Russ.).
70. Nikulin A.M. Analysis of Henry Ford’s projects of rural-urban development. *Spiritual-Moral Education*. 2022; 6. (In Russ.).
71. Nikulin, A., Trotsuk, I. Political and apolitical dimensions of Russian rural development: Populism “from above” and narodnik small deeds “from below”. *Politics and Policies of Rural Authenticity*. P. Pospěch, E.M. Fuglestad, E. Figueiredo (Eds.). Routledge; 2022.
72. Oganovsky N. How the peasants should discuss the land question. *News of the Main Land Committee*. 1917; 4–5. (In Russ.).
73. Osamu I. (Ed.). *Transformation and Diversification of Rural Societies in Eastern Europe and Russia*. Hokkaido; 2002.
74. Patnaik U. Neo-populism and Marxism. The Chayanovian view of the agrarian question and its fundamental fallacy. *Journal of Peasant Studies*. 1979; 6.
75. *Peasants’ Voices: Rural Russia of the 20th Century in Peasants’ Memoirs*. Moscow; 1996. (In Russ.).
76. *Politburo and the Labor Peasant Party*. Moscow; 2021. (In Russ.).
77. Proceedings of the I All-Russian Agricultural Congress. Vol. 1. Kiev; 1913. (In Russ.).
78. Proceedings of the I All-Russian Congress of Workers of Small Credit and Agricultural Cooperation. Saint Petersburg; 1912. (In Russ.).
79. Proceedings of the Moscow Regional Congress of Agronomic Assistance. Moscow; 1911. (In Russ.).
80. Quesnay F. *Selected Economic works*. Moscow; 1960. (In Russ.).
81. Report of the Moscow People’s University named after A.L. Shanyavsky for the 1910–1911 academic year. Moscow; 1911. (In Russ.).
82. Ryvkina R. Sociology of the village. *Sociology in Russia*. Moscow; 1998. (In Russ.).
83. Samsonov V.V. Similar trends in Russia’s rural development in the early 20th and 21st centuries and their reflection in the Russian rural sociology. *Science. Art. Culture*. 2018; 3. (In Russ.).
84. Schultz H. Einleitung. Proteus Agrarismus. *Bauerngesellschaften auf dem Weg in die Moderne. Agrarismus in Ostmitteleuropa 1880 bis 1960*. Wiesbaden; 2010.
85. Shanin T. (Ed.) *Late Marx and the Russian Road: Marx and the “Peripheries of Capitalism”*. New York; 1983.
86. Shanin T. *Defining Peasants: Essays Concerning Rural Societies, Expolary Economies, and Learning from Them in the Contemporary World*. Blackwell; 1990.
87. Sheptun A. The German historical school and Russian economic thought. *Journal of Economic Studies*. 2005; 32 (4).
88. Sobolev A., Kurakin A., Pakhomov V., Trotsuk I. Cooperation in rural Russia: Past, present and future. *Universe of Russia: Sociology, Ethnology*. 2018; 27 (1).
89. *Social-Demographic Development of the Village*. Moscow; 1986. (In Russ.).
90. Sorokin P., Zimmerman C.C., Galpin C.J. *A Systematic Source Book in Rural Sociology*. University of Minnesota Press; 1930. Vol. 1.
91. Sorokin P.A. *Ideology of Agrarianism*. Prague; 1924.
92. Sorokin P.A., Zimmerman C.C. *Principles of Rural-Urban Sociology*. New York; 1929.
93. Stanziani A. Russian economists abroad in 1880–1914. Ideas about the market and the circulation of ideas. Scherrer Yu., Ananyich B. (Eds.). *Russian Emigration Before 1917. Laboratory of the Liberal-Revolutionary Thought*. Saint Petersburg; 1997.
94. Thaer A.D. *The Principles of Rational Agriculture*. Moscow; 1832. Vol. 2. (In Russ.).

95. Thünen von J.H. *The Isolated State. Moscow; 1926. (In Russ.)*.
96. Treivish A.I. Rural-urban continuum: The fate of representation and its connection with the spatial mobility of the population. *Demographic Review*. 2016; 3 (1). (In Russ.).
97. Valentinov V. Toward a social capital theory of co-operative organization. *Journal of Cooperative Studies*. 2004; 37 (3).
98. Wehner M. *Bauernpolitik im proletarischen Staat. Die Bauernfrage als zentrales Problem der sowjetischen Innenpolitik 1921–1928*. Köln; 1998.
99. Yakovlev S.I. The concept of rural-urban continuum: New methods for assessing settlement. *Bulletin of the Tver State University. Geography and Geoecology Series*. 2021; 3. (In Russ.).
100. Zimmerman C.C. *Sociological Theories of Pitirim A. Sorokin*. New York; 1974.
101. Zweynert J. Zur russischen Thünen-Rezeption. *Johann Heinrich von Thünen (1783–1850). Thünensches Gedankengut in Theorie und Praxis*. Münster; 2002.

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-468-484

EDN: WWNFKX

Два с половиной незаслуженно забытых концептуальных основания сельской социологии*

Никулин А.М.^{1,2}, И.В. Троцук^{1,3,4}

¹Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
просп. Вернадского, 82, Москва, 119571, Россия

²Московская высшая школа социальных и экономических наук,
Газетный пер., 3–5, стр. 1, Москва, 125009, Россия

³Российский университет дружбы народов,
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198, Россия

⁴Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
ул. Мясницкая, 20, Москва, 101000, Россия

(e-mail: harmina@yandex.ru; irina.trotsuk@yandex.ru)

Аннотация. Хотя российское общество и сегодня тесно связано с «деревенским образом жизни», аграрные вопросы всегда имели несколько маргинальный статус в научной традиции, особенно в ее обществоведческом разделе. Сегодня ситуация меняется под влиянием как минимум двух глобальных насущных задач — обеспечение устойчивых показателей продовольственной безопасности (сельскохозяйственное производство) и сохранение и развитие сельского социального/человеческого капитала, и обе задачи объясняют все возрастающий теоретический и практический интерес к познавательному и реформаторскому потенциалу сельско-социологических исследований. К общепризнанным причинам «маргинальности» сельской социологии авторы добавляют то обстоятельство, что не все ее значимые концептуальные основания, особенно в отечественной традиции, были должным образом определены и систематизированы. В качестве таковых в статье обозначены: наука сельскохозяйственная экономия, теории крестьянского аграризма и, отчасти, концепция сельско-городского континуума (позабытая в своей сельской половине, но широко применяемая для объяснения субурбанизационных тенденций). В первой части статьи авторы реконструируют исторический

*© Никулин А.М., Троцук И.В., 2023

Статья поступила в редакцию 15.03.2023 г. Статья принята к публикации 15.06.2023 г.

путь сельскохозяйственной экономики, подчеркивая ее творческую адаптацию к особенностям российской сельской жизни. На рубеже 1920-х — 1930-х годов ее политико-идеологический кризис обусловил вытеснение ее исходных немецких экономико-философских аграрных идей американским сельскохозяйственным прагматизмом и прикладным управлением сельскохозяйственными предприятиями. Во второй части статьи авторы суммируют, с одной стороны, утопические, политико-экономические и народнические идеи европейского и российского аграризма, с другой стороны, причины его справедливой критики, не всегда сосредоточенной на утопизме (скорее на эклектичной идеологии, противоречиях правых и левых аграристов, негативном консервативном потенциале, отсутствии политического опыта и решительности, и т.д.). В третьей части статьи авторы реконструируют более успешный жизненный путь теории село-городского континуума как подчеркивающей не столько фундаментальные различия города и деревни, сколько пространственную протяженность «шкалы» село-городских сообществ, различающихся размером, плотностью населения, разделением труда, изолированностью, локальной солидарностью и т.д. Модель континуума остается предельно важной для изучения сельских сообществ и должна быть дополнена элементами теории крестьянского хозяйства и кооперации — чтобы всесторонне изучать сельский социальный/человеческий капитал.

Ключевые слова: сельская социология; социальный/человеческий капитал; сельскохозяйственная экономика; теории крестьянского аграризма; теория село-городского континуума; сельские и городские сообщества; сельские территории; сельскохозяйственное производство; сельский и городской образ жизни; теория крестьянского хозяйства и кооперации

Информация о финансировании

Статья подготовлена в рамках гранта, предоставленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (№ соглашения о предоставлении гранта: 075-15-2022-326).



DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-485-502

EDN: YVRORT

Социология тела как самостоятельное исследовательское направление: предпосылки становления и предметное поле*

Д.А. Старостина

Российский университет дружбы народов,
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198, Россия

(e-mail: dasha-sta@yandex.ru)

Аннотация. В современном обществе под влиянием процессов глобализации, цифровизации, урбанизации и сетевизации тело обретает новые смыслы, включается в новые дискурсы и становится значимым объектом социологии. В статье рассматриваются возможности выделения социологии тела в самостоятельное научное направление наряду с такими направлениями, как социология медицины, социология сексуальности, феминистская социология, социология спорта, социология еды и питания, социология старости и старения и т.д. Проблематика тела имеет долгую традицию научного исследования, и в статье рассмотрены предпосылки оформления социологии тела в рамках разных областей социального знания: философии, антропологии, психологии и собственно социологии. Выделены четыре базовых исследовательских течения в социологии тела: тело как объект социального контроля; проблематика пола и гендера; тело как объект потребления; тело и технологии — развитие биотехнологий и технологий селф-трекинга. Обозначенные тематические блоки социологии тела не изолированы от смежных направлений — социологии медицины, социологии сексуальности, феминистской социологии и др.; между направлениями, работающими с телом в социологии, прослеживаются заимствования и взаимообогащение, тем не менее, каждое, включая социологию тела, имеет свою предметную специфику. Предмет социологии тела — тело во всем многообразии его социальных проявлений; тело как компонент социальной структуры и социального действия; взаимовлияние тела и современных трансформационных процессов, таких как урбанизация, глобализация, цифровизация, сетевизация и т.д.; формирующиеся общественные движения, центральным звеном которых выступает тело — построение идентичности и индивидуального телесного проекта. Тело становится проектом, который можно/нужно улучшать и продвигать. «Формируемое» тело отражает такие жизненные установки личности, как чувство стиля и вкуса, отношение к здоровью, самоконтроль и т.д. Таким образом, через тело индивид выстраивает свою социальную репрезентацию и идентичность: собственный образ «Я».

Ключевые слова: тело, социология тела, контроль тела, телесные практики, телесный проект, потребляемое тело, гендер, биотехнологии, технологии селф-трекинга

*© Старостина Д.А., 2023

Статья поступила 21.03.2023 г. Статья принята к публикации 15.06.2023 г.

Трансформация общества под влиянием процессов глобализации, цифровизации, урбанизации и сетевизации внедряет наше тело в новые контексты и системы отношений — формируется множество дискурсов, в которых тело становится ключевым компонентом. Развитие общества потребления, информационных технологий, создание общественных движений, связанных с гендером или принятием тела, появление новых видов телесных практик и восприятие тела как проекта указывает на расширение роли и значения тела в современной жизни. В результате тело становится значимым объектом социологии, что подтверждается все возрастающим числом исследований и публикаций по проблематике социологии, и ряд ученых сделали вывод о таком новом феномене, как «телесный поворот» [47. С. 1] (*corporeal turn*) в социологии.

Однако проблематика тела имеет долгую традицию научного изучения в рамках самых разных областей познания: философии, антропологии, психологии и социологии. Так, в философской мысли понятие телесности оформляется еще в древности, где сводилось в основном к дуальности «тело-дух», например, в трудах Платона и Аристотеля, Ибн Сины и Аль Фараби [2]. Свою масштабную философскую разработку категория телесности получила в творчестве представителя экзистенциальной феноменологии М. Мерло-Понти, в частности в его работе «Феноменология восприятия» [16]. В ее основе лежит критика классического положения о разделении сознания — тела, духовности — телесности и создание феноменологии, которая смогла бы преодолеть это противостояние. Экзистенциальность подхода Мерло-Понти отражается в том, что единение тела и души для него носит метафизический характер, и для анализа телесности он вводит понятие «телесная схема». Она содержит в себе такие элементы, как поза, движение и сенсомоторные изменения, исследуемые не в отдельности, сами по себе, а с учетом их взаимосвязи и взаимовлияния. «Телесная схема» осуществляет работу с сознанием, структурируя его, но эта работа не находит прямого отражения в ее содержании. Для придания «телесной схеме» ценностной наполненности, Мерло-Понти дополняет ее понятием телесного образа — системы восприятий, отношений и убеждений, принадлежащих телу [38. С. 234]. С помощью данных категорий Мерло-Понти показывает, что тело — это не просто существующий в пространстве физический субстрат: опосредованное сознанием, оно включает в себя чувства, ценности и способность восприятия и понимания информации.

Неоднократно в его книге встречается понятие действующего тела, включающее в себя «пассивность» и «анонимность» телесности [16. С. 122]. Под первой понимается отсутствие у «Я» возможности быть участником событий и контролировать их ход: действующее тело способно лишь фиксировать происходящие процессы, но не владеть ими в полной мере, что подтверждает невозможность человека всегда контролировать свои чувства, эмоции и мыс-

ли. «Анонимность» подразумевает отсутствие у «Я» возможности быть абсолютным инициатором происходящих в нем процессов, поскольку телесность никогда не индивидуализирует себя в полной мере как абсолютный центр. Мерло-Понти называет это состояние одновременно свободой и порабощенностью индивида. Тем не менее тело, в отличие от индивида, относительно постоянно как неотъемлемый атрибут существования, в то время как человек трансцендентен самому себе. Следовательно, именно тело становится базовой точкой отсчета в системе наших координат: «мое тело — это ось мира: я знаю, что у объектов много сторон, так как я бы мог обойти их кругом, в этом смысле я обладаю осознанием мира при посредстве моего тела» [16. С. 130]. Другой ключевой момент в концепции Мерло-Понти — четкое разграничение, казалось бы, близких понятий — «тело» и «плоть»: плоть фактически приравнивается к понятию материи, а тело представляет собой более высокий уровень организации плоти мира (она захватывает плоть тела, проникая в него и наполняя собой).

Таким образом, тело и телесность выполняют ряд важных функций, которые можно условно назвать: гносеологическая функция — благодаря телу сознание получает возможность интегрировать информацию об объектах окружающей действительности в целостную картину мира; функция поддержания — тело помогает в адаптационных процессах; развития — диапазон развития телесности позволяет человеку в нужной мере «резонировать» с миром и духовно совершенствоваться; соединения и разъединения — при жизни телесность соединяет душу и тело (идеальное и материальное), а в момент смерти, наоборот, осуществляет их разделение. Наличие телесности как реального феномена имеет важнейшее значение, так как показывает единство духовного и телесного, их синтез, и отказ от категории телесности в процессе познания приводит к отказу от чувственного опыта как такового.

Антропология включила тело в свою предметную область раньше многих других социально-гуманитарных дисциплин и с XIX века отводит ему важнейшую роль в своих исследованиях [27]. Дело в том, что в досовременных обществах (объект антропологии) тело выступает самым очевидным и наглядным способом демонстрации важных социальных идентификаторов — возраста, пола, племенной и религиозной принадлежности, главенства — посредством татуировок, шрамов и украшений [46]. Ключевые фигуры в антропологическом анализе телесности — Ф. Боас [4], М. Мосс [18], М. Мид [17], М. Дуглас [10] и др. Так, Мосс определяет техники тела как «традиционные способы, посредством которых люди в различных обществах пользуются своим телом» [16. С. 304]. Для него «тело есть первый и наиболее естественный инструмент человека. Или, если выразиться более точно и не говорить об инструменте, можно сказать, что первый и наиболее естественный технический объект и в то же время техническое средство человека — это его тело» [16. С. 311]. Техники тела связаны, прежде всего, с кон-

кретными обществами и культурами: формирование привычек, традиций, ценностей и усвоение опыта происходит на основе телесных техник — обрядов, танцев и даже простых повседневных движений. Изучая техники тела, Мосс настаивает на необходимости тройственного подхода — анализе социальных, биологических и психологических аспектов телесности — и вводит несколько классификаций техник тела. Первая классификация, или «первые четыре подхода к предмету», базируется на широком этнографическом материале из жизни европейских, восточных и «примитивных» обществ: гендерные особенности техник тела, изменчивость техник тела в зависимости от возраста, разделение техник по эффективности и передаче форм техник. Вторая классификация имеет эмпирический характер и более доступна для фактического наблюдения, поскольку в ней поэтапно отражена жизнь индивида: техники рождения и акушерства, техники детского периода, техники юности, техники зрелого возраста.

В целом из антропологической традиции изучения телесности социология заимствует следующие положения: признание как комплекса телесных ограничений (например, репродуктивные, связанные с генетическими ограничениями механизма наследственности у млекопитающих), так и скрытого потенциала тела, который может быть реализован в ходе социокультурного развития; противоречия между сексуальными влечениями человека и социокультурными требованиями; гендерные особенности переживания «естественных» фактов.

В психологии одним из первых тело в область своих исследований включил З. Фрейд. В конце первой четверти XX века он обосновал тесную взаимосвязь телесного опыта и образа «Я», отметив, что тело играет значимую роль в развитии эго-структур. Фрейд разработал генетическую теорию (развитие — это процесс изменения локализации либидо) на основе категории телесного переживания и сделал телесность важным аспектом в психиатрии, например, для обнаружения симптомов конверсионной истерии в психопатологии. А. Адлер проследил взаимовлияние телесного образа «Я» и самооценки, например, определенное поведение может быть компенсацией реальной или вымышленной неидеальности тела.

В целом можно выделить три основных подхода к пониманию образа тела [24]: первый подход определяет его как результат активности ряда нейронных систем, поэтому изучение тела сводится к исследованию физиологических структур мозга, а понятия «образ тела» и «схема тела» (введенное Р. Боньером в 1893 году) фактически отождествляются. Представители второго подхода считают образ тела результатом психического отражения, некоей умственной картиной собственного тела, но расходятся в трактовке соотношения понятий «образ тела» и «концепция тела»: так, Дж. Чаплин считает их синонимами, а Д. Беннета утверждает, что концепция тела — лишь один из аспектов образа тела (другой аспект — восприятие тела), т.е. концепция

тела во втором случае выступает как набор признаков, используемых человеком для описания тела, когда он отвечает на вопросы или рисует фигуру человека [26]. В третьем подходе образ тела выступает как сложное структурное единство восприятий, установок, оценок и представлений, связанных с телесной внешностью и функциями тела. Такой взгляд на образ тела сегодня наиболее широко распространен в психологии, например, это концепция Р. Шонцема, в которой выделены четыре уровня образа тела: «схема тела», «телесное Я», «телесное представление» и «концепция тела».

В отличие от рассмотренных выше наук для социологии важнейшей является проблема соотношения структуры и действия [9. С. 43]. Тело появляется в предметной области социологии в начале XX века — в социологии культуры Г. Зиммеля, фигуративной социологии Н. Элиаса, теориях Дж.Г. Мида и И. Гофмана, но основоположником социологии тела считается М. Фуко. В научный оборот были введены такие важные категории, как чувственно-телесное восприятие, сексуальность, стыд, самопринуждение, цивилизационный процесс, власть над телом, дисциплинарное общество, роль тела, уязвимость тела, самообладание, телесная сторона, телесно-воплощенная и бестелесная информация, идиома тела, наблюдаемость. Позже тело становится объектом исследования в трудах П. Бурдьё и Х. Йоаса, а ключевыми понятиями — контроль через тело, габитус, креативное действие, телесная схема, образ тела.

Фуко предложил рассматривать тело как объект власти и контроля и ввел следующую дефиницию биополитики: «то, как начиная с XVIII века пытались рационализировать проблемы, поставленные перед правительственной практикой феноменами, присущими всем живущим, составляющим население: здоровье, гигиена, рождаемость, продолжительность жизни, потомство... эти проблемы неотделимы от рамок политической рациональности, в которых они возникли и обрели свое звучание» [30. С. 405]. Формирование биополитики прослеживается на двух уровнях: первый связан с ее развитием через учреждения — тюрьмы, школы, больницы, клиники и т.д.; второй уровень менее очевидно связан с контролем — управление здесь осуществляется с помощью политических технологий, от статистики и демографии до общественного здравоохранения, обустройства городского пространства и строительства жилья.

Согласно Фуко, при капитализме важнее всего становятся биополитическое, биологическое и телесное измерения жизни: например, человеческое тело с социально-политической точки зрения оценивается в качестве рабочей силы, тогда как медицину тело в этом качестве не интересовало до второй половины XIX века, когда была поставлена проблема тела, здоровья и уровня производительных сил индивида [30. С. 83]. Целями медицинского обслуживания стали улучшение человеческого капитала и его сохранение для как можно более долгого использования, вследствие чего переосмысли-

ваются вопросы защиты здоровья и общественной гигиены — как способные или не способные улучшить человеческий капитал [30. С. 290].

Парадигма выстраивания власти, согласно Фуко, предполагает, что ее требования и предписания реализуются большей частью не за счет внешнего дисциплинирующего воздействия, а благодаря внутренним поведенческим моделям, добровольно встроенным в повседневную «практику тела». Индивиды становятся «экспертами самих себя», начинают практиковать культурную и просвещенную заботу о своем теле, сознании, формах поведения, а также о телах, сознаниях и формах поведения членов своей семьи, товарищей, коллег и т.д. Фуко обогащает социологию тела такими категориями, как биовласть, биополитика, медикализация, биоистория, прокладывая путь для исследований в контексте современной социологии медицины. Кроме того, сегодня тело стало полноправным объектом изучения социологии сексуальности, феминистской социологии, социологии спорта, социологии еды и питания, социологии старости и старения [21. С. 21].

Возникает закономерный вопрос: имеет ли социология тела смысл в качестве самостоятельного направления? Имеет, потому во всех перечисленных выше направлениях тело занимает одно из центральных мест, однако ни одно из них не может претендовать на полный и всесторонний анализ тела. В современном обществе на плечи индивида ложатся многие проблемы, решение которых прежде брало на себя общество и государство: такие социальные риски, как болезни, безработица и нищета, трансформировались в задачи личной ответственности за здоровый образ жизни и уход за телом. Индивиды вынуждены заниматься «телесным менеджментом»: тело становится проектом, который нужно улучшать и продвигать, и «формируемое» тело отражает такие жизненные установки личности, как чувство стиля и вкуса, отношение к здоровью, самоконтроль и т.д. Через тело индивид выстраивает свою социальную репрезентацию и идентичность, например, девушка может позиционировать себя как ведущую здоровый и активный образ жизни: регулярно занимается в фитнес-зале (социология спорта), соблюдает специально подобранную диету, подсчитывает калории (социология еды и питания), работает над достижением идеального, по ее мнению, мышечного рельефа и формы тела (социология сексуальности), принимает витамины и много времени проводит на свежем воздухе (социология медицины). В скобках отмечены области, которые могут описать каждое действие и выбор в отдельности, однако в совокупности они составляют предметное поле социологии тела — осознанное построение телесного проекта, присутствующее в жизни каждого индивида.

Таким образом, телесный проект — это определенный набор телесных практик, сформированный индивидом на основании собственных социальных, культурных, политических, этических и других предпочтений для создания целостного образа своего «Я» и отражающего его идентичность. Соответственно, телесные практики — это социально обусловленные, осоз-

нанно наделяемые ценностью действия индивида в отношении своего тела, цель которых — реализация собственного телесного проекта. Исследования тела как проекта и составляющих его техник тела и формирует предметное поле социологии тела.

Можно выделить в социологии тела следующие основные исследовательские блоки: тело как объект социального контроля; проблематика пола и гендера; тело как объект потребления; тело и технологии — развитие биотехнологий и технологий селф-трекинга.

Тело как объект социального контроля. Социологические исследования в области биополитики и социология медицины имеют свою специфику, но их общую повестку сформулировал, в первую очередь, Фуко, предложив рассматривать тело как объект власти и контроля. Вопросы контроля набирают все большую актуальность и масштабы в связи с развитием технологической базы современного общества и появлением новых методов управления телами. Важнейший источник социального контроля над телом — сфера медицины. Согласно Фуко медицина обладает колоссальной властью, так как имеет эксклюзивный доступ к телу, и это не только конкретный «пациент», а политическое влияние на все общество. «Имея возможность наблюдать каждого, контролировать его жизнедеятельность, изолировать от других людей при необходимости, констатируя смерть/инвалидность, медицина контролирует все общество, записывая и фиксируя непрерывно информацию в медицинских картах за каждым, получая в итоге полную картину актуального состояния населения» [30. С. 94].

Для Фуко одна из значимых «технологий безопасности» — массовая вакцинация населения от оспы в конце XVIII — начале XIX веков: она позволяет составлять «портрет» состояния здоровья населения, помогает определять, какая именно группа (по территориальному, возрастному и иным признакам) нуждается в наибольшем контроле состояния здоровья, чтобы не допустить распространения эпидемии и возрастания смертности. Подобные мероприятия позволили социальной медицине завоевать авторитет и стать синонимом надежности, необходимости и безопасности. На этапе зарождения социальной медицины происходит институционализация биополитики: медицина становится важнейшим средством телесного контроля, платформой для его реализации, охватывая и подчиняя своему влиянию все проявления телесности — как физиологические, так и морально-психологические (например, в психиатрии).

В этом контексте важнейшей характеристикой тела становится здоровье. В социологии здоровье определяется как «сложный социальный феномен, который отражает качество адаптации организма человека к условиям природной и социальной среды, а также позволяет выделить особенности взаимодействия семьи, органов образования и здравоохранения, средств массовой информации по выработке у населения ориентаций на здоровый об-

раз жизни» [20. С. 32]. Согласно классификации, разработанной экспертами Всемирной организации здравоохранения, состояние здоровья определяется следующими «группами факторов: генетическими (наследственными); образом жизни; доступностью медицинских услуг; состоянием окружающей среды» [14. С. 137]. Несмотря на разность трактовок, исследователи едины в том, что здоровье — социальный конструкт, который складывается под влиянием, в первую очередь, социальных, а не биологических факторов.

Исследования проблематики пола и гендера. Пол — физиологическая характеристика тела, а гендер — социальная, связанная с выстраиванием идентичности на основе телесных признаков и практик. Тело в этом контексте становится источником борьбы и отстаиванием прав. Так, основы феминистского направления оформились уже в XVIII веке и связаны с именами Вольтера и Ш.Л. Монтескье, которые писали о несправедливой доле женщин и о необходимости включения их в общественную жизнь [25]. С середины XIX столетия образованное женское население (преимущественно в Англии) начинает более активно участвовать в жизни общества, но феминизм как научное направление складывается лишь в XX веке.

Значительный вклад в исследования пола и гендера внесла представительница экзистенциального направления в философии С. де Бовуар [23], утверждавшая, что анатомические различия мужчины и женщины не делают их разными в социокультурном плане [23. С. 18]. Современные исследователи разделяют ее позицию относительно разделения физиологической и социокультурной составляющих в гендерной проблематике: «взаимоотношения между полами и анатомические данности — это разные вещи, сводить “половые вопросы” к вопросам анатомическим нельзя, такое сведение — это политическое действие, осуществляемое в интересах определенных групп» [12. С. 3].

Философ и психоаналитик Ю. Кристева, ученица Р. Барта и представительница постмодернистского феминизма, предприняла попытку концептуализации связи между разумом и телом, культурой и природой, психикой и сомой, материей и репрезентацией. Она различает семиотический и символический элементы значения [39; 40]: первый — это телесный двигатель, связанный с ритмами, тонами и движением знаковых практик; второй определяется грамматикой и структурой значений; без символики все значения были бы лепетом, а без семиотики они были бы пустыми и не имели значения. Например, представление Кристевой о материнстве базируется на том, что материнское тело связывает природу и культуру: даже если мать не является субъектом или агентом своей беременности и родов, это не лишает ее статуса говорящего субъекта, выражающего мнение. А поскольку в этой ситуации женщина выполняет материнскую функцию, у нее нет пола. В некоторой степени материнскую функцию может выполнять любой — и мужчина, и женщина. Фактически материнское тело оказывается прототипом

сверхъестественного, которое «представляет собой и дом и не дом, присутствие и отсутствие, обещание полноты и уверенность в утрате» [44. С. 232]. В результате психоанализ объединил отчуждение, смерть и материнское тело, которое предстает как единство двух принципов: «два в одном» и «иное внутри» становится универсальной моделью всех субъективных отношений. Как и материнское тело, каждый из нас — «субъект в процессе» и субъект процесса: мы всегда ведем переговоры внутри себя и, подобно материнскому телу, никогда полностью не подчиняемся собственному опыту.

Философ и представительница постфеминизма (или постмодернистского феминизма) Р. Брайдотти сочетает идеи постмодернистских теорий Ж. Дерриды, М. Фуко и Ж.-Ф. Лиотара с идеями радикального феминизма и постструктурализма, рассматривая вопросы языка, власти и женщин. Актуальность проблемы различия полов Брайдотти объясняет двумя фундаментальными причинами: во-первых, это роль, которую играла сама категория различия в истории Европы (например, в европейском фашизме); во-вторых, это то специфическое место, которое различие занимает в феминистской теории и практике (центр и источник высокого концептуального напряжения). Исходный тезис Брайдотти — утверждение, что понятие гендер теряет свой смысл и значимость в современной феминистской теории и практике по трем причинам [6. С. 224–225]: во-первых, само понятие «гендер» подвергается критике ввиду своей теоретической неадекватности и политической аморфности; во-вторых, кризис гендера как категории феминизма совпал с изменением исходных феминистских позиций, которые в определенный момент стали бессмысленны; в-третьих, дискуссии ученых из разных стран показали непереваемость термина «гендер» и его культурно-специфическую обусловленность. Иными словами, различие категорий «пол» и «гендер», один из важнейших принципов англоязычной феминистской теории, не имеет ни политического, ни эпистемологического смысла во многих неанглоязычных контекстах, где вместо понятия «гендер» используются термины «сексуальность» и «различие полов».

В целом в рамках феминистского прочтения реальности категория тела, несмотря на разность трактовок и функций, выступает структурообразующим звеном феминистских концепций. «Тело» укоренено в существующей системе гендерного неравенства/различия полов не только с физиологической точки зрения, оно связано с практиками, субъектностью и выстраиванием идентичности. Современные исследователи разводят [15. С. 127] физический пол (*sex*) (биологическое деление на мужчин и женщин), социальный пол (*gender*) (различие женственности (*femininity*) и мужественности (*masculinity*), гендерное разделение труда в социальных институтах и организациях) и культурный пол (метросексуальность и ретросексуальность). Благодаря заложенным в феминистской концепции тенденциям меняются практики повседневной жизни и культурные нормы телесности, что влияет

на политические институты, самосознание женщин и гендерную систему; открываются ранее табуированные темы, меняется интерпретация и контекст ранее обсуждаемых тем [13. С. 50].

Одно из следствий обозначенных трансформаций — формирование политических практик отказа от гендера, ликвидация разделения на мать и отца, бабушек и дедушек и т.д. Например, более 12 % поколения миллениалов в США идентифицируют себя как транссексуалов или гендерно-неконформных, большинство считает, что гендерная идентичность — это спектр, а не бинарность «мужчина/женщина» (1). Взгляды поколения Z на гендер еще более «продвинуты»: в США 56 % знают кого-то, кто использует гендерно-нейтральные местоимения, а 59 % считают, что формы ответа должны включать варианты, отличные от «мужчина» и «женщина». В мире 25 % представителей поколения Z задумываются об изменении гендерной идентичности хотя бы раз в жизни. Размывание гендера ведет к размыванию телесности — она выходит за рамки привычного конструирования: то, что ранее считалось сугубо женским или сугубо мужским, перестает быть таковым. Смешиваются не только внешние характеристики тела, но и телесные практики в разных сферах общественной жизни.

Тело как объект потребления. Данная трактовка обусловлена освоением техник заботы о теле в современной потребительской культуре: люди обращаются к образу тела в инструментальной манере, поскольку социальный статус и общественное одобрение во многом зависят от внешнего облика. Так, Ж. Бодрийяр утверждает, что тело — «самый прекрасный объект потребления»: «в наборе потребления есть объект более прекрасный, более драгоценный, более яркий, чем все другие, более нагруженный коннотациями, чем автомобиль, объект, который, однако, все их подытоживает: это — тело» [5. С. 114]. Он говорит о новой этике отношения к телу: оно больше не воспринимается как сугубо плоть в религиозной трактовке или как рабочая сила в терминах индустриализма, а становится объектом нарциссического культа, включая два базовых компонента — красоту и эротизм. Несмотря на значимость новой этики как для мужчин, так и для женщин, именно женская модель главенствует в новой этике: становясь абсолютным религиозным императивом для женщин, красота уже не является дополнением к моральным качествам, а занимает лидирующую позицию, представляя собой «форму капитала». Общество потребления порождает культ тела и фетишизацию как мира, так и самого человека. Тело загоняется в определенные стандарты и рамки красоты в рекламе, моде и массовой культуре, ему навязываются конкретные форматы молодости, мужественности или женственности, элегантности и ухода, режимы и жертвенные занятия. Тело даже начинает заменять душу в моральной и идеологической функции.

М. Фезерстоун [33–35] полагает, что в современном потребительском обществе все чаще проявляется гедонизм по отношению к телу, выражающийся

в массовой заботе о его физической функциональности и привлекательном внешнем виде. Уход за телом становится одной из повседневных потребительских практик: «Как машины и другие потребительские блага, тело требует обслуживания, регулярного ухода и вмешательства для сохранения своей максимальной эффективности» [35. С. 18]. Транслируют такие идеи реклама, пресса, телевидение и кинофильмы, распространяя стилизованные изображения тела и пропагандируя преимущества косметического ухода за ним.

В потребительской культуре стройность стала ассоциироваться со здоровьем, а избыточный вес — с риском для него, однако значительная часть медийных «советов» носит псевдонаучный характер и может представлять угрозу для психологического и физического здоровья. Например, сегодня широко распространено РПП (расстройство пищевого поведения) — психическое заболевание, негативно влияющее на физическое и психическое здоровье человека, которое характеризуется ненормальным потреблением пищи. РПП затрагивает не менее 9 % населения мира (2); 9 % населения США, или 28,8 миллиона американцев, в течение жизни будут иметь РПП (3); менее 6 % людей с РПП имеют медицинский диагноз «недостаточный вес» [37. С. 403]; 28–74 % риска РПП связано с генетической наследственностью; РПП — второе из самых смертоносных психических заболеваний после передозировки опиоидов; около 26 % людей с РПП пытаются покончить жизнь самоубийством (2); 10200 смертей в год — прямой результат РПП, а это одна смерть каждые 52 минуты (3), т.е. фактически навязываемые СМИ идеалы могут оказаться смертельно опасными для некоторых групп.

Кроме того, возник социальный стереотип, что тело — ключ ко всем удовольствиям, ощущениям, вкусам и аспектам потребительской культуры, а она, в свою очередь, представляет собой «хорошую жизнь», доступную для покупки. Однако потребителю приходится сталкиваться с противоречивыми советами «экспертов» и культурных посредников, а также с примерами знаменитостей и лидеров мнений. Положительные преимущества телесной трансформационной работы постоянно превозносятся, будучи ключевым принципом не только потребительской культуры, но и западной современности в целом. Трансформация внешнего вида рассматривается как все более приемлемая и даже достойная жизненная цель: «хорошо выглядеть» означает и «чувствовать себя хорошо», и эта трансформационная логика презентуется как общедоступная, порождая все больше методов изменения телесности, в частности, пластическая хирургия стала популярной легитимной формой самосовершенствования. Успех косметической хирургии основан в том числе на увлечении ею звезд и знаменитостей: все чаще люди стремятся не только одеваться или сделать прическу, как у любимой знаменитости, но и изменить черты лица или форму фигуры, чтобы стать более похожими на своего кумира. Популярность пластической хирургии открывает не только новые возможности, но и, очевидно, приводит к негативным последствиям: помимо

этических проблем, одной из которых является потеря индивидуальности, вмешательства пластических хирургов могут вызывать физиологические отклонения и болезни.

Тело и технологии — развитие биотехнологий и технологий селф-трекинга. Высокие темпы технологического развития вносят коррективы в изучение телесности — появляются возможности изменения биологической природы человека с помощью новейших научно-технологических средств. Индивид в таком обществе становится неопределенным и пластичным благодаря техникам моделирования тела. Упадок индустриального общества сопровождается угасанием человека-машины, на его место приходит человек, тело которого, будучи помещено в цифровой режим, предстает как система обработки данных и кодов — становится проницаемым, проектируемым и программируемым [11. С. 90].

Ф. Фукуяма [30] утверждает, что развитие технологий — одна из основных движущих сил прогресса, и науки, связанные с биологической сферой, находятся на пике. Современные биомедицинские достижения означают наше вхождение в новое будущее, в котором человечество изменится до неузнаваемости. Способность конструировать тело и мыслительные способности, меняя ДНК, влечет за собой серьезные последствия, многие из которых потенциально опасны, в частности, Фукуяма объясняет возможные последствия генетических манипуляций в контексте основы либеральной демократии — представления о том, что все люди равны. Зарождающаяся биотехнологическая революция фактически делает тело новым источником неравенства: в будущем не только еда, условия жизни и потребляемые товары будут критериями классового разделения, но и сама жизнь благодаря доступу, например, к методам продления жизни, новым органам и способности «конструировать» своих детей до рождения. Последствием данного расхождения могут стать классовые войны, поскольку богатые смогут получать доступ к новым веществам и методам, которые сделают их самих и их детей сильнее и умнее, а также продлят жизнь. Таким образом, тело становится основой биотехнологической революции, так как все трансформации и модификации непосредственно связаны с ним, но одновременно и новым основанием классового деления.

Очевидно, что чем быстрее развиваются технологии, тем ближе к телу они становятся. Так, с первыми ЭВМ взаимодействовала малая часть индивидов, что было обусловлено необходимостью высокого уровня профессиональной подготовки, а также малой доступностью и дороговизной ЭВМ. Постепенно, с развитием информационно-коммуникационных технологий и появлением персонального компьютера, формируется более тесный контакт: теперь компьютер может стоять дома на столе и не требует специальных знаний для использования. Изобретение ноутбука еще сильнее приближает технологию к телу: индивид берет его с собой в поездки и путешествия, ложится

с ним в кровать, чтобы посмотреть фильм или поработать. Также смартфон стал неотъемлемым атрибутом повседневной жизни индивида и становится неотъемлемой частью его быта. В 2021 году компании «We Are Social» и «HootSuite» (4) провели масштабное исследование использования мобильных устройств, социальных сетей, доступа к Интернету и т.д.: количество пользователей смартфонов в мире составило 5,22 миллиарда (из 7,83 миллиарда жителей земли), а смартфонов в мире было больше, чем людей (8,02 миллиарда активных устройств).

Еще десятилетие назад считалось, что смартфон — самая близкая технология к человеку и его телу, однако развитие цифровой среды внесло свои коррективы. Появляется новый вид технологий, не просто опосредованно взаимодействующих с телом, а напрямую с ним связанных, — технологии селф-трекинга (*self-tracking*). Это «биометрические практики, направленные на регулирование, мониторинг, запись и измерение особенностей человеческого поведения, телесных функций» [43. С. 2]. Данные технологии выполняют для индивида функцию самомониторинга благодаря таким устройствам, как биометрические наушники, кольца, умные часы, фитнес-браслеты, которые измеряют время и качество сна, пульс и давление, число пройденных шагов, количество потраченных калорий, уровень стресса и т.д. Активность тела постоянно оцифровывается, превращаясь в коллекцию данных [19. С. 172]. Граница между телом и технологиями все сильнее размывается: сегодня инструменты самоконтроля могут быть надеты на тело, встроены в одежду, зубную щетку и даже приняты внутрь (цифровые таблетки) [42. С. 77–86.]. Такое сближение человеческого тела с технологиями необходимо изучать в рамках социологии тела, так как оно несет как потенциальные возможности развития, так и угрозы.

Примечания

- (1) *Kenney L.* Companies can't ignore shifting gender norms // Harvard Business Review. 08.04.2020 // URL: <https://hbr.org/2020/04/companies-cant-ignore-shifting-gender-norms>.
- (2) *Arcelus J. et al.* Mortality rates in patients with anorexia nervosa and other eating disorders. A meta-analysis of 36 studies // Archives of General Psychiatry. 2011. Vol. 68. No. 7.
- (3) Deloitte Access Economics: The Social and Economic Cost of Eating Disorders in the United States of America: A Report for the Strategic Training Initiative for the Prevention of Eating Disorders and the Academy for Eating Disorders. June 2020.
- (4) «We Are Social» и «Hootsuite» публикуют статистические данные об Интернете и социальных сетях со всего мира в ежегодном отчете «Global Digital 2021» // URL: <https://exlibris.ru/news/digital-2021-glavnaya-statistika-po-rossii-i-vsemu-miru>.

Библиографический список

1. *Айвазова С.Г.* Симона де Бовуар: этика подлинного существования // Женщина в российском обществе. 2014. № 2.
2. *Баниже О.Н.* Женская телесность как культурологическая проблема // Культурное наследие России. 2017. № 2.
3. *Белова А.В.* Девичество российской дворянки XVIII — середины XIX века: телесность, сексуальность, гендерная идентичность // Женщина в российском обществе. 2014. № 2.

4. Боас Ф. Ум первобытного человека. М., 1926.
5. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М., 2006.
6. Брайдотти Р. Половое различие как политический проект номадизма // Хрестоматия феминистских текстов. СПб, 2000.
7. Воденко К.В., Дегтярев А.К. Гендерные стереотипы в сфере высшего образования: академическое лидерство как способ нейтрализации социальных рисков // Женщина в российском обществе. 2021. № 3.
8. Гербут Н.А., Гербут И.А. Недопредставленность женщин в названиях улиц: гендерные нарративы городских пространств // Женщина в российском обществе. 2021. № 4.
9. Гидденс Э., Самтон Ф. Основные понятия социологии. М., 2018.
10. Дуглас М. Чистота и опасность: Анализ представлений об осквернении и табу. М., М., 2000.
11. Кимелев Ю.А. Философия и социологическая теория. Сферы взаимодействия. М., 2016.
12. Клименкова Т.А. Женщина как феномен культуры. Взгляд из России. М., 1996.
13. Королева Т.А. Женское движение: генезис и эволюция // Вестник Томского государственного университета. 2013. № 368.
14. Лядова А.В. Социальные факторы здоровья в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции // Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология. 2021. № 4.
15. Мельник Г.С., Панцеров К.А. Гендерное неравенство в социальной практике и массово-информационном дискурсе // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2013. № 4.
16. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999.
17. Мид М. Мужское и женское. Исследование полового вопроса в изменяющемся мире. М., 2004.
18. Мосс М. Техники тела. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. М., 1996.
19. Ним Е.Г. Селф-трекинг как практика квантификации телесности: концептуальные контуры // Антропологический форум. 2018. № 38.
20. Новоселова Е.Н. К вопросу о роли социологии в изучении и сохранении здоровья населения России // Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология. 2017. № 3.
21. Пивоваров А.М. Социология тела в поисках своей идентичности: анализ исследовательских программ // Социологический журнал. 2019. № 4.
22. Силласте Г.Г. Гендерная социология и российская реальность. М., 2016.
23. де Бовуар С. Второй пол. М.–СПб., 1997.
24. Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. М., 1989.
25. Старостина Д.А. Формирование дискурса о теле в феминистских исследованиях: «второй пол», субъект в процессе, номадическая субъективность // Социология. 2021. № 6.
26. Стребкова Ю.А. Психологические аспекты изучения телесности // Известия Самарского научного центра РАН. 2008. № 6–1.
27. Тернер Б. Современные направления развития теории тела // Thesis. 1994. № 6.
28. Троцук И.В. Социальные метафоры и «конструкция» человека в научной публицистике о теле // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2016. № 2.
29. Троцук И.В., Морозова А.В. Символические коды телесности: одежда как индикатор трансформаций социокультурных практик // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2015. № 2.
30. Фуко М. Рождение биополитики. СПб., 2010.
31. Фуко М. Рождение социальной медицины. М., 2006.
32. Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической революции. М., 2004.

33. Featherstone M. *Consumer Culture and Postmodernism*. London–Newbury Park, 1991.
34. Featherstone M. *Post-Bodies, Ageing and Virtual Reality. Images of Ageing*. London, 1995.
35. Featherstone M. *The body in consumer culture // Theory, Culture and Society*. 1982. Vol. 1. No. 2.
36. Featherstone M., Hepworth M., Turner B.S. *The Body. Social Process and Cultural Theory*. London, 1991.
37. Flament M., Henderson K., Buchholz A. et al. *Weight status and DSM-5 diagnoses of eating disorders in adolescents from the community // Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*. 2015. Vol. 54. No. 5.
38. Gallagher S. *How the Body Shapes the Mind*. Clarendon Press, 2005.
39. Kristeva J. *From one identity to another // Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art*. New York, 1980.
40. Kristeva J. *Powers of Horror*. New York, 1982.
41. Kristeva J. *Revolution in Poetic Language*. New York, 1984.
42. Lupton D. *Self-tracking cultures: Towards a sociology of personal informatics // Proceedings of the 26th Australian Computer-Human Interaction Conference on Designing Futures: The Future of Design*, 2014.
43. Lupton D. *The Quantified Self: A Sociology of Self-Tracking*. Malden, 2016.
44. Sprengnether M. *The Spectral Mother: Freud, Feminism and Psychoanalysis*. Ithaca, 1990.
45. Trotsuk I.V. *Complex concepts with varying connotations: In search for conceptual definitions // Вестник РУДН. Серия: Социология*. 2021. Т. 21. № 2.
46. Polhemus T. *Social Aspects of the Human Body*. Harmondsworth, 1978.
47. Witz A. *Whose body matters? Feminist sociology and the corporeal turn in sociology and feminism // Body and Society*. 2000. Vol. 6. No. 2.
48. Wegren S.K., Nikulin A., Trotsuk I., Golovina S. *Gender inequality in Russia's rural informal economy // Communist and Post-Communist Studies*. 2017. Vol. 50.
49. Wegren S.K., Nikulin A., Trotsuk I., Golovina S., Pugacheva M. *Gender inequality in Russia's rural formal economy // Post-Soviet Affairs*. 2015. Vol. 31. No. 5.

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-485-502

EDN: YVRORT

Sociology of the body as an independent research direction: prerequisites for formation and subject field*

D.A. Starostina

RUDN University,
Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, 117198, Russia

(e-mail: dasha-sta@yandex.ru)

Abstract. In the contemporary society, under globalization, digitalization, urbanization and networkization, the body acquires new meanings, is included in new discourses and becomes a significant object of sociology. The article considers the possibility of sociology of the body

*© D.A. Starostina, 2023

The article was submitted on 21.03.2023. The article was accepted on 15.06.2023.

as an independent scientific direction similar to such directions as sociology of medicine, sociology of sexuality, feminist sociology, sociology of sports, sociology of food and nutrition, sociology of aging, etc. The problem of the body has a long tradition of scientific research, and the author identifies the prerequisites for sociology of the body in various areas of social knowledge: philosophy, anthropology, psychology, and general sociology. The author describes four basic research fields in sociology of the body: body as an object of social control; issues of sex and gender; body as an object of consumption; body and technology — development of biotechnology and self-tracking technologies. These thematic blocks of sociology of the body are not isolated from such related fields as sociology of medicine, sociology of sexuality, feminist sociology, etc. All directions in the sociological study of the body are interrelated; however, each of them, including sociology of the body, has its own research field. Thus, sociology of the body studies the body in all its diverse social manifestations; the body as an element of social structure and social action; mutual influence of the body and contemporary transformations, such as urbanization, globalization, digitalization, networkization, etc.; emerging social movements focusing on the construction of identity and of the individual corporal project. The body becomes a project that can/should be improved and promoted. The “formed” body reflects such life attitudes of the individual as a sense of style and taste, attitudes to health, self-control, etc. Thus, through the body, the individual creates one’s social representation and identity: the image of “I”.

Key words: body; sociology of the body; body control; body practices; body project; consumed body; gender; biotechnologies; self-tracking technologies

References

1. Ajvazova S.G. Simone de Beauvoir: etika podlinnogo sushchestvovaniya [Simone de Beauvoir: Ethics of open existence]. *Zhenshchina v Rossijskom Obshchestve*. 2014; 2. (In Russ.).
2. Banizhe O.N. Zhenskaya telesnost kak kulturologicheskaya problema [Women’s corporality as a cultural problem]. *Kulturnoe Nasledie Rossii*. 2017; 2. (In Russ.).
3. Belova A.V. Devichestvo rossijskoj dvoryanki XVIII — serediny XIX veka: telesnost, seksualnost, gendernaya identichnost [Girlhood of the Russian noblewoman in the 18th — mid-19th centuries: Corporality, sexuality, gender identity]. *Zhenshchina v Rossijskom Obshchestve*. 2014; 2. (In Russ.).
4. Boas F. *Um pervobytnogo cheloveka* [The Mind of Primitive Man]. Moscow; 1926. (In Russ.).
5. Baudrillard J. *Obshchestvo potrebleniya. Ego mify i struktury* [The Consumer Society. Myths and Structures]. Moscow; 2006. (In Russ.).
6. Braidotti R. Polovoe razlichie kak politicheskij proekt nomadizma [Sexual difference as a nomadic political project]. *Khrestomatiya feministicheskikh tekstov*. Saint Petersburg; 2000. (In Russ.).
7. Vodenko K.V., Degtyarev A.K. Gendernye stereotipy v sfere vysshego obrazovaniya: akademicheskoe liderstvo kak sposob nejtralizatsii sotsialnykh riskov [Gender stereotypes in higher education: Academic leadership as a way to neutralize social risks]. *Zhenshchina v Rossijskom Obshchestve*. 2020; 3. (In Russ.).
8. Gerbut N.A., Gerbut I.A. Nedopredstavlenost zhenshchin v nazvaniyah ulits: gendernye narrativy gorodskih prostranstv [Underrepresentation of women in street names: Gender narratives of urban spaces]. *Zhenshchina v Rossijskom Obshchestve*. 2021; 4. (In Russ.).
9. Giddens E., Sutton Ph. *Osnovnye ponyatiya sotsiologii* [Essential Concepts in Sociology]. Moscow; 2018. (In Russ.).
10. Douglas M. *Chistota i opasnost: Analiz predstavlenij ob oskvernenii i tabu* [Purity and Danger: An Analysis of Concept of Pollution and Taboo]. Moscow; 2000. (In Russ.).
11. Kimelev Yu.A. *Filosofiya i sotsiologicheskaya teoriya. Sfery vzaimodejstviya* [Philosophy and Sociological Theory. Fields of Interaction]. Moscow; 2016. (In Russ.).
12. Klimenkova T.A. *Zhenshchina kak fenomen kultury. Vzglyad iz Rossii* [Woman as a Cultural Phenomenon. Russian Perspective]. Moscow; 1996. (In Russ.).

13. Koroleva T.A. Zhenskoe dvizhenie: genesis i evolyutsiya [Women's movement: Genesis and evolution]. *Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta*. 2013; 368. (In Russ.).
14. Lyadova A.V. Sotsialnye faktory zdoroviya v usloviyah pandemii novej koronavirusnoj infektsii [Social factors of health under the new coronavirus pandemic]. *Vestnik Moskovskogo Universiteta*. 2021; 4. (In Russ.).
15. Melnik G.S., Pantserev K.A. Gendernoe neravenstvo v sotsialnoj praktike i massovo-informatsionnom diskurse [Gender inequality in social practice and mass-media discourse]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta*. 2013; 4. (In Russ.).
16. Merleau-Ponty M. *Fenomenologiya vospriyatiya* [Phenomenology of Perception]. Saint Petersburg; 1999. (In Russ.).
17. Mead M. *Muzhskoe i zhenskoe. Issledovanie polovogo voprosa v izmenyayushchemsya mire* [Male and Female: A Study of the Sexes in a Changing World]. Moscow; 2004. (In Russ.).
18. Mouss M. *Tekhniki tela. Obshchestva. Obmen. Lichnost. Trudy po sotsialnoj antropologii* [Body Techniques. Society. Exchange. Personality. Works on Social Anthropology]. Moscow; 1996. (In Russ.).
19. Nim E.G. Self-treking kak praktika kvantifikatsii telesnosti: kontseptualnye kontury [Self-tracking as a practice of quantifying the body: Conceptual outlines]. *Antropologicheskoye Forum*. 2018; 38. (In Russ.).
20. Novoselova E.N. K voprosu o roli sotsiologii v izuchenii i sokhraneni zdoroviya naseleniya Rossii [On the role of sociology in the study and preservation of the Russians' health]. *Vestnik Moskovskogo Universiteta*. 2017; 3. (In Russ.).
21. Pivovarov A.M. Sotsiologiya tela v poiskakh svoej identichnosti: analiz issledovatel'skikh program [Sociology of body in search for its identity: Analysis of research programs]. *Sotsiologicheskoye Zhurnal*. 2019; 4. (In Russ.).
22. Sillaste G.G. *Gendernaya sotsiologiya i rossijskaya realnost* [Gender Sociology and Russian Reality]. Moscow; 2016. (In Russ.).
23. de Beauvoir S. *Vtoroj pol* [The Second Sex]. Saint Petersburg; 1997. (In Russ.).
24. Sokolova E.T. *Samosoznanie i samootsenka pri anomaliiakh lichnosti* [Self-Awareness and Self-Esteem in Personality Anomalies]. Moscow; 1989. (In Russ.).
25. Starostina D.A. Formirovanie diskursa o tele v feministicheskikh issledovaniyakh: "vtoroy pol", sub`ekt v protsesse, nomadicheskaya subektivnost [Formation of the discourse of body in feminist studies: "Second sex", subject in the process, nomadic subjectivity]. *Sotsiologiya*. 2021; 6. (In Russ.).
26. Strebkova Yu.A. Psikhologicheskie aspekty izucheniya telesnosti [Psychological aspects in the study of corporality]. *Izvestiya Samarskogo Nauchnogo Tsentra RAN*. 2008; 6–1. (In Russ.).
27. Turner B. *Sovremennyye napravleniya razvitiya teorii tela* [Recent developments in the theory of the body]. *Thesis*. 1994; 6. (In Russ.).
28. Trotsuk I.V. Sotsialnye metafory i "konstruktsiya" cheloveka v nauchnoy publitsistike o tele [Social metaphors and the human "construction" in the scientific publicism on the body]. *RUDN Journal of Sociology*. 2016; 2. (In Russ.).
29. Trotsuk I.V., Morozova A.V. Simvolicheskie kody telesnosti: odezhda kak indikator transformatsiy sotsiokulturnykh praktik [Symbolic codes of the body: Clothes as an indicator of socio-cultural practices transformations]. *RUDN Journal of Sociology*. 2015; 2. (In Russ.).
30. Foucault M. *Rozhdenie biopolitiki* [The Birth of Biopolitics]. Saint Petersburg; 1997. (In Russ.).
31. Foucault M. *Rozhdenie sotsialnoj meditsiny* [The Birth of Social Medicine]. Moscow; 2006. (In Russ.).
32. Fukuyama F. *Nashe postchelovecheskoe budushchee: Posledstviya biotekhnologicheskoy revolyutsii* [Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution]. Moscow; 1997. (In Russ.).
33. Featherstone M. *Consumer Culture and Postmodernism*. London–Newbury Park, 1991.
34. Featherstone M. *Post-Bodies, Ageing and Virtual Reality. Images of Ageing*. London, 1995.

35. Featherstone M. The body in consumer culture. *Theory, Culture and Society*. 1982; 1 (2).
36. Featherstone M., Hepworth M., Turner B.S. *The Body. Social Process and Cultural Theory*. London; 1991.
37. Flament M., Henderson K., Buchholz A. et al. Weight status and DSM-5 diagnoses of eating disorders in adolescents from the community. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*. 2015; 54 (5).
38. Gallagher S. *How the Body Shapes the Mind*. Clarendon Press; 2005.
39. Kristeva J. From one identity to another. *Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art*. New York; 1980.
40. Kristeva J. *Powers of Horror*. New York; 1982.
41. Kristeva J. *Revolution in Poetic Language*. New York; 1984.
42. Lupton D. Self-tracking cultures: Towards a sociology of personal informatics. *Proceedings of the 26th Australian Computer-Human Interaction Conference on Designing Futures: The Future of Design*; 2014.
43. Lupton D. *The Quantified Self: A Sociology of Self-Tracking*. Malden; 2016.
44. Sprengnether M. *The Spectral Mother: Freud, Feminism and Psychoanalysis*. Ithaca; 1990.
45. Trotsuk I.V. Complex concepts with varying connotations: In search for conceptual definitions. *RUDN Journal of Sociology*. 2021; 21 (2).
46. Polhemus T. *Social Aspects of the Human Body*. Harmondsworth; 1978.
47. Witz A. Whose body matters? Feminist sociology and the corporeal turn in sociology and feminism. *Body and Society*. 2000; 6 (2).
48. Wegren S.K., Nikulin A., Trotsuk I., Golovina S. Gender inequality in Russia's rural informal economy. *Communist and Post-Communist Studies*. 2017; 50.
49. Wegren S.K., Nikulin A., Trotsuk I., Golovina S., Pugacheva M. Gender inequality in Russia's rural formal economy. *Post-Soviet Affairs*. 2015; 31 (5).



СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

CONTEMPORARY SOCIETY: THE URGENT ISSUES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-503-524

EDN: WXMCXE

Герои и героизм как репрезентации коллективной памяти*

М.А. Подлесная¹, О.К. Шевченко², И.В. Ильина³

¹Институт социологии ФНИСЦ РАН,
Б. Андроньевская ул., 5, стр. 1, Москва, 109544, Россия

²Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского,
просп. Академика Вернадского, 4, Симферополь, 295007, Россия

³Тюменский государственный университет,
ул. Володарского, 6, Тюмень, 625003, Россия, 625003

(e-mail: yamap@yandex.ru; skilur80@mail.ru; i.v.ilina@utmn.ru)

Аннотация. В статье представлены результаты междисциплинарного философско-социологического исследования героизма. В теоретической вводной части проведен семиотический анализ понятия героизма с точки зрения концепта хронотопа в западноевропейской культуре, обозначены константы отечественной семантики понятий героя, героизма и героического, прослежена динамика изменения смыслов героического, поступка и подвига. Социологический подход, продолжая философское осмысление героизма, рассматривает данный феномен через социальное отношение, следуя в заданном Н.К. Михайловским направлении. Для осмысления связи героя и толпы задействованы такие социологические подходы, как креативная и реляционная теории социального действия и положения реляционной социологии П. Донати. В эмпирической части представлены результаты социологического опроса 1350 россиян разных поколений в восьми федеральных округах. Основная цель статьи — рассмотрение понятий героя и героизма как репрезентаций коллективной (исторической) памяти. Эмпирическое исследование состояло из двух разделов: один посвящен кол-

* © Подлесная М.А., Шевченко О.К., Ильина И.В., 2023

Статья поступила 05.03.2023 г. Статья принята к публикации 15.06.2023 г.

лективной памяти россиян и историческим знаниям, второй — героям и героизму в оценках советского и постсоветского поколений. Результаты первой части опроса показывают в целом угасание коллективной памяти, причем события более древней истории вызывают меньше интереса и по ним меньше знаний, чем, например, по советскому периоду. Превалирующая часть значимых событий российской истории воспринимается как триумфальная, а не травматическая, а большинство военных кампаний, в том числе нынешних, — через фигуру победителя, а не побежденного. По мнению респондентов, героизма в прошлом было больше. Героизм связывается с такими качествами личности, как сила, активность, чувство долга, спасение других не ради корысти, способность не опустить руки даже в самой сложной ситуации. Сам герой воспринимается не только как спаситель, но и как правдолюбец, что особенно значимо для советских поколений.

Ключевые слова: герой; героизм; российские поколения; коллективная (историческая) память; репрезентации памяти; хронотоп; семиотический анализ; триумф и травма

В последние годы тема героизма становится все более актуальной, о чем говорят и опросы общественного мнения. Так, по данным ВЦИОМ от 22 декабря 2022 года, специальная военная операция стала основным событием года для 62 % россиян, и появился запрос на «героя-защитника страны», в качестве которого военный служащий в горячих точках (54 %) назывался в 2,7 раза чаще, чем годом ранее, второе место заняли медики, третье — спасатели МЧС. Характерно, что сегодня герой для россиян — это человек, готовый принять удар на себя во время пандемии или военных действий [7], т.е. в ситуации повышенного риска и опасности.

Примечательно, что тема героизма уже звучала на рубеже XIX–XX веков в отечественной и зарубежной научной литературе и связана, прежде всего, с работами Н.К. Михайловского и Г. Лебона. Два независимых исследования, которые методологически были выстроены по-разному (Михайловский был сосредоточен на своем «субъективном методе», Лебон — на методе наблюдения), имели нечто общее — рассматривали те социальные вызовы, которые во многом определили интерес к героизму. Для Михайловского это была реакция на последствия таких общественных событий, как «холерные беспорядки» (показали недоверие народа к власти в ситуации карантинных мер и ограничений, сегодня таких «бунтовщиков» назвали бы антиваксерами) и еврейские погромы. В этой реакции проявилось не только «постреформенное разочарование русской либерально-демократической интеллигенции», но и «наступление “века масс” взамен ожидаемой эпохи “просвещенного народа”» [4. С. 11–12]. Триггером исследовательского интереса Лебона к толпе и ее героям также стали западноевропейские события конца XIX века, в том числе детские переживания периода Парижской коммуны 1848 года, который свидетельствовал о массовом протестном движении и неизбежном наступлении «века толпы» [4. С. 11].

В отечественной традиции изучения героизма, заложенной Михайловским, во главу угла ставятся «отношения героя и толпы» [4. С. 15], т.е. герой и толпа неотделимы друг от друга и рассматриваются в определен-

ной связке. Исследователя интересует, прежде всего, характер этих отношений, который либо способствует, либо ограничивает проявление индивидуальности (народ и толпа у Михайловского различаются). Подходя к изучению героя безоценочно, не наделяя его исключительно положительными качествами, Михайловский так определяет его главную черту: герой — тот, кто «первым “ломает лед” ...делает тот решительный шаг, которого трепетно ждет толпа, чтобы со стремительною силою броситься в ту или другую сторону» [18. С. 285]. Для него герой важен не как проводник этических принципов или иных идеалов, а тем эффектом, который он оказывает на массовое сознание и движение. Подобный универсальный взгляд на героя предлагает нам, в научном плане потомкам Михайловского, либо продолжить эту исследовательскую традицию, либо дать иное определение герою. Эта задача тем интереснее, что могут происходить как диахронные, так и синхронные изменения героизма, и крайне важно понять, что в итоге остается неизменным, а что корректируется [25].

Мы решили исследовать героизм в двух равнозначных для нас плоскостях — теоретическое осмысление и эмпирическая оценка социальных представлений о героизме. Мы предположили (в отличие от Михайловского, у которого герой носит универсальный характер и наделен способностью давать импульс толпе), что у каждого поколения есть свои герои и свои представления о героизме, вводя в исследование так называемую диахронную переменную. В результате наша работа была разделена на два этапа: теоретический анализ и анализ эмпирических данных разведывательного исследования.

Начнем с ответа на вопрос, насколько героизм универсален — для всех цивилизаций, культур, наций и этносов всех времен. Можно ли если не отождествлять, то уподоблять языческий героизм Гильгамеша в поисках бессмертия с, например, христианским героизмом апостола Павла, также жаждавшего бессмертия? И стоит ли вводить фактор «бессмертие» («смерть») в контекст универсального героического явления, или же это локальный оттенок героического действия, характерный, например, для средиземноморского ареала, но чуждый доколумбовым цивилизациям Южной Америки? С формальной точки зрения ответ «да»: там и там героизм; фактор смерти всегда важен для героического поступка; во всех культурах и цивилизациях есть страдающий герой, а апофеоз страдания — смерть (тип смерти и вариации послесмертия не существенны для универсального взгляда на проблему, это локальные отличия). Везде и всегда идет напряженный поиск бессмертия, а различия в фактуре поступков — следствие разницы времен и цивилизаций. О метафизической стороне дела можно не упоминать — это все та же «малозначащая» специфика отдельной цивилизации (даже при обращении к святости акцент делается не на теологии или догматике, а на внешних актах мученичества/преданности идее [10. С. 70]). По крайней мере так выглядит героизм в рамках европоцентричного историко-семантического анализа, который высту-

пает нормой для тотального большинства исследователей как в контексте осмысления методологии [2. С. 168–171], так и в специализированном историческом исследовании [10].

Героизм есть некое состояние или свойство определенного лица, которое обязательно фиксируется в некоем неписанном реестре, необходимом для коллективного признания действий героическими. Лицо это чаще всего индивидуально-физическое, но допускается, хоть и редко, коллективное лицо (социальный класс, город, этнос, нация, государство). Разумеется, в древнейшем прошлом, когда формировались структуры мифа, а позднее фиксировались в письменных источниках, такого фундаментального различия не наблюдалось, что позволило, например, создать реестр единых первофрагментов для разнообразных мифо-религиозных сюжетов [16. С. 3]. Можно обнаружить ряд шаблонов в европейском язычестве и авраамической традиции и поместить туда героев [14], но данная схема не будет, например, работать для Японии. Но мы ведь говорим о универсуме единого пространства-времени, поэтому выход видится в проработке собственной историко-этимологической линии и выведении констант отечественной семантики героя, героизма и героического — только после этого имеет смысл сравнивать и выходить на мировую философско-семантическую арену в поисках совершенствования собственных смыслов.

Необходимость такого подхода подтвердила дискуссия специалистов в области героического, прошедшая несколько лет назад в Москве. Участники были буквально смяты мощной, продуманной и обоснованной (шестисотстраничными академическими трудами) англофильской концепцией героического: «Карлейл, Кэмпбелл... Джордж Лукас стали источниками смысловых сфер героического, проблемы технологии создания героев, разницы героев “серого большинства” и “аристократического большинства”, трансфера от героя к знаменитости (селебрити) и обратно» [11. С. 200–201].

В противовес мы предлагаем концепцию хронотопа, восходящую к текстам Бахтина [3]: «хронотоп героя» — это исследовательская конструкция, позволяющая определить пространственно-временную фактурность героического как ризоматическую сеть техник явленности героического в нарративах (в социально-философских текстах и в повседневных практиках). В функционировании героической сети и процедурах построения разнородных хронотопов героя важно восприятие героического (геройского) с позиций естественного языка. Мы опираемся на работы Хайдеггера, определявшего язык как «Дом Бытия», Бибахина — с его «словом как голосом события», Лакана, утверждавшего, что «бессознательное структурировано как язык», и устойчивое мнение отечественных исследователей [12. С. 1]. Речь идет о разнице не дефиниций, а смысловых полей лексемы, ее пространственно-временного осознания, интуиций героического в разных языках. Нарратив формирует особую конфигурацию взаимоотношений между временем и пространством

героического в том или ином формате. Нарратив создает смыслы для наблюдателя (в фукольдланском понимании — как теоретика, агента практической реализации отношений и повседневного потребителя нарратива на уровне обыденного сознания) в пределах его (наблюдателя) естественного языка. Значит, возможности пространственно-временной определенности героического в конкретном языке задают пределы нарратива и точки конфликтов национальных нарративов. Классический пример — стратегии конструирования, восприятия, бытования, эмоционального оклика, эстетического выражения и т.п. советского/американского/китайского/французского героя и т.д.

То, где бытуют хронотопы героев, — регион бытования, и с онтологической очевидностью его уместно разделить на участок дисциплины и участок действия. *Участок* дисциплины — это пространство, где взаимодействуют системы понятий, представлений, образов и метафор о пространственно-временных характеристиках героического. Средой формирования, распада и трансформации систем понятий является нарративное поле дисциплины, т.е. среда, где идут процессы формирования пространственно-временного представления о героическом. Участок действия имеет событийный формат — это реальное пространственно-временное бытие героев и героического как бытие сущего.

Иными словами, единого явления «герой» или «героическое» не существует — речь идет о некоем исследовательском конструкте, крайне чувствительном к естественному языку, нарративной среде формирования героического и каналам передачи пакетов информации от события (участок действия) к идеалу (участок дисциплины).

Хронотопы могут сосуществовать, схлопываться, растворяться, поглощаться, соприкасаться, но проследить их линейную эволюционную преемственность крайне маловероятно, практически невозможно в силу разнесенности исходных данных — от языка до эмоциональных констант этноса или культурно-исторического типа. Достаточно условно, используя естественный язык, мы сможем уяснить некие предельные основания бытования хронотопов в рамках того или иного поля, т.е. определить внешние контуры группы хронотопов.

Так, для русского мира можно обозначить следующую пунктирную границу: до XVIII века термин «герой» в русском языке отсутствовал; с точки зрения специалистов XIX века его следует пояснять через термин «богатырь древнейших времен» или «витязь, храбрый воин, доблестный воитель, богатырь, чудо-воин; доблестный сподвижник вообще, в войне и в мире, самоотверженец» (согласно В.И. Далю). Следовательно, героизм как видимый атрибут героя, его состояние и отпечатывающиеся в бытийном пространстве «следы» до XVIII века был лишен французских наслоений. Позже происходит диффузия как минимум двух хронотопов — до заимствованного и после заимствованного. Очевидно также, что витязь домонгольской Руси и его героизм отличается от богатыря (наслоение тюркско-степного смысла «батыр») эпохи до создания московского государства Иваном III и т.д. вплоть до на-

стоящего дня. Герой-витязь живет в ином пространстве деяний, его время свершений принципиально иное, чем, например, у героя-стахановца советской эпохи. Однако уже в годы Великой Отечественной войны эти понятия сливаются: «Из одного метала льют медаль за храбрость и медаль за труд».

Вернемся к вычерчиванию предельных контуров героизма посредством естественного языка. Для этого мы обратились к словарю ассоциаций, выбрав из множества ответов первые пять, которые выдает система анализа (табл. 1). Очевидно, что героизм (герой, героическое) в русском языке принципиально не соотносится, например, с понятием подвижничество: в первом случае поступок ограничен социальным пространством и структурой бытия, связан с насилием над другими, а во втором случае решающее значение имеет долгий поступок, становление и возрастание в реальности путем насилия над своим естеством. Соответственно, реальность подвига не есть геройский поступок — это совершенно разные бытийные структуры. Скажем, подвиг имеет большую длительность — вплоть до бесконечности: «Ваш подвиг будут помнить всегда» (но странно звучит фраза «Ваш геройский поступок будут помнить всегда»). Также присутствует пространственная разница — подвиг более объемен, масштабен: подвиг 28 панфиловцев или подвиг под Сталинградом — деяния, отражающиеся в физическом и морально-психологическом масштабе на всю войну, а поступок рядового Иванова, не бросившего товарища в битве под Смоленском, — геройский.

Таблица 1

Героизм в значениях естественного языка

Каким бывает героизм	Что может героизм; что можно сделать с ним	Ассоциации	Синонимы	Гиперонимы
массовым	стыдиться	борьба	геройство	способность
настоящим	проявить	бой	доблесть	качество
беспримерным	пропасть	поле		черта
трудовым	существовать	война		добродетель
личным	заслужить	битва		

Таким образом, все, что выходит за эти границы, является агрессией хронотопов, созданных в ином языке и иной нарративной стратегией, их инфильтрацией в пространство наших смыслов или «перехватом» каналов информации из участка действия в участок дисциплины. Перехват каналов передачи пакетов информации приводит к тому, что поступки, отпечатавшиеся в реальном мире, могли бы быть названы героическими, но при контроле за каналами формирования нарратива приобретают, например, формат метафоры глупости, незначительности или преступления.

Социологическое осмысление героизма

В классическом веберовском прочтении социального действия социолог имеет дело, прежде всего, с целерациональным, ценностнорациональным и традиционным (опривыченным) действием, оставляя за скобками аффективное действие, находящееся на границе между осмысленностью и эмоциональным импульсом [5. С. 88]. В изучении героизма действие является не только основным в отношениях между героем и толпой (как сказал бы Михайловский), но и в определенном смысле фактом проявления героя, его рождения в этом качестве для других. Действие героя при этом может быть спонтанным и аффективным. С 1990-х годов нормативно-ценностная детерминированность ослабевает, и действие начинает определяться как реакция человека на неожиданную ситуацию — появляются креативная и реляционная концепции социального действия, смещающие поиск с мотива и нормы на творческий потенциал действия, который зависит от ситуации. И креативность связывается, прежде всего, с ситуацией, в которую попадает индивидуальный/коллективный актер. Хотя реляционный подход отмечает, что современный актер действует в быстро меняющемся контексте, а не просто зависит от ситуации, вывод делается практически тот же, что и в креативной теории: результат — нечто новое, сопряженное с творческим решением, что меняет образцы действия.

Выделенное Вебером в качестве отдельного типа аффективное действие в креативной и реляционной теориях выглядит как первая, интуитивная попытка зафиксировать в действии нечто большее, чем ценностный или рациональный мотив. Более того, само действие сегодня вряд ли можно рассматривать как формируемое чем-то одним — это комплекс реакций (интегрированное понимание социального действия Х. Йоаса [26. С. 30]), в том числе творческого, эмоционального потенциала, на конкретную ситуацию или череду событий. В изучении героя это особенно важно, так как его действие во многом зависит и от ситуации, и от реакций на нее. Креативность героя, его способность к творческой рефлексивности и преобразованию ситуации играет важную роль.

Особое значение, помимо непосредственно действия героя, имеют отношения между героем и толпой: героический поступок может совершаться и без свидетельства толпы, но и в этом случае главным является отношение. Отклик толпы на поступок героя порождает особую степень признания и доверия, в отдельных случаях с последующим решением следовать за героем, действовать вместе с ним. Согласно реляционной теории П. Донати, социальное отношение — это «особый эффект взаимности между взаимосвязанными членами» [17], поэтому он упоминает, прежде всего, лидера, харизмат в веберовской терминологии, подчеркивая, что «социальные отношения не создают лидера самого по себе, они создают лидера путем добавления социальной ценности качествам и способностям конкретных людей» [13. С. 19].

«Добавленная ценность» — это увеличение кого-то или чего-то в результате совершения действия, т.е. в момент отношений [13. С. 99–100]. Итогом таких отношений может стать как реляционное благо — увеличение реляционных параметров (степень взаимности, сотрудничества, доверия, близости, улучшение самочувствия в целом и т.д.), так и реляционное зло.

Важно, что вступление в отношение подразумевает, что, «во-первых, одна сущность имеет символическую сущность с другой сущностью (*refero*), а во-вторых, между ними возникает сцепка, или структурная связь (*religo*)» [13. С. 100]. Подобная связь возникает, если человек активен, а не пассивен, саморефлективен и обладает этическими и эстетическими качествами. Культура как система устоявшихся понятий и сложных процессов символизации определяет социальные отношения: символическое наполнение «героя» сегодня — это не только «область отношений между великим человеком и теми, кто следует по его шагам» [18. С. 282], но и готовность принять удар на себя в ситуации риска и опасности, которая доминирует в семантическом наполнении героизма в настоящее время (например, медики во время пандемии). Причем если смотреть на происходящее через призму морфогенетических процессов, возникающих на основе реляционных отношений, в героизм сегодня так или иначе вовлечена значительная часть страны — денежные сборы, гуманитарная помощь, духовная поддержка (например, письма) воинам, пострадавшим и т.д.

В приводимых Донати примерах реляционных отношений, результатом которых является реляционное благо, есть общая черта — они складываются, как правило, при равных возможностях и позициях участников и зависят исключительно от качества их отношений, а не опыта — будь то инициатива родителей, пожелавших совместно заботиться о детях, или школьное образование с привлечением сил муниципалитета по частной инициативе. Все это примеры равных участников отношений, пусть и с разной степенью доверия по причине их разной природы (пара, дружба, члены благотворительной организации и др.). Когда же мы говорим о герое, то его позиция порождает импульс, задает вектор отношений, вскрывает и меняет реальность. В этом смысле реляционная теория лишь обозначает аспект лидерства, не останавливаясь на нем и видя реляционные отношения, прежде всего, в горизонтальных связях, тогда как героизм предполагает начальную точку (в том числе временную), в которой проявляется позиция героя и с которой начинаются отношения, дающие развитие морфогенетическим процессам. Налицо эмерджентность, но стимул ей дает герой, автономность которого носит индивидуалистический и реляционный характер.

Что касается хронотопа, то следует отметить его особенности в эпоху модерна и постмодерна и значимость для глобального мира (с определенными оговорками). В первую очередь, хронотоп связан с идентичностью, которая столь изменчива, что человек не может найти себя, во вторую — с по-

строением не существующего в природе социального мира (искусственной реальности, в том числе игровой) в ответ на развитие технологий и утрату смыслов социальных отношений, интереса к подлинной реальности (настоящему). Отсюда неизбежность иного типа взаимодействия и «социальной молекулы после-модерного типа» [13. С. 42]. Для Донати очевидно, что модерн одновременно продолжается и разрушается — настоящее время он называет переломный моментом.

Обозначенные изменения влекут за собой поиск героя, который амбивалентен (его поступки можно трактовать как одновременно героизм и злодейство) и практически не отождествляется со «стереотипно-позитивной» интерпретацией [24. С. 451] — вполне в духе размышлений Михайловского. Сегодня с трудом можно назвать героем (по крайней мере на это указывают американские и западноевропейские исследования [32]) того, в чьих поступках скрыта корысть или психическое отклонение, — это квазигероизм или лжегероизм [24. С. 458]. В настоящее время возникает путаница не только в определении героя, но и в том, как противоречиво он выявляется, что мы связываем с особенностями семантик хронотопа модерна, в котором ментально и когнитивно находятся исследователи. Отметим при этом, что особое место сегодня занимают не столько сказочные, мифологические герои, изучение которых было актуально в начале XX века [21], сколько медийные и киногерои [27]. Это еще одна особенность хронотопа модерна, который стал условно глобален благодаря развитию информационных технологий.

Мы сосредоточимся на понятии коллективной (исторической) памяти применительно к изучению героизма, поскольку она не только определяет межпоколенческую связь, но и передает символы и образцы, отобранные коллективом, группой, обществом как наиболее значимые и закрепленные в определенной культуре [см. подробнее в: 20]. Данный концепт связан, прежде всего, с именем Б. Гизена, одного из основоположников культурсоциологии, который, в том числе в соавторстве с Дж. Александером, посвятил ряд работ [30; 31; 33–35] теме героизма и памяти. Для нас важно, что коллективная идентичность конструируется не только действующими в настоящий момент поколениями, но и предшествующими — благодаря так называемой политике памяти часть событий может подвергаться забвению, часть — актуализироваться, бережно сохраняться. Забываются не только травматические, но и позорные, преступные страницы истории, причем не только внутри общества, но и благодаря внешним влияниям — политика памяти может осуществляться извне, порождая конфликт в конструктах и контурах исторической памяти, выдвигая на авансцену истории в качестве героев тех, кто еще вчера рассматривался как преступник.

Гизен предлагает своеобразную матрицу, где одна переменная — субъект/объект, другая — способность преодолевать трудности и препятствия. Он выделяет четыре фигуры исторической или коллективной памяти: по-

бедитель (сакрализованный субъект, управляющий миром), побежденный герой (сохраняющий субъектность, но не способный справиться с трудностями), жертва (не может противостоять препятствиям и теряет субъектность), преступник (делает жертвами других и теряет субъектность в отсутствии сакрализации его поступков в глазах других). Репрезентация той или иной фигуры памяти в обществе происходит посредством сакрально-профанных, триумфально-травматических «ритуалов». По сути, это первая попытка рассмотреть память через ритуалы репрезентации, в которой заложен большой эвристический потенциал [29. С. 116]. Травму Гизен связывает с таким предельным событием, как смерть, триумф — с рождением и преодолением. На уровне исторической, коллективной памяти это означает, что наличие триумфальных и трагических репрезентаций соответствующим образом конструирует память — вызывая желание жить или умирать, быть в потенции к будущему или иметь постоянный источник уходящей силы и оставаясь в безвременье.

У каждого поколения и эпохи есть свои презентации героев и героизма, и в эмпирическом исследовании мы хотели понять, что меняется в представлениях разных поколений, а что остается неизменным, каковы базовые константы в представлениях россиян о героизме. Основной целью эмпирического исследования стало изучение героя и героизма как репрезентаций коллективной (исторической) памяти россиян. Для этого авторы искали ответы на следующие вопросы:

1. Что можно сказать о коллективной (исторической) памяти россиян? В какой семантике она сегодня сформирована? В каких «фигурах» (победителя, побежденного героя, жертвы или преступника) видятся чаще всего события отечественной истории?
2. Какие события российской истории воспринимаются разными поколениями как препятствия, которые надо преодолеть? Какие из этих событий относят к травматическим, т.е. близким к смертельным, ранящим, а какие — к триумфальным, возрождающим нацию? Каких событий в оценке россиян было больше?
3. Кто сегодня является героем для россиян, в том числе для поколения Z? Присутствует ли героизм сегодня или остался в прошлом?
4. Кого чаще относят к героям — военных, гражданских или «социальных», готовых жертвовать репутацией, статусом и т.д.? Есть ли качественные различия у героев разных поколений?
5. Имеют ли герои и героизм как репрезентации коллективной памяти поколенческую специфику? И если имеют, то какую именно?
6. Каковы нынешние страхи россиян?

Коллективную (историческую) память мы трактуем в традиции М. Хальбвакса — как память коллектива, не выходящую за его пределы и представленную репрезентациями и конструктами этой памяти, ее образца-

ми, которые были отобраны коллективом, группой, обществом как наиболее значимые и потому сохраняющиеся и передающиеся следующим поколениям. Любой отказ от сохранения коллективной памяти, нарушение ее поколенческой преемственности мы рассматриваем как потерю памяти или разрыв с ней. Коллективная (историческая) память сохраняется посредством традиции и истории как корпуса знаний и письменной фиксации воспоминаний: «история обычно начинается в тот момент, когда заканчивается традиция, когда затухает или распадается социальная память» [28. С. 52]. Иными словами, история — фермент неизбежного диалектического изменения традиции под воздействием фактора «герой». Изменение может проходить как по реестру созидания и совершенствования, так и по реестру разрушения и деградации, поэтому крайне важен вопрос, что передается сегодня молодым поколениям россиян в качестве репрезентаций коллективной памяти, особенно тех событий, где ослабевает (по давности лет) сама традиция передачи и происходит затухание памяти, а герои и героическое теряют субъективное очарование — совершенствование и рост традиции превращается в регресс, в один из видов исторического забвения [1. С. 439–443].

Мы использовали типологию поколений, предложенную В.В. Радаевым (табл. 2), где основными характеристиками выступают период рождения и период взросления: предполагается, что в возрасте 17–25 лет происходят судьбоносные события в жизни человека (как правило, закончена учеба, создаются семьи), а социальные изменения оказывают влияние на формирование личности и ее последующие выборы.

Таблица 2

Типология поколений по В.В. Радаеву

	Поколения	Период рождения	Период взросления
Советские	Мобилизационное	1938 и ранее	1941–1955
	Поколение оттепели	1939–1946	1956–1963
	Поколение застоя	1947–1967	1964–1984
Постсоветские	Реформенное	1968–1981	1985–1999
	Поколение миллениалов	1982–2000	2000–2016
	Поколение Z	2001 и позднее	2017 и позднее

С января по март 2023 года в восьми федеральных округах было проведено разведывательное исследование понимания героизма россиянами разных поколений. Опрос проводился посредством онлайн-анкетирования, т.е. выборка стихийная. В опросе приняли участие 1350 человек из всех субъектов Российской Федерации, в том числе из присоединенных к России территорий — Луганской и Донецкой областей. В Центральном округе было опрошено 25 % респондентов, в Северо-Западном — 15 %, в остальных окру-

гах — по 10 %. Онлайн-анкетирование прошли мужчины (40 %) и женщины (60 %), представители советского (25 %) и постсоветского поколений (75 %). Постсоветское поколение представлено большинством, что позволяет проводить сравнительный анализ ответов внутри поколения — реформенного поколения, миллениалов и поколения Z. Мы провели процедуру взвешивания данных и ответы первых трех поколений объединили в одну категорию — «ответы советских поколений» [22. С. 49].

Коллективная память и историческое знание россиян

Первый блок вопросов был посвящен выявлению памятных исторических событий, исторических знаний и оценок разных исторических событий. Один из первых вопросов анкеты затрагивал субъективную оценку знания истории России: «Оцените, насколько, как вам кажется, вы знаете историю России?». Предлагалось несколько вариантов ответа, один из которых свидетельствовал о прекрасном знании истории: респондент может преподавать этот предмет, знает с пробелами, у него отсутствуют системные знания истории страны. Почти 70 % опрошенных знают историю с пробелами, 13 % — очень хорошо (могли бы преподавать, подискутировать с историком, экспертом), 11 % оценили свои знания как неудовлетворительные (практически не имеют представления об истории России), 7 % затруднились с ответом. Очень хорошо знающих историю России среди мужчин оказалось заметно больше (21 %), чем среди женщин (13 %), и представители советского поколения чаще выражали уверенность в отличном знании истории (43 %), чем постсоветские поколения: реформенное — 15 %, миллениалы — 12 %, поколение Z — 9 %. Несколько неуверенная оценка своих знаний истории России представителями постсоветского поколения может быть связана как с реальным отсутствием знаний вследствие преобразований системы школьного образования, так и с возрастными особенностями (жизненный опыт и позиция молодых не позволили им дать более высокую оценку). Безусловно, это требует детального изучения, с включением в выборку большего числа респондентов советского поколения, но, вероятно, наши данные подтверждают, что в СССР история преподавалась системно, не размывалась мелкими вопросами, представляющими интерес для узких специалистов, что в итоге давало уверенность в своих знаниях и формировало устойчивую мировоззренческую позицию.

Еще один вопрос анкеты выявлял субъективную оценку знания разных разделов истории — начиная с предпосылок образования государства у восточных славян и заканчивая современностью. Примечательно, что меньше всего оказалось незнающих историю СССР (17 %), а больше всего — далекое прошлое России, период основания и становления русского государства. Больше всего ответов «совсем или скорее не знаю» получено в разделе «предпосылки образования государства у восточных славян» — 42 %. Схожие ре-

зультаты мы получали, опрашивая школьников и студентов: период Древней Руси «не актуализирован ни для подростков, ни для студенческой молодежи... С определенными эпохами хочется сохранять преемственность, с другими, напротив, обнаружить разрыв; у школьников и студентов этот разрыв связан с периодом Древней Руси. А связь обнаруживается с советским периодом, школьники и вовсе выделяют этот период как наиболее интересный и запоминающийся» [20]. Таким образом, одна из устойчивых репрезентаций коллективной памяти россиян — угасание памяти (что естественно по причине давности событий), несколько отстраненное усвоение знаний о предпосылках возникновения Руси (в экспертном сообществе еще и нестройное их освещение), но более тесная связь с советским прошлым. Вероятно, это свидетельствует не только об интересе россиян (часть которых застала советское прошлое) к отдельным разделам отечественной истории, но и о соответствующих предпочтениях школьных учителей и, возможно, самой министерской программы.

Основным источником знаний по отечественной истории у респондентов остается школьная программа (71 %), исторические книги и литература (54 %), Интернет (52 %), лишь во вторую очередь вузы (45 %) и СМИ, телепередачи, историческое кино и т.д. (30 %), в еще меньшей степени родители (20 %), блогеры, подкасты (14 %) и социальные сети (13 %). Следует признать, что преимущественно в школе, а не в семье или в вузе, складывается представление об истории страны и происходит формирование коллективной памяти. Интернет и СМИ являются немаловажными источниками подобных знаний, но не единственными, что говорит о необходимости комплексного подхода к передаче знаний по истории — посредством школы, исторической литературы, Интернета и СМИ.

Опираясь на идеи культуросоциолога Б. Гизена, мы задали вопрос об оценке ряда событий отечественной истории, среди которых были как военные кампании, так и достижения науки и культуры. Респонденты должны были оценить каждое из них в категориях триумфального (дающего силы, обеспечивающего расцвет нации) или травматического (оставляющего без сил, ведущего к смерти, упадку), но была и возможность уйти от однозначной оценки. Мы пытались выяснить, насколько россияне оценивают события своей истории как триумфальные или травматические, и каких событий видят в ней больше. События были отобраны по критерию значимости для страны с точки зрения решения геополитических и национальных задач. Значительная часть предложенных событий отечественной истории оценивается россиянами как триумфальные, что свидетельствует о восприятии истории страны в целом в позитивном, жизнеутверждающем ключе. К таковым были бесспорно отнесены: борьба с татаро-монгольским игом (54 %) — меньше всего затруднившихся с ответом (17 %) говорит о том, что событие воспринимается однозначно триумфальным; освоение целины в СССР, которое

вызвало у части опрошенных затруднения с оценкой (31 %), но все же больше половины (52 %) признало ее триумфальной; борьба с польскими и шведскими интервентами в период Смутного времени 1598–1618 годов (48 %). Примечательно, что триумфальным считается и «создание ядерного оружия в СССР в 1949 году», набравшее наибольшее количество ответов (66 %). Это не только косвенно свидетельствует об особом внимании россиян к советскому периоду истории, но и о том, что в ситуации нынешних геополитических угроз наличие у страны ядерного оружия вызывает одобрение у всех поколений (табл. 3). Очевидно, что чем моложе респонденты, тем больше среди них затрудняющихся ответить, и хотя тех, кто считает данное событие триумфальным не меньше половины, от поколения миллениалов к поколению Z их доля сокращается.

Таблица 3

Оценки «создания ядерного оружия в СССР в 1949 году» (%)

Поколение	Триумфальное	Травматическое	Затрудняюсь ответить
Советское поколение	74,9	10,3	14,8
Постсоветское/Реформенное	76,9	9,4	13,7
Постсоветское/Миллениалы	60,2	14,7	25,1
Постсоветское/Поколение Z	50,6	22,2	27,2

К бесспорно травматическому событию, повлекшему негативные последствия для страны, россияне относят распад СССР в 1991 году (68 %). Это лидер среди травматических событий, к которым также отнесены «отречение от престола Николая II» (49 %) и «Октябрьская революция 1917 года» (42 %), т.е. события, предшествующие созданию СССР. Кажется, что в этом есть противоречие, однако мы полагаем, что россияне воспринимают как травму все то, что связано с гибелью и убийством — одной ли царской семьи или значительной части народа: всех «своих» по-человечески жалко, поэтому эти события воспринимаются как травматичные. В целом еще одной репрезентацией коллективной памяти россиян является восприятие наиболее значимых событий российской истории как триумфальных, а не травматических.

Заимствуя еще одну идею Гизена, мы задали вопрос, в качестве какой фигуры (победителя, жертвы, побежденного героя, преступника) воспринимается респондентами Россия как участница крупных войн и военных кампаний. Мы намеренно не использовали вариант «затрудняюсь ответить», чтобы не дать респондентам возможность уйти от оценки в довольно сложном вопросе (рис. 1). Основная часть военных кампаний, в которых участвовала Россия, воспринимается гражданами через образ победителя, прежде всего,

Великая Отечественная война 1941–1945 годов (90 %). Наибольшие сомнения в предложенном списке вызывает Первая мировая война (1914–1918), оценки которой размыты: очевидно, что эта военная кампания воспринимается россиянами неоднозначно — им трудно оценить и ее последствия, и роль России в ней. Можно было бы предположить, что это связано с давностью события, но еще более далекая Отечественная война 1812 года получила однозначную оценку «победителя» (82 %). Видимо, в истории как корпусе знаний присутствуют разные оценки этих двух войн — более однозначные для одной и более размытые (с вопросами и нюансами) для другой; кроме того, в Отечественной войне 1812 года Россия оборонялась, а в Первой мировой была участницей коалиции против Германии, а победитель в представлениях россиян не может быть участником сговора. Кроме того, Первая мировая война по своим последствиям для России отличалась как от Отечественной войны 1812 года, так и от Великой Отечественной войны, став прологом не только к распаду Российской империи, революции и гражданской войне, но и к коренному изменению всей социальной жизни — от самодержавной монархии и зарождающегося капитализма к авторитарному обществу советского модерна с его идеей нового человека. Примечательно, что высокие оценки как победителя получила и военная операция в Сирии (с 2015 года), которая до сих пор не закончена.

Какую роль, по вашему мнению, выполняла/ет Россия в следующих событиях:

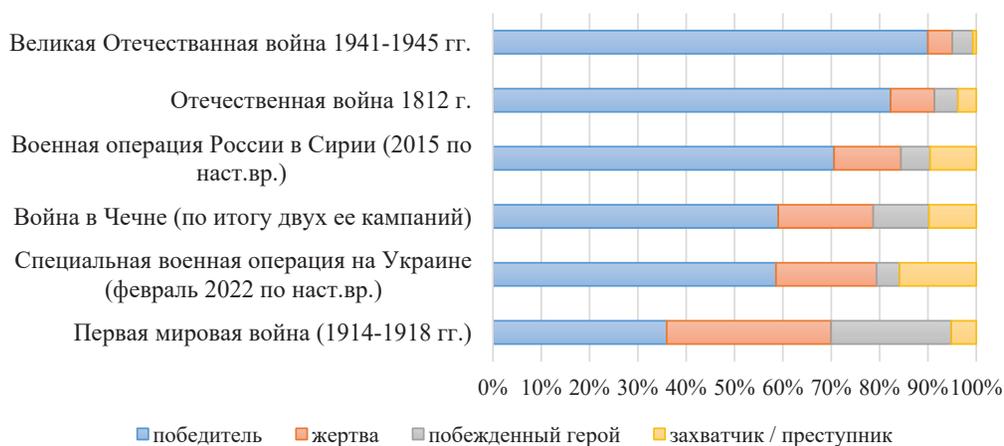


Рис. 1. Оценки военных кампаний России через образы (%)

Распределение ответов на этот вопрос позволяет сделать следующий вывод о репрезентации коллективной памяти россиян: основная часть военных компаний, в том числе нынешних, воспринимается через образ победителя, причем там, где Россия была вынуждена обороняться, данная оценка одно-

значная, т.е., согласно культурной традиции, действия и отношения подлинного победителя не предполагают сговора и участия в сомнительных договоренностях — это, прежде всего, защита и оборона.

Герои советского и постсоветского поколений

Второй блок вопросов был посвящен содержанию понятий героя и героизма. На вопрос «Есть ли в вашем окружении люди, которых можно назвать героями?» 57 % ответили утвердительно, 17 % — отрицательно, а каждый четвертый затруднился с ответом. Женщины чаще (57 % против 51 %) отвечали утвердительно, а отрицательных ответов и затруднений с ответом было больше у самого молодого поколения Z. Респонденты полагают, что в истории, в прошлом было больше героизма (51 %), причем для советского поколения это менее очевидно, поскольку они наблюдают проявления героизма и сегодня (33 %), чего нельзя сказать о представителях постсоветского, особенно реформенного поколения (7 %). Только 15 % убеждены, что героизм присутствует и в нашей современной жизни, что, в совокупности с данными предыдущего вопроса, видимо, свидетельствует об убеждении опрошенных, что не только героизм чаще встречался в прошлом, но и героев сегодня значительно меньше. С точки зрения репрезентаций коллективной памяти это может означать некоторую идеализацию прошлого через образы героев и героизма.

Отвечая на вопрос о наличии героев в своем окружении, россияне называли, прежде всего, врачей и медиков, оказывающих помощь людям (44 %), добровольцев, поехавших в зону боевых действий для оказания посильной помощи (44 %), людей, мужественно сражающихся с тяжелой болезнью, превозмогающих боль и не теряющих бодрости духа (41 %), тех, кто не боится общественного мнения и способен говорить правду (40 %). Реже назывались спасатели МЧС (31 %), а также сотрудники полиции, юристы и адвокаты, честно выполняющие свою работу (13 %). То есть настоящими героями считаются сильные, активные люди, честно выполняющие свой долг, спасая других, не изменяющие себе ради денег или признания, способные не опустить руки даже в самой сложной ситуации. В определенном смысле это творцы реляционного блага, у которых оно получается лучше, чем у других. Причем спасение понимается россиянами явно шире, чем борьба за жизнь, — это в некотором смысле еще и поиск правды.

Поколенческие различия здесь проявляются в том, что для советского поколения герой — тот, кто говорит правду, несмотря на общественное мнение, а постсоветские поколения делают акцент на добровольчестве и достойной борьбе человека со смертельной болезнью. Видимо, главное и существенное различие поколений в том, что для советского поколения герой — это правдолюбец (борец за справедливость), а для постсоветского — человек, преодолевающий смерть и ее страх.

Что же, по мнению россиян, необходимо для совершения героического поступка? Прежде всего, такие личностные качества, как сострадание, доброта, щедрость, готовность рисковать, самоотверженность, умение преодолевать трудности, надежность, решительность (84 %), внутренняя сила, духовность (71 %), убеждения, ценности (55 %) и в последнюю очередь особенности воспитания (33 %). Героизм связывается больше с самой личностью, чем с процессом социализации, вернее роль социализации не считается главной и тем более единственной. Здесь прослеживается противоречие: школу большинство респондентов считает источником исторических знаний, но при этом меньшинство видит в ней источник формирования героизма. Следовательно, возникают вопросы о том, как эффективно инкорпорировать героическую проблематику в преподавание истории; нет ли в обществе трагического разнесения истории и героя. Причем большинство героев респонденты упорно определяют как исторических личностей в прошлом.

Усиливает выявленный парадокс и распределение ответов на другой вопрос анкеты: «Что нужно прививать, чтобы сформировать героический тип личности?». Статистически незначимое меньшинство полагает, что ничего, тогда как большинство называет ценности гуманизма и уважение каждого (64 %), патриотизм и любовь к родине (58 %), реже — духовно-нравственные религиозные ценности (38 %). По сути, россияне предложили формулу героического типа личности — «уважение другого — любовь к родине — религиозная духовность», тогда как государство и государственные институции, включая официальную историческую науку, большинство респондентов считают малозначимыми или вовсе лишними для формирования героя.

В заключение остановимся на основных страхах россиян. Понятие страха тесно связано с героизмом, поскольку страх таковым, как правило, преодолевается. Главные страхи россиян сегодня — это угроза ядерной войны (49 %), неопределенность и неизвестность будущего (41 %), угрозы терроризма и преступности (34 %), потеря стабильности и привычного образа жизни (25 %). Рост цен в магазинах, частичная мобилизация и государственный переворот пугают респондентов в гораздо меньшей степени, чем внешняя угроза, — видимо, россияне считают, что с ними можно справиться, в отличие от ядерной войны или терроризма. В страхах россиян прослеживаются и поколенческие особенности (табл. 4): респонденты советского поколения, пережившие «холодную войну» и знающие из советского прошлого о ядерной угрозе больше, чем нынешние поколения, испытывают страх перед ней чаще, чем постсоветские поколения (хотя и для них эта угроза — одна из главных). У реформенного поколения и миллениалов, чей возраст соответствует призывному, больше опасений мобилизации, но в целом это не главный страх опрошенных.

Главные страхи россиян (в %)

Поколение	Угроза ядерной войны	Неопределенность и неизвестность будущего	Угроза терроризма и преступности	Потеря стабильности и привычного образа жизни в целом	Рост цен в магазинах	Частичная мобилизация	Государственный переворот в стране. Смена власти	Победа Украины в СВО
Советское	59,9	47,3	37,9	25,6	14,1	9,2	15,7	13,4
Реформенное	41,9	36,3	28,6	23,1	26,1	24,4	19,7	11,1
Миллениалы	45,3	39,8	34,9	26,3	30	27,8	17,4	13,5
Поколение Z	48,7	39,1	33,6	22,9	22,2	18,7	18,5	13,3

На вопрос о том, что объединяет сегодня людей в нашей стране, помимо языка (46 %), государства (34 %) и обычаев (23 %), россияне, в первую очередь, называют историю и память (66 %). Ни православная вера, ни тем более национальные герои не существуют в отрыве от коллективной памяти, поэтому любое забвение может нивелировать все перечисленное. Яркие примеры — атеизм в СССР, который стал возможен в результате ломки памяти и отрицания ценности православной традиции; нынешнее забвение героев и заслуг СССР, которое проявляется в том числе в сносе памятников и вандализме в странах бывшего СССР, в национал-шовинизме и подмене героев. Тревожным звонком выступает тот факт, что значительная часть населения не считает государство ответственным за историческую память, а государственные институты — значимыми для создания героев и формирования героизма. Для современного российского общества крайне важно беречь свою коллективную память, но для этого необходимо понимать, что она собой представляет. Проведенное исследование позволило нам приблизиться к этому пониманию, отметив ряд особенностей репрезентаций коллективной памяти у россиян, в том числе в отношении героев и героического.

Благодарности

Авторы сердечно благодарят за помощь в организации и проведении полевых работ в регионах д.ф.н., проф. А.А. Ирхина (Севастополь), к.и.н., доц. И.П. Задерейчука (Симферополь), д.ф.н., проф. А.Г. Некиту (Великий Новгород), д.ф.н., проф. С.А. Маленко (Великий Новгород), д.ф.н., проф. А.В. Макулина (Архангельск), к.пед.н., доц. С.А. Вишневого (Ялта), к.фил.н., доц. С.С. Царегородцеву (Москва), д.геогр.н., проф. А.Н. Гуню (Москва), к.с.н., доц. С.Д. Лебедева (Белгород).

Библиографический список

1. Анкерсмит Ф.В. Возвышенный исторический опыт. М., 2007.
2. Антропология репрезентации: память, общественные пространства и визуальность / Отв. ред. А.А. Плеханов, Н.А. Белова. М., 2021.
3. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе: очерки по исторической поэтике // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
4. Белинская Е.П. У истоков социальной психологии: сравнительный анализ «психологии масс» Г. Лебона и концепции «героев и толпы» Н.К. Михайловского // Вестник Московского университета. Серия 14: Психология. 2012. № 1.
5. Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
6. ВЦИОМ: Герои России: вчера и сегодня // URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/geroi-rossii-vchera-i-segodnja>.
7. ВЦИОМ: Итоги 2022 года // URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/itogi-2022-sobytiya-geroi-plany-na-novogodnie-prazdniki>.
8. Газилов М.Г. Сопоставительное исследование концепта ГЕРОЙ в русском и французском языках // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2021. № 1.
9. Горелова Т.А., Хлопонина О.О. Культурный концепт «герой» как ценностный ракурс эпохи // Знание. Понимание. Умение. 2022. № 3.
10. Гуторович О.В. Герой и героизм: сущность, историческая эволюция, проявление // Вестник Челябинского государственного университета. 2020. № 8.
11. Джумайло О.А. Герой своего времени, герой вне времени или герой на все времена — qui pro quo? // Новое прошлое. 2019. № 1.
12. Дидковская В.Г. Подвиг, подвижник, герой // Ученые записки Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2019. № 2.
13. Донати П. Реляционная теория общества: Социальная жизнь с точки зрения социального реализма. М., 2019.
14. Карлейль Т. Герои, почитание героев и героическое в истории. М., 2008.
15. Кравец П.С. Трансформация понятия героизма: от Гомера до «Marvel» // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. № 4–1.
16. Кэмбелл Д. Тысячеликий герой. СПб., 2018.
17. Маркина И.В. Реляционная социология Пьерпаоло Донати // Научный результат. Серия: Социология и управление. 2015. № 3.
18. Михайловский Н.К. Сочинения. Т. 6. СПб., 1885.
19. Омеличкина Е.О. Семиотические характеристики лингвокультурного типажа héros // Вестник Кемеровского государственного университета. 2011. № 4.
20. Подлесная М.А., Соловьева Г.В., Ильина И.В. Историческая память: школьники и студенты об истории России // Вестник Института социологии. 2021. Т. 12. № 2.
21. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. М., 2001.
22. Радаев В.В. Миллениалы. Как меняется российское общество. М., 2020.
23. Соколова Б.Ю. Философия героизма в творческом наследии Л.В. Шапошниковой // Заметки ученого. 2021. № 5–1.
24. Субботина М.В. Амбивалентность героя в контексте изучения социального благополучия, или поиски героического в новой социально-медийной реальности // Социологическое обозрение. 2020. Т. 19. № 3.
25. Суравнева И.М., Федоров В.В. Феномен героизма. М., 2008.
26. Титаренко Л.Г. Социология Ханса Йоаса // Социологические исследования. 2012. № 5.
27. Троцук И.В., Субботина М.В. Оценка влияния кинематографа на социальные представления о героизме: апробация одного подхода // Коммуникология. 2018. Т. 6. № 4.
28. Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3.
29. Хлевнюк Д.О. Бернард Гизен. Триумф и травма // Социологическое обозрение. 2010. Т. 9. № 2.

30. *Alexander J.C.* On the social construction of moral universals: The “Holocaust” from mass murder to trauma drama // *European Journal of Social Theory*. 2002. Vol. 5. No. 1.
31. *Alexander J.C.* Remembering the Holocaust: A Debate. Oxford University Press, 2009.
32. *Allison S.T.* (Ed.). *Heroes and Villains of the Millennial Generation*. Palsgrove, 2018.
33. *Cultural Trauma and Collective Identity*. Ed. by J.C. Alexander et al. University of California Press, 2004.
34. *Giesen B.* *Triumph and Trauma*. Paradigm Publishers, 2004.
35. *Social Performance: Symbolic Action, Cultural Pragmatics, and Ritual*. Ed. by J.C. Alexander, B. Giesen, J.L. Mast. Cambridge University Press, 2006.

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-503-524

EDN: WXMCXE

Heroes and heroism as representations of collective memory*

M.A. Podlesnaia¹, O.K. Shevchenko², I.V. Ilyina³

¹Institute of Sociology of FCTAS,
Bolshaya Andronievskaya St., 5–1, Moscow, 109544, Russia

²V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Academica Vernadskogo Prosp., 4, Simferopol, 295007, Russia

³Tyumen State University,
Volodarskogo St., 6, Tyumen, 625003, Russia

(e-mail: yamap@yandex.ru; skilur80@mail.ru; i.v.ilina@utmn.ru)

Abstract. The article presents the results of the interdisciplinary philosophical-sociological study of heroism. In the theoretical introductory part, the authors conducted the semiotic analysis of the concept of heroism in the context of the concept of chronotope in Western-European culture; identified the constants of the Russian semantics of the ‘hero’, ‘heroism’ and ‘heroic’; described the dynamics of changes in the meanings of the ‘heroic’, ‘deed’ and ‘feat’. The sociological approach follows the philosophical understanding of heroism and considers this phenomenon through a social relationship (In N.K. Mikhailovsky’s perspective). To comprehend the relationship between the hero and the crowd, the authors refer to such sociological approaches as creative and relational theories of social action and P. Donati’s relational sociology. The empirical part presents the results of the sociological survey of 1,350 Russians from different generations in eight federal districts; thus, the authors consider the concepts of hero and heroism as representations of collective (historical) memory. The empirical study consisted of two parts: the first one focused on the collective memory of Russians and their historical knowledge, the second one — on heroes and heroism in the interpretation of the Soviet and post-Soviet generations. The results of the first part show the general weakening of collective memory, and the events of older history are less interesting and less known than, for example, those of the Soviet period. Most of the significant events in the Russian history are perceived as triumphant, not as traumatic, and most military campaigns, including the current ones, are perceived through the figure of the winner, not the loser. Respondents believe that there was more heroism in the past. Heroism is associated with such personal qualities as strength, activity,

* © Podlesnaia M.A., Shevchenko O.K., Ilyina I.V., 2023

The article was submitted on 05.03.2023. The article was accepted on 15.06.2023.

a sense of duty, desire to save others not for profit, the ability not to give up even in the most difficult situation. The hero is perceived not only as a savior, but also as a truth-seeker, which is especially significant for Soviet generations.

Key words: hero; heroism; Russian generations; collective (historical) memory; representations of memory; chronotope; semiotic analysis; triumph and trauma

References

1. Ankersmit F.R. *Vozvyshennyj istorichesky opyt* [Sublime Historical Experience]. Moscow; 2007. (In Russ.).
2. *Antropologija reprezentatsii: pamjat, obshhestvennye prostranstva i vizualnost* [Anthropology of Representation: Memory, Public Spaces and Visuality]. Otv. red. A.A. Plekhanov, N.A. Belova. Moscow; 2021. (In Russ.).
3. Bakhtin M.M. *Formy vremeni i khronotopa v romane: ocherki po istoricheskoj poetike* [Forms of time and chronotope in the novel: Essays on historical poetics]. *Voprosy literatury i estetiki*. Moscow; 1975. (In Russ.).
4. Belinskaja E.P. U istokov sotsialnoj psikhologii: sravnitelny analiz “psikhologii mass” G. Le Bona i kontseptsii “geroev i tolpy” N.K. Mikhaylovskogo [Origins of social psychology: A comparative analysis of the “psychology of the masses” by G. Le Bon and the concept of “heroes and crowds” by N.K. Mikhailovsky]. *Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 14: Psikhologiya*. 2012; 1. (In Russ.).
5. Weber M. *Osnovnye sotsiologicheskie ponjatija* [Basic Sociological Terms]. *Izbrannye proizvedeniya*. Moscow; 1990. (In Russ.).
6. WCIOM: Geroi Rossii: vchera i segodnja [Heroes of Russia: Yesterday and today]. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/geroi-rossii-vchera-i-segodnja>. (In Russ.).
7. WCIOM: Itogi 2022 goda [Results of 2022]. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/itogi-2022-sobytiya-geroi-plany-na-novogodnie-prazdniki>. (In Russ.).
8. Gazilov M.G. Sopotavitelnoe issledovaniye kontsepta GEROY v russkom i frantsuzskom yazykah [A comparative study of the concept HERO in Russian and French]. *Filologicheskie Nauki. Voprosy Teorii i Praktiki*. 2021; 1. (In Russ.).
9. Gorelova T.A., Khloponina O.O. Kulturny kontsept “geroy” kak tsennostny rakurs epokhi [Cultural concept “hero” as a value perspective of the era]. *Znanie. Ponimanie. Umenie*. 2022; 3. (In Russ.).
10. Gutorovich O.V. Geroy i geroizm: sushchnost, istoricheskaya evolyutsiya, proyavlenie [Hero and heroism: Essence, historical evolution, manifestation]. *Vestnik Cheljabinskogo Gosudarstvennogo Universiteta*. 2020; 8. (In Russ.).
11. Dzhumaylo O.A. Geroy svoego vremeni, geroy vne vremeni ili geroy na vse vremena — qui pro quo? [Hero of the time, hero for all times or hero out of time — qui pro quo?]. *Novoe Proshloe*. 2019; 1. (In Russ.).
12. Didkovskaja V.G. Podvig, podvizhnik, geroy [Feat, devotee, hero]. *Uchenye Zapiski Novgorodskogo Gosudarstvennogo Universiteta im. Yaroslava Mudrogo*. 2019; 2. (In Russ.).
13. Donati P. *Reljatsionnaja teorija obshhestva: Sotsialnaja zhizn s tochki zrenija sotsialnogo realizma* [Relational Theory of Society: A Critical Realist Perspective on Social Life]. Moscow; 2019. (In Russ.).
14. Carlyle T. *Geroy, pochitanie geroev i geroicheskoe v istorii* [On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History]. Moscow; 2008. (In Russ.).
15. Kravets P.S. Transformatsiya ponyatiya geroizma: ot Homera do “Marvel” [Transformation of the concept of heroism: From Homer to “Marvel”]. *Mezhdunarodny Zhurnal Gumanitarnyh i Estestvennyh Nauk*. 2021; 4–1. (In Russ.).
16. Campell J. *Tysjacheliky geroy* [The Hero with a Thousand Faces]. Saint Petersburg; 2018. (In Russ.).

17. Markina I.V. Relyatsionnaya sotsiologiya Pierpaolo Donati [Relational sociology by Pierpaolo Donati]. *Nauchny Rezultat*. Serija: Sotsiologija i upravlenie. 2015; 3. (In Russ.).
18. Mikhailovsky N.K. *Sochinenija* [Works]. Vol. 6. Saint Petersburg; 1885. (In Russ.).
19. Omelichkina E.O. Semioticheskie kharakteristiki lingvokulturnogo tipazha héros [Semiotic characteristics of the linguistic-cultural type héros]. *Vestnik Kemerovskogo Gosudarstvennogo Universiteta*. 2011; 4. (In Russ.).
20. Podlesnaia M.A., Solovieva G.V., Ilyina I.V. Istoricheskaya pamyat: shkolniki i studenty ob istorii Rossii [Historical memory: Schoolchildren and students about the history of Russia]. *Vestnik Instituta Sotsiologii*. 2021; 12–2. (In Russ.).
21. Propp V. *Morfologija volshebnoy skazki* [Morphology of the Folktale]. Moscow; 2001. (In Russ.).
22. Radaev V.V. *Millenialy. Kak menjaetsja rossijskoe obshchestvo* [Millennials. How the Russian Society is Changing]. Moscow; 2020. (In Russ.).
23. Sokolova B.Yu. Filosofiya geroizma v tvorcheskom nasledii L.V. Shaposhnikovoy [Philosophy of heroism in the creative legacy of L.V. Shaposhnikova]. *Zametki Uchenogo*. 2021; 5–1. (In Russ.).
24. Subbotina M.V. Ambivalentnost geroya v kontekste izucheniya sotsialnogo blagopoluchiya, ili poiski geroicheskogo v novoy sotsialno-mediynoy realnosti [Ambivalence of the hero in the context of the social well-being study; or, the search for the heroic in the new social-media reality]. *Russian Sociological Review*. 2020; 19–3. (In Russ.).
25. Suravneva I.M., Fedorov V.V. *Fenomen geroizma* [Phenomenon of Heroism]. Moscow; 2008. (In Russ.).
26. Titarenko L.G. Sociology of Hans Joas. *Sotsiologicheskie Issledovaniya*. 2012; 5. (In Russ.).
27. Trotsuk I.V., Subbotina M.V. Otsenka vliyaniya kinematografa na sotsialnye predstavleniya o geroizme: aprobatsiya odnogo podkhoda [Assessment of cinematographic influence on social representations of heroism: Approbation of an approach]. *Communicology*. 2018; 6–4. (In Russ.).
28. Halbwachs M. Kollektivnaya i istoricheskaya pamyat [Collective and historical memory]. *Neprikosnovenny Zapas*. 2005; 2–3. (In Russ.).
29. Khlevnyuk D.O. Bernard Giesen. Triumph and Trauma. *Sotsiologicheskoe Obozrenie*. 2010; 9 (2). (In Russ.).
30. Alexander J.C. On the social construction of moral universals: The “Holocaust” from mass murder to trauma drama. *European Journal of Social Theory*. 2002; 5 (1).
31. Alexander J.C. *Remembering the Holocaust: A Debate*. Oxford University Press; 2009.
32. Allison S.T. (Ed.). *Heroes and Villains of the Millennial Generation*. Palsgrove; 2018.
33. *Cultural Trauma and Collective Identity*. Ed. by J.C. Alexander et al. University of California Press; 2004.
34. Giesen B. *Triumph and Trauma*. Paradigm Publishers; 2004.
35. *Social Performance: Symbolic Action, Cultural Pragmatics, and Ritual*. Ed. by J.C. Alexander, B. Giesen, J.L. Mast. Cambridge University Press; 2006.



DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-525-545

EDN: VGUYNS

Представления россиян о героях и героизме: устойчивые и изменчивые компоненты (по материалам опросов общественного мнения)*

И.В. Троцук^{1,2,3}, М.В. Субботина¹

¹Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198, Россия,

²Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
просп. Вернадского, 82, Москва, 119571, Россия

³Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
ул. Мясницкая, 20, Москва, 101000, Россия

(e-mail: irina.trotsuk@yandex.ru; mariya.subbotina.1995@mail.ru)

Аннотация. Несмотря на весьма обширный список исследованных аспектов героизма, в социологии данный феномен по-прежнему недостаточно изучен. Большинство проектов и публикаций ориентированы скорее на поиск самих «героев» (вернее идентификацию таковых в общественном мнении или медийном дискурсе), но не дают ответов на вопрос, почему (со) общества «назначают» одних людей героями, а других нет, и какой смысл вкладывают в понятие «герой». Общество всегда обращало пристальное внимание на так называемых «выдающихся личностей»: официальные и народные герои существуют во всех культурах, и на протяжении не одного тысячелетия человеческой истории выступают своего рода референтной группой для принятия решений и даже самоопределения людей. Кроме того, доминирование конкретных типов героического поведения — один из инструментов (само)репрезентации культурной системы: превалирующий в сознании общества героический типаж нередко напрямую связан с характерным для данного социума этическим комплексом. Авторы систематизируют сложившиеся на сегодняшний день трактовки понятий «герой» и «героизм», а также разработанные типологии героического поведения, обозначают современные направления эмпирического изучения героизма, прежде всего массовые опросы российских и зарубежных ученых. Во второй части статьи представлены результаты всероссийского репрезентативного онлайн-опроса, в котором приняли участие представители четырех возрастных групп: 14–19 лет, 20–29, 30–49 и 50–69 лет (800 человек, по 200 респондентов в каждой возрастной группе). Опрос был призван выявить и сопоставить представления разных российских поколений о героях и героизме. Было проведено две волны опроса — в 2020 и 2022 году, поэтому авторы сосредоточились на изменениях, которые прослеживаются в представлениях россиян. В целом старшее поколение в качестве приоритетных героических типов называет героя-спасателя и героя-воина, тогда как младшее поколение — героя-спасателя и героя-благотворителя. Что касается сопоставления двух опросных волн, то в 2022 году

*© Троцук И.В., Субботина М.В., 2023

Статья поступила 11.03.2023 г. Статья принята к публикации 15.06.2023 г.

респонденты менее охотно отвечают на вопросы о героях и героизме, особенно когда речь заходит о проявлениях военного героизма, но ключевые социальные представления о героическом сохраняются.

Ключевые слова: герой; героизм; типы героического поведения; типы героев; социальные представления; онлайн-опрос; поколенческое измерение; российское общество; сравнительный анализ

Феномен героизма — давний объект интереса самых разных наук, однако до сих пор он окружен множеством вопросов относительно сути, функций, форм и трансформаций героического в историческом, сопоставительном, обыденном и научном контекстах. Причем только в последние десятилетия оформилось несколько новых направлений в изучении героизма: героическое лидерство [19], повседневный героизм [33], коллективный [35], телесный [см., напр.: 24] и даже «генетический» [28]. Увлеченные героической проблематикой исследователи все чаще говорят о необходимости отдельной науки о героизме [23], поскольку в изучении данного феномена междисциплинарное единство — центральная задача, «наука о героизме» призвана интегрировать все формы и элементы его познания [31] и попытаться ответить на все связанные с ним вопросы: как общество может побудить людей к героическим действиям; под влиянием каких жизненных обстоятельств люди становятся героями [36]; как образы героев влияют на социализацию подрастающих поколений и способность подростков преодолевать трудности [34]; почему, совершая одни и те же действия, люди могут сталкиваются с осуждением или, напротив, получать «титул» героя [21] и т.д.

Сложившиеся на сегодняшний день определения героизма можно суммировать следующим образом: самоотверженность, мужество, способность к подвигу [9; 10]; отвага, решительность и самопожертвование в критической ситуации [4]; свершение выдающихся по своему общественному значению действий, отвечающих интересам народа, передовых классов/сообществ и требующих личного мужества, стойкости, готовности к самопожертвованию [14]; необычайное мужество вопреки личных интересам [7]. Соответственно, основные аспекты героизма, зафиксированные в большинстве определений, — это отказ/игнорирование личных интересов ради блага других; совершение поступков, выходящих за границы обыденного; смелость и вытекающая из нее готовность к самопожертвованию в трудных условиях (некий подвиг [4; 5; 11]).

Казалось бы, герой — это человек, совершающий героическое действие, однако слово «герой» сегодня может обозначать далеко не только проявления героизма: тот, кто совершил подвиг мужества, доблести, самоотверженности; человек, отличившийся и привлечший к себе внимание («герой дня» в новостях); идеал, предмет восхищения, образец для подражания; образ, воплощающий характерные черты эпохи или среды («герой нашего време-

ни»); главное действующее лицо в фильме, книге, спектакле [10]. Вероятно, все негероические ипостаси «героя» связаны с выделением из общей массы: совершение экстраординарного поступка (положительного или отрицательного в ценностных категориях своей культуры), наличие ярко выраженных положительных качеств, умение мотивировать и подавать пример, главные действующие лица произведения с проработанными личностными чертами (в отличие от второстепенных персонажей) — двигатели сюжета [15].

Хотя трактовки героизма не выглядят крайне противоречивыми, за их мнимой простотой кроется множество взаимосвязанных парадоксов, обусловленных самой природой героизма: по сути, это социальная атрибуция, хотя героический поступок — как правило, личный экзистенциальный выбор [см., напр.: 1; 13; 16; 22]. Сложность феномена героизма детерминирована исторически, политически, культурно и ситуативно: так, действия, воспринимаемые как героические в одной группе (например, подвиги террористов-смертников), считаются ужасающими и неприемлемыми для многих других; герои одной эпохи могут оказаться злодеями в другое время, когда выясняются новые факты или меняется трактовка прежних (например, «культура отмены» за прошлые действия/высказывания, ставшие неприемлемыми в условиях «новой этики»). Тем не менее, в целях эмпирического социологического анализа мы остановимся на трактовке героя как самоотверженного человека, способного ценить интересы других выше собственных и совершать подвиг, и будем опираться на собственную типологию героев: воин (военный героизм), спасатель (в чрезвычайной ситуации), благотворитель (помощь людям), вдохновитель (преодоление себя), авантюрист (тяга кключениям) и демонстратор (показной героизм) [13].

Существует множество классификаций, отражающих разнообразие героев и героических поступков [см., напр.: 6; 8; 25], но наиболее интересна с социологической точки зрения типология З. Франко, К. Блау и Ф. Зимбардо, уверенных, что большинство людей способны на героические поступки при правильном мышлении и определенных условиях [38]. Признавая различия между формами храбрости/мужества и героическим поступком, авторы выделяют следующие общие характеристики героизма: каждое его проявление связано с уровнем опасности, превышающим границы ожидаемого; все его виды подразумевают готовность попасть в опасную ситуацию; и актер всегда преодолевает серьезный страх и действует решительно [27]. Авторы различают три формы героического действия — военную, гражданскую и социальную [26]: условно «военные герои» рискуют жизнью и здоровьем по долгу службы (полицейские, пожарные, спасатели), гражданские герои — по личным убеждениям, а социальные герои идут на иные жертвы (серьезные финансовые последствия, утрата социального статуса, долговременные проблемы со здоровьем, общественное порицание) [29]. Соответственно, авторы предложили 12 героических подтипов и ситуаций, которые требуют героиче-

ских поступков [26]: военный и гражданский героизм (связан с физическим риском) и 10 вариантов социального героизма — религиозные и политико-религиозные деятели, мученики, политические и военные лидеры, авантюристы/первооткрыватели, совершающие научные открытия, добрые самаритяне, неожиданные победители в трудных ситуациях, бюрократические герои и информаторы [12]. Конечно, данный перечень несколько произволен и отражает взгляды исследователей, однако хорошо «работает» в эмпирических исследованиях, тем более что выделенный авторами «социальный героизм» сегодня стал предельно актуален в формате «повседневного героизма».

Например, при участии Зимбардо в Венгрии было проведено исследование того, как люди понимают (и разграничивают) героизм и повседневный героизм [33]: более чем тысяча респондентов в возрасте от 15 до 75 лет назвала пять слов/словосочетаний, описывающих героя (одна половина выборки) или повседневного героя (вторая половина выборки), т.е. применялся метод ассоциаций. Выделенные по итогам опроса характеристики сопоставлялись по критериям масштаба, публичности, сложности, распространенности и особых возможностей (Табл. 1).

Таблица 1

Сравнение понятий «герой» и «повседневный герой»

Характеристика	Герой	Повседневный герой
Масштаб	Влияет на большое количество людей (одно событие оказывает трансформирующее воздействие и вдохновляет)	Оказывает локальное/ограниченное влияние на общество
Публичность	Достигает известности и пересекается со знаменитостями, образцами для подражания, спортивными звездами и лидерами	Остается незамеченным
Сложность	Сталкивается со значительными жертвами или риском для жизни	Сталкивается с социальным вызовом
Распространенность	Героические поступки случаются изредка/в особых обстоятельствах	Повседневный героизм возможен в привычных ситуациях
Особые возможности	Герой ассоциируется с особыми способностями или неординарным характером	Повседневный герой не обладает особыми чертами или выдающимися способностями

Ассоциации с понятием «герой» в основном были абстрактными: храбрый, самоотверженный, сильный, полезный, бескорыстный, стойкий, честный, смелый и жертвенный; среди конкретных ассоциаций доминируют «воин», «ролевая модель» и «спаситель». Ассоциации с повседневным героем также многообразны: абстрактные — полезный, храбрый, бескорыстный,

самоотверженный, выносливый, скромный, честный, внимательный, любящий, добрый и решительный (ценности); конкретные — пожарный, санитар, мать и врач (роли и профессии). Характеристики «полезный», «храбрый», «самоотверженный» и «честный» относятся как к герою, так и к повседневному герою, но для героя респонденты чаще выбирают определения/эпитеты, а для повседневного героя — чаще профессии, социальные роли или конкретных персонажей. Иными словами, социальные представления о героизме — это набор абстрактных ценностей и характеристик, где отсутствуют четкие границы с такими родственными терминами, как «знаменитости», «звезды», «образцы для подражания» и «мученики», что, в частности, противоречит разделению героических поступков на «героизм с большой буквы» и «героизм с маленькой буквы» [25].

В целом эмпирическое изучение героизма сосредоточено на поиске ответов на два основных вопроса: зачем людям нужны герои и что делает человека героем в глазах общества. Так, Дж. Андерсон [20] провел анализ сообщений о вручении высшей военной награды США — медали почета: с 1863 по 1979 годы были награждены 3369 человек, из них случайным образом были выбраны 337 награжденных, и три «эксперта» систематизировали цитаты об их военных подвигах. В Таблице 2 представлены результаты этой работы — от наиболее частого «подвига» к самому редкому. Преодоление себя оказалось главным основанием награждения, особенно в контексте военных действий — это тип «преодолевший трудности/неожиданный победитель» или «герой-вдохновитель». На втором и третьем местах — героические поступки, присущие героям-воинам и героям-спасателям, остальные можно отнести к героям-вдохновителям. Исследование интересно тем, что в центре внимания находятся герои-воины (речь идет о военной награде), но больше всего наград были выданы за проявления героизма, напрямую не связанные с военной деятельностью, — за преодоление себя.

Таблица 2

Подвиги награжденных героев

Описание	Название
Преодолеывает травмы/болезни	Преодоление травмы
Освобождает/спасает кого-то	Спасение жизни
Рискует жизнью, подвергает себя опасности	Принятие опасности
Принимает командование, берет на себя руководство	Принятие командования
Остается победителем, когда все против него	Победа при небольших шансах
Не упускает возможностей	Использование возможностей
Предан долгу	Преданность долгу
Подает пример	Личный пример

Р. Джонсон [32] провел аналогичное исследование гражданских наград (не по долгу службы) на основе таких сведений, как привела ли спасательная операция к смерти героя или тех, кого он пытался спасти; возраст и пол спасателя и спасаемого; род занятий и место жительства спасателя; родство между спасателем и спасенным или были ли они знакомы. В 1989 по 1995 годы Фонд Карнеги признал героями 676 человек, 92 % героических поступков совершили мужчины; женщины чаще спасали родственников или знакомых, а мужчины — незнакомых; почти каждая пятая попытка спасения приводила к гибели спасателя. Среди спасателей больше жителей небольших городов и сел, что объясняется теорией взаимного альтруизма [37]: люди поступают альтруистично, надеясь, что другие поступят с ними так же, когда они будут в этом нуждаться.

В 2014 году был проведен опрос, чтобы выяснить, кого американцы считают героем (1) — респондентам предлагалось ответить на открытый вопрос. Каждый третий (32 %) назвал героем члена семьи (26 % — родителей), 21 % — военных, 19 % — религиозных деятелей и/или божеств, 18 % — врачей и сотрудников экстренных служб, 17 % — президентов США, 12 % — общественных активистов, 11 % — знаменитостей. Также респондентам было предложено выбрать из списка причины, почему того или иного человека можно считать героем: поступает правильно, несмотря на личный риск (76 %); не сдастся, пока не достигнет цели (65 %); сохраняет спокойствие в кризисной ситуации и делает больше, чем от него ожидают (по 64 %); меняет общество к лучшему (63 %); преодолевает невзгоды (61 %); не ждет признания и благодарности (57 %) — по сути, речь идет о герое-вдохновителе. Хотя американцы называют героями военных, в условном «рейтинге героев» лидируют религиозные деятели/божества, политические деятели и активисты, и далеко не все представленные в перечне персоналии обладают названными «героическими качествами», т.е. наблюдается расхождение между представлениями о герое и тем, кого конкретно можно назвать героем. Сопоставление списка личностей, которых американцы считают героями, с официальным списком героев, который размещен на сайте Министерства внутренних дел США (2) (31 человек), показало не так много совпадений: президенты Р. Рейган, А. Линкольн и Дж. Вашингтон, генерал Дж. Паттон, активисты Б. Грэм и М.Л. Кинг. Дело в том, что на сайте МВД США указаны исторические деятели, а простые люди считают героями современников или культовых персонажей, любые классификации героев весьма условны, и представления о героизме неоднозначны (не все «официальные» герои подходят под обыденные типы и трактовки героизма).

В 2018 году С.Т. Эллисон провел онлайн-опрос 202 представителей поколения Y (миллениалов) — рожденных с 1980 по 2000 годы — в США. Респондентам предлагалось выбрать качества, которыми должен обладать герой: умный (56 %), вдохновляющий (52 %), сильный (50 %), харизматичный

(42 %), самоотверженный (33 %), жизнерадостный (39 %), заботливый (23 %), надежный (16 %). Эллисон сделал вывод, что миллениалы ценят силу и интеллект, видимо, как вдохновляющие на свершения [17]. Согласно результатам исследования 2019 года, люди, совершившие героические поступки, обладают четырьмя общими чертами: ранее задумывались о том, как будут действовать в случае, если понадобится их помощь; не делят людей на «своих» и «чужих», испытывают сочувствие даже к тем, кто не похож на них; регулярно помогают окружающим (повседневный героизм); у них есть опыт, вселяющий уверенность, что им удастся разрешить рискованную ситуацию [36].

В России относительно немного исследований посвящено героизму (даже если учитывать близлежащие темы): опрос ВЦИОМ «Герой нашего времени» в 2007 году (3); проект ФОМ и телеканала «Россия» «Исторические деятели России, оказавшие наибольшее влияние на судьбу страны» в 2008 году (4); «Рейтинг героев» ФОМ за 2009 год (5); опрос ВЦИОМ о качествах героя в 2019 году (6); проект ВЦИОМ в 2020 году — россияне называли людей года (7) и несколько схожих опросов (8–10) [см. подробнее в: 13]. Так, в 2019 году главными качествами «героя нашего времени» россияне назвали: честность, порядочность, справедливость и ответственность (36 %), доброжелательность и человечность (19 %), активность и коммуникабельность (18 %), храбрость и мужество (13 %), равнодушие и альтруизм (10 %) (6). Человек, олицетворяющий 2020 год, — честный, порядочный и справедливый (13 %), скорее всего врач или учитель (9 %), активный, коммуникабельный, инициативный и целеустремленный (8 %), храбрый, бесстрашный, сильный характером (8 %). Качества героя незначительно отличаются от опросов прошлых лет, но акцент был сделан на профессиях врачей и учителей: в условиях пандемии чаще всего героями года россияне называли медиков (55 %), сотрудников МЧС (31 %), вирусологов и разработчиков вакцины (22 %). К антигероям россияне отнесли спекулянтов, которые завышали стоимость лекарств и создавали дефицит продуктов и медикаментов (44 %), паникеров (30 %), политиков, зарабатывающих очки на критике пандемийных ограничений (21 %), ковид-диссидентов (19 %) и руководителей регионов, не справившихся с пандемией коронавируса (11 %) (11).

Ежегодно ВЦИОМ публикует результаты опросов россиян о самых значимых фигурах года. Конечно, о героях и героизме в классическом смысле речь, как правило, не идет, однако подразумевается указанное выше свойство героического — выделение из общей массы (Табл. 3). За период с 2008 по 2021 годы наиболее устойчивыми оказались представления о главном политическом деятеле страны — им неизменно остается В.В. Путин. Представления о самых популярных спортсменах меняются чаще всего, поскольку зависят от успехов на ежегодных соревнованиях: исключениями могут стать ситуации, когда спортсмен попадает в медийный скандал или участвует в рейтинговых телешоу. То же самое можно сказать о медийных

персонах, которые чаще других оказываются на виду у широкой общественности по самым разным причинам (скажем, Д. Хворостовский был назван музыкантом 2017 года вследствие своей трагической смерти (причем за месяц до опроса), а А. Градский — по той же причине в 2021 году. Видимо, задавать респондентам прямой вопрос о том, кого они считают знаковой личностью (или героем), нецелесообразно, так как среднестатистические ответы будут обусловлены не столько убеждениями, сколько медийной повесткой.

Таблица 3

Итоги года в лицах (2008–2021)

Год	Политик	Спортсмен	Музыкант	Писатель	Актер
2008	Путин (60 %)	Аршавин (18 %)	Билан (17 %)	Солженицын (7 %)	Хабенский (14 %)
2009	Путин (50 %)	Аршавин (18 %)	Басков (8 %)		Хабенский (7 %)
2010	Путин (55 %)	Аршавин (11 %)	Киркоров (8 %)	Донцова (8 %)	Безруков (4 %)
2011	Путин (38 %)	Аршавин (5 %)	Киркоров (11 %)	Донцова, Акунин (3 %)	Безруков (9 %)
2012	Путин (54 %)	Плющенко (9 %)	Михайлов (9 %)	Донцова (8 %)	Безруков (7 %)
2013	Путин (44 %)	Плющенко (10 %)	Киркоров (6 %)	Донцова (6 %)	Безруков (7 %)
2014	Путин (71 %)	Плющенко (6 %)	Крутой (5 %)	Донцова (4 %)	Нагиев (5 %)
2015	Путин (74 %)		Киркоров (6 %)		Безруков, Хабенский (5 %)
2016	Путин (64 %)	Исинбаева (8 %)	Киркоров (7 %)	Донцова (3 %)	Козловский, Безруков (5 %)
2017	Путин (58 %)	Шипулин, Овечкин, Медведева (4 %)	Хворостовский (14 %)	Донцова, Акунин (2 %)	Безруков, Хабенский (5 %)
2018	Путин (46 %)	Загитова, Медведева (11 %)	Киркоров (10 %)	Донцова, Пушкин (2 %)	Безруков (8 %)
2019	Путин (46 %)	Нурмагомедов, Загитова (7 %), Дзюба (6 %)	Киркоров, Мацуев (5 %)	Донцова, Пушкин (2 %)	Петров, Хабенский (4 %)
2020	Путин (38 %)	Нурмагомедов (10 %), Дзюба (8 %)	Киркоров (6 %)	Прилепин (3 %) и Акунин (2 %)	Хабенский (5 %), Петров (4 %)
2021	Путин (38 %)	Аверины, Медведев (4 %), Большунов (3 %)	Градский (9 %), Киркоров (4 %)	Пушкин, Прилепин, Пелевин (2 %)	Хабенский (4 %), Петров, Безруков (3 %)

В 2022 году многие категории были исключены из опроса, в частности «политик года» и рейтинги спортсменов, писателей и актеров. Из традиционных рубрик остался только раздел «музыканты года», среди которых лидируют Газманов (14 %) и Shaman (13 %), а Киркоров набрал 8 %. Однако респон-

денты отвечали на вопросы о том, кого считают героем — военнослужащих в горячих точках (54%), врачей (38%) и сотрудников МЧС (32%) — и какие качества отличают героя: отважность, героизм и смелость (9%); патриотизм и верность родине (7%). В сравнении с 2020 годом респонденты стали чаще выбирать волонтеров и соцработников (20% против 15%), что может быть связано со специальной военной операцией (10).

В целом за прошедшее десятилетие наиболее значимые герои прошлого и настоящего в стране не изменились (перечень, а не уровень популярности). С 1989 года к самым выдающимся личностям всех времен и народов россияне относят И. Сталина (39%), В. Ленина (30%), А. Пушкина (23%), Петра I (19%) и В. Путина (15%) (9) [2]. Хотя представления о героях заметно различаются по поколениям, ряд исторических личностей важен для всех возрастных групп (И.В. Сталин, В.В. Путин, А.С. Пушкин, В.И. Ленин, Петр I и др.), т.е. можно предположить, что в массовом сознании сложился устойчивый образ «героя своего времени» (Табл. 4).

Таблица 6

**Самые выдающиеся люди всех времен и народов
(в %, открытый вопрос, список ранжирован по данным за май 2021 года)**

Персона	1994	1999	2003	2008	2012	2017	2021
И. Сталин	20	35	40	36	42	38	39
В. Ленин	34	42	43	34	37	32	30
А. Пушкин	23	42	39	47	29	34	23
Петр I	41	45	43	37	37	29	19
В. Путин			21	32	22	34	15
Ю. Гагарин	8	26	33	25	20	20	13
Г. Жуков	14	20	22	23	15	12	12
Л. Брежнев	6	8	12	9	12	8	10
А. Эйнштейн	5	6	7	7	7	7	9
Д. Менделеев	6	12	13	13	12	10	8
М. Ломоносов	13	18	17	17	15	10	8
А. Сахаров	17	8	9	6	6	2	7
Л. Толстой	8	12	12	14	24	12	7
А. Суворов	18	18	16	16	12	10	7
Екатерина II	10	10	11	8	11	11	6
М. Лермонтов	5	9	10	9	8	11	6
М. Кутузов	11	11	10	11	12	7	5
Наполеон I	19	19	13	9	13	9	5
С. Королев	6	9	11	10	4	5	5
А. Гитлер	9	7		6	10	5	5

По данным опроса, проведенного в феврале 2021 года, школьники (6–11 классы) считают героями, в первую очередь, своих родителей, бабушек и дедушек (26 %), на втором месте персонажи кино и мультфильмов — Железный Человек, Человек-Паук и Наруто (10 %); далее идут герои Великой Отечественной войны и современные военные (5,4 %), Ю. Гагарин (3 %), В. Путин (2,6 %) и врачи (2,4 %), сотрудники МЧС и полиции (2,1 %), спортсмены и зарубежные актеры (2 %); по 1 % набрали маршалы Г. Жуков и М. Кутузов, В. Ленин и З. Космодемьянская; 23,4 % школьников не смогли назвать своих героев (12). Несмотря на постоянно звучащие в СМИ опасения старших поколений о нравственном облике современной молодежи, российские студенты в целом поддерживают идеи подвига, жертвенности и героического образца [3]: так, 73 % опрошенных студентов согласны с тем, что «человек должен быть готов к подвигу каждую минуту», т.е. поддерживают фундаментальную советскую идею «будь готов». Однако прямые вопросы в изучении представлений о героизме вряд ли достаточны — вероятнее всего, ответы респондентов воспроизводят устойчивые социальные стереотипы о героизме, а не их личное мнение. Кроме того, большая часть исследований героизма ориентирована скорее на «идентификацию» героев, чем на поиски ответов на вопросы, почему люди «назначают»/считают кого-то героем и какой смысл вкладывают в само понятие «герой».

В 2020 году мы провели всероссийский онлайн-опрос с помощью собственного инструментария: были опрошены представители четырех возрастных групп — 14–19 лет, 20–29, 30–49 и 50–69 (N=800); цель — выявление, систематизация и сопоставление представлений о героизме у российских поколений. В 2022 году было проведено повторный опрос на основе того же инструментария и выборки — чтобы сравнить данные.

Согласно результатам опроса 2020 года, под героизмом респонденты понимают, прежде всего, «самопожертвование, способность к подвигу» (59 %), «самоотверженность, мужество, храбрость» (57 %) и «стремление в любой ситуации бороться за справедливость, защищать слабых» (41 %). Реже всего героизм трактуется как «вершина добродетели, идеальный тип поведения, на который должен ориентироваться каждый человек» (18 %), особенно в старшей группе: 19 % респондентов в возрасте 14–19 лет и 9 % 50–69-летних. Вариант «общее положительное качество личности, концентрация физических, психических, духовных и нравственных сил» выбрал каждый четвертый (24 %), и наибольшие различия наблюдаются между группой 20–29-летних (29 %) и 50–69-летних (17 %). В 2022 году распределение трактовок героизма изменилось незначительно, но сократились доли самых популярных вариантов: «самоотверженность, мужество, храбрость» (48 %), «самопожертвование, способность к подвигу» (46 %), «стремление в любой ситуации бороться за справедливость, защищать слабых» (41 %), «вершина добродетели, идеальный тип поведения, на который должен ориентировать-

ся каждый человек» (19 %). Причем разброс ответов самой младшей и самой старшей групп увеличился: последний вариант выбрало 29 % респондентов в младшей группе и лишь каждый десятый в старшей. Вариант «стремление в любой ситуации бороться за справедливость, защищать слабых» в самой старшей группе выбрало 28 % в 2020 году и 34 % в 2022, а в группе 30–49-летних он, напротив, утратил позиции (соответственно, 46 % против 33 %).

Респондентам был предложен список суждений, с которыми нужно было выразить свое согласие/несогласие (Табл. 5).

Таблица 5

Согласие с суждениями (в %)

Определения	2020	2022	Ранг
Героические поступки во благо других могут сделать человека счастливым	88,9	83,5	1
Герой никогда не руководствуется собственной выгодой	85,2	80,9	1
Героические поступки как преодоление себя могут сделать человека счастливым	84,3	80,3	1
Героизм — это проявление любви: человек способен на героические поступки ради тех, кого любит (родители, супруг/супруга, дети)	84,2	83,4	1
Героизм не обязательно связан с риском, это может быть помощь другим людям, например, благотворительность	78,3	83	2–1
Любой человек может стать героем, если его правильно воспитать	77,9	77	2
Большинство людей способны на героические поступки — нужен лишь правильный настрой и соответствующие обстоятельства	75,8	73,9	2
Героизм — многогранное понятие: герой для одних может быть злодеем для других	75,3	80	2–1
Героизм — это проявление любви к своей родине, народу	73,4	70,4	2
Герой не тот, кто выполняет служебный долг, а тот, для кого героический поступок не является само собой разумеющимся	72,4	73	2
Герой не может поступать несправедливо по отношению к другим	69,1	64,2	3
Человека нельзя считать героем, если он афиширует свои подвиги (совершает их напоказ)	66,3	63,5	3
Героями можно назвать тех, кто честно и усердно выполняет свою работу	61,7	66,1	3
Герой — это собирательный образ, отражающий главные черты своего поколения	59,1	59,8	3
Герой должен рисковать собой, чтобы считаться героем	45,2	39,6	4
Сегодня настоящих героев можно увидеть только в кино	20,6	19,4	5

Если условно проранжировать утверждения по доле выбравших их респондентов, то распределение трактовок героя будет следующим:

1. Свыше 80 % респондентов считают, что «героические поступки во благо других могут сделать человека счастливым» (89 % в 2020 году и 84 % — в 2022), как и «героические поступки как преодоление себя» (84 % и 80 %; чаще так считают женщины — 87%/81 % против 83%/77 %); «герой никогда не руководствуется собственной выгодой» (85 % и 81 %); «героизм — это проявление любви» (84 % и 83 %). В 2022 году в эту группу вошли трактовки героизма как «необязательно связанной с риском помощи другим» (83 % против 78 % в 2020 году; в 2022 году наблюдается разрыв между самой старшей и самой младшей группами: 72 % против 90 %, хотя в 2020 году с этим суждением согласился 61 % 50–69-летних респондентов); и «многогранного понятия: герой для одних может быть злодеем для других» (80 % и 75 %; в самой старшей группе доля согласных с этим утверждением возросла с 67 % до 75 %), хотя изменения показателей незначимы.
2. От 70 % до 80 % опрошенных полагают, что при правильном воспитании «любой может стать героем» (78 % в 2020 году и 77 % — в 2022; чаще так считают 20–29-летние — 83 %), «большинство людей способны на героические поступки» (76 % и 74 %; реже с этим согласны представители самого старшего поколения — 65 % и 63 %), «героизм — это проявление любви к своей родине, народу» (74 % и 70 %; чаще так считают респонденты в самой старшей группе — 82 % и 77 %, а не в самой молодой — 64 %), но не из служебного долга (72 % и 73 %).
3. От 59 % до 69 % респондентов уверены, что «герой не может поступать несправедливо» (69 % и 64 %; среди 50–69-летних снизилась доля согласных с этим определением — с 81 % до 67 %) и «афишировать свои подвиги/совершать их напоказ» (66 % и 64 %; чаще так считают мужчины — 78 % против 59 %, а также старшие поколения — почти 80 % старше 30 лет и лишь каждый второй — младше 30 лет), он «честно и усердно выполняет свою работу» (61 % и 66 %; чаще подростки, чем респонденты в самой старшей группе — 74 % против 51 %), но в то же время «герой — это собирательный образ своего поколения» (59 % и 60 %; возросла доля разделяющих это убеждение в самой старшей группе — с 41 % до 52 %).
4. Со значительным отставанием от перечисленных качеств героя следует риск как обязательный элемент героизма (45 % и 40 %; чаще так считают мужчины — 52 % против 39 % и 45 % против 34 %).
5. Лишь примерно каждый пятый опрошенный (21 % и 19 %) пессимистично полагает, что в наше время «настоящих героев можно увидеть только в кино» (доля уверенных в этом подростков возросла с 11 % до 19 %).

Иными словами, главными качествами героя россияне считают бескорыстную способность преодолеть себя во благо других, которая делает человека счастливым, причем героический поступок необязательно связан с ри-

ском и не всегда воспринимается однозначно, поэтому большинство людей способны на героические поступки — при должном воспитании, правильном настрое и в соответствующих обстоятельствах. Несколько менее значимы для героя неприятие несправедливости и показушности, а также рутинный характер героизма и олицетворение главных черт своего поколения.

Респондентам было предложено выбрать из списка поступки, которые они считают героическими (Рис. 1).

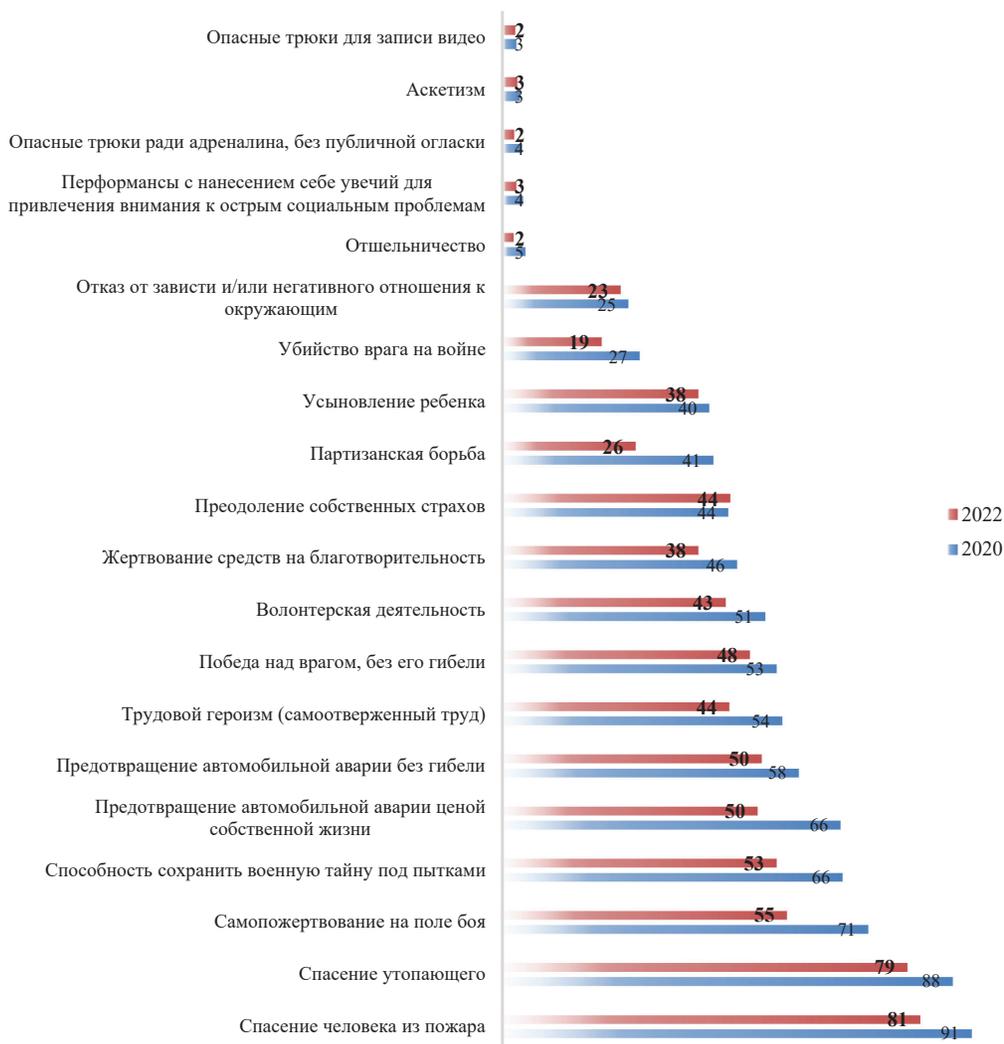


Рис. 1. Героические поступки (в %)

Основными и неизменными героическими поступками респонденты считают спасение человека в экстренной ситуации — из пожара (91 % в 2020 году и 81 % — в 2022) или от утопления (88 % и 79 %). Изменение

данных и всех прочих показателей, видимо, следует объяснять объективными социальными реалиями (с февраля 2022 года многие из перечисленных вариантов превратились из весьма абстрактных в предельно возможные «здесь и сейчас»), потому что они затронули все определения героического поступка, хотя и в несколько разной степени. Так, на условном втором месте оказались самопожертвование на поле боя (71 % и 55 %) и сохранение военной тайны под пытками (66 % и 53 %), предотвращение автомобильной аварии ценой жизни (66 % и 50 %) или без гибели (58 % и 50 %), трудовой героизм (54 % и 44 %), победа без уничтожения врага (53 % и 48 %) и волонтерство (51 % и 43 %). На условном третьем месте — благотворительность (46 % против 38 %), преодоление своих страхов (по 44 %), усыновление ребенка (40 % и 38 %) и партизанская борьба в 2020 году (41 %), но не в 2022 (26 %). На условном четвертом месте — убийство врага на войне (27 % и 19 %) и отказ от зависти/негативного отношения к окружающим (25 % и 23 %). Все прочие «самовыражения» россияне героизмом не считают — отшельничество и аскетизм, опасные перформансы ради адреналина, заработка или иных целей.

Респондентам было предложено оценить примеры героизма с точки зрения того, насколько они соответствуют их личным представлениям, и был составлен следующий условный рейтинг «героев» (он практически не изменился в 2022 году):

1. обычные люди, которые пытаются спасти других, сознательно подвергая себя опасности по велению души (82 %);
2. люди, по долгу службы участвующие в военных или спасательных операциях и готовые к серьезным травмам или гибели (военные, полицейские, сотрудники МЧС, пожарные и т.д.) (72 %); а также люди, возглавляющие группу в сложные периоды (война, техногенная катастрофа и др.) ради ее выживания (68 %);
3. альтруисты, первыми приходящие на помощь (59 %; реже так считают представители самой старшей группы — 45 %); люди, добившиеся успеха и/или признания, несмотря на физические или иные ограничения, и став примером для других (58 %); исследователи неизвестных пространств/новых методов (53 %);
4. сотрудники крупных организаций, противостоящие системе ради высоких целей, несмотря на давление (46 %); публично разоблачившие незаконную или неэтичную деятельность, чтобы изменить ситуацию, а не ради признания/вознаграждения (42 %; реже представители самой старшей группы — 33 %);
5. религиозные лидеры, запустившие масштабные политические изменения, или политики, чья система убеждений меняет общество (18 %; реже представители самого старшего поколения — 8 %); люди, посвятившие себя религиозному служению, аскеты, отказавшиеся от мирских благ (17 % и 8 %).

Соответственно, самыми важными качествами героя для всех поколений являются (Рис. 2): прежде всего, сила духа (77 % в 2020 году, 68 % — в 2022); на условном втором месте — справедливость (62 % и 59 %), самоотверженность (61 % и 54 %), ответственность (56 % и 54 %) и честность (56 % и 55 %); на третьем — ум (40 % и 41 %) и надежность (49 % и 45 %); на четвертом — скромность (28 % и 25 %), физическая сила (19 % и 23 %) и умение вдохновлять (16 % и 18 %), а также в 2022 году жизнерадостность (15 %), в 2020 году вошедшая в пятую группу (11 %) вместе с харизмой (8 % в 2020 году, 10 % — в 2022), чувством юмора (8 % и 11 %), хитростью (7 % и 9 %) и авантюризмом (5 %). Иными словами, «ядром» личности героя россияне считают силу духа, а также самоотверженное, ответственное и честное служение справедливости. Социально-демографические различия здесь незначительны: женщины и молодые поколения несколько больше ценят честность и справедливость, тогда как мужчины и старшие поколения — самоотверженность; 20–29-летние — ум и ответственность, подростки — харизму и хитрость; старшие поколения — надежность, чувство и авантюризм, но не умение вдохновлять. Изменения характеристик героя в 2022 году наблюдаются, но это незначительные колебания ряда показателей (снизились/повысились; исключение — «сила духа»), но не «ядра» и «периферии» его личных качеств.

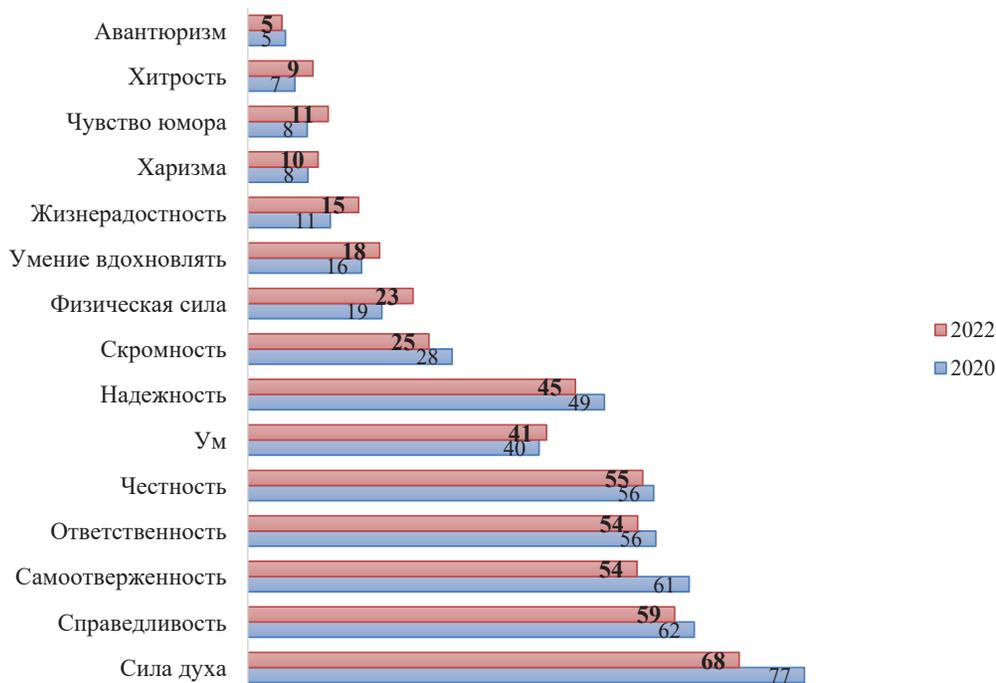


Рис. 2. Главные качества героя (в %)

В анкету был включен открытый вопрос о понимании словосочетания «повседневный героизм», который часто встречается в работах западных ученых. Для молодых поколений почти в равной степени характерны три трактовки: рутинные хорошие поступки (уступить место в транспорте, перевести пожилого человека через дорогу, благотворительность); выполнение своей работы людьми, чья профессиональная деятельность связана с риском (МЧС, военные, врачи); преодоление себя. В 2020 году 20–29-летние чаще называли врачей «повседневными героями», в 2022 — профессиональных спасателей; 30–49-летние чаще затруднялись с ответом на данный вопрос, но в целом считают повседневным героизмом и ежедневные хорошие поступки (чаще, чем подростки), и честное выполнение трудовых обязанностей; представители самой старшей группы в подавляющем большинстве относят к повседневному героизму честный и усердный труд на своем рабочем месте, а в 2022 году стали отмечать и умение сохранять положительные качества в тяжелых жизненных условиях.

Респондентам было предложено завершить предложение «Герой никогда не будет...»: в 2020 году среди закрытий доминировали «врать», «выставлять свои поступки напоказ», «обижать слабых», «действовать ради выгоды», «бояться»; 30–49-летние чаще добавляли «не будет одинок» и «не будет забыт». В 2022 году принципиальных изменений в ответах не наблюдается, за исключением того, что чаще стал встречаться вариант «хвастаться своими подвигами» во всех возрастных группах. Закрытия данного неоконченного предложения близки определению лжегероя: «выставляет свои поступки напоказ»; «присваивает чужие заслуги»; «ради внимания окружающих придумывает подвиги, которых не совершал»; «совершает героические поступки ради выгоды». Однако большинство респондентов затруднились охарактеризовать антигероя (в литературе — полная противоположность героя, человек с отрицательными чертами, злодей), видимо, не видя его принципиальных отличий от лжегероя (в целом определения антигероя более кинематографичны, а лжегероя — близки реальной жизни).

Завершая предложение «Любой человек может стать героем, если...», большинство 14–19-летних указало «если захочет» или «у него правильное воспитание»; 20–29-летние чаще указывали конкретные качества (храбрость, сила духа, самоотверженность, честность; в 2022 году добавились доброта, справедливость и отсутствие эгоизма); 30–49-летние чаще отмечали храбрость и веру в собственные силы, а старшее поколение — соответствующие обстоятельства, но только при условии правильного воспитания. Соответственно, в ответах на вопрос, кого бы респонденты поставили в пример современным детям, в контексте предшествующих вопросов о героизме, однозначно лидируют участники Великой Отечественной войны (78 % в 2020 году и 71 % — в 2022) и сотрудники МЧС (69 % и 64 %), т.е. «военный» и «спасительный» героизм по долгу

службы/спасения беззащитных в экстремальных условиях; на втором месте — «простые трудяги, честно выполняющие свою работу» (59 % и 57 %), т.е. повседневный «трудовой» героизм; далее в порядке снижения долей ответивших идут представители сложных, ответственных и социально наиболее «видимых» профессий — космонавты (48 % и 41 %), профессиональные военные (38 % и 39 %), ученые (36 % и 35 %), полицейские (28 % и 27 %) и спортсмены (28 % и 33 %). Реже всего в качестве примера упоминаются представители таких профессиональных групп, как «успешные бизнесмены» (12 % и 15 %) и музыканты (8 % и 9 %), а также актеры (6 % и 7 %) и политики (4 % и 5 %), причем «показательный» потенциал двух последних групп даже меньше, чем сказочных персонажей из приключенческих фильмов (8 %) или кинематографических супергероев (8 % и 7 %). Принципиальных поколенческих различий здесь не прослеживается, но подростки чаще выбирали успешных бизнесменов, политиков, полицейских, музыкантов и актеров, а самое старшее поколение — солдат-участников Великой Отечественной войны и космонавтов; в 2022 году респонденты до 30 лет стали реже указывать солдат-участников Великой Отечественной войны (две трети против 64 %).

В анкету были включены вопросы, связанные с кинематографом как популяризатором примеров/форматов героического поведения [14]. В 2020 году респондентам было предложено назвать пять кинофильмов, в которых, на их взгляд, персонажи совершают героические поступки, указать конкретного персонажа и поступок, благодаря которому его можно считать героем, жизнь какого персонажа они хотели бы прожить, и на кого хотели бы быть похожи. Респонденты либо затруднялись ответить, либо отвечали столь разнообразно, что систематизировать полученные данные не представлялось возможным. Поэтому в 2022 году в анкету были включены два других вопроса, связанных с кинематографом: «Какие герои больше всего отталкивают вас в кинофильмах?» и «Как вам кажется, каких художественных фильмов сегодня не хватает в России?».

Условный рейтинг отталкивающих персонажей возглавили «предатели» (43 % в 2020 году, 41 % — в 2022); почти каждый третий респондент назвал самовлюбленных/надменных (31 %), трусов (30 % и 28 %) или алчных/меркантильных (29 % и 27 %), а также жестоких (30 %, но 23 % в 2022 году); примерно каждый четвертый — льстивых (26 % и 24 %), чрезмерно глупых (25 %, но 20 % в 2022 году), завистливых (24 % и 26 %), избалованных (23 %) и эгоистичных (22 % и 26 %); каждый пятый — безразличных к чужим проблемам (21 %), циничных (20 % и 18 %), паникеров (18 %), слишком положительных (18 % и 20 %), мстительных (17 % и 18 %) и властолюбивых (17 % и 18 %); 16 % — занудных, 14 % — ленивых, 13 % — безответственных по отношению к своей работе, т.е. отталкивают респондентов, прежде всего активно и негативно отвратительные персонажи. Реже всего опрошенные негативно

воспринимают неспособных постоять за себя тихонь, инфантильных, апатичных/депрессивных, безликих/ничем непримечательных или, напротив, резких и бесцеремонных персонажей (каждый десятый), еще реже — чрезмерно оптимистичных, любопытных или рассеянных (менее 6%), т.е. нейтральных или слишком положительных с общепринятой точки зрения персонажей.

Что касается фильмов, которых сегодня не хватает в России, то, по мнению респондентов, это, прежде всего, фильмы про честных и добрых людей (примерно 44%) и про дружбу (37%); каждый третий назвал фильмы про простых тружеников или про вдохновляющих своей жизнью людей, а также про историю России; каждый четвертый — фильмы про борцов с несправедливостью и патриотизм; каждый пятый — про военные подвиги, науку, современное общество и подростков; каждый седьмой — про детей; каждый десятый — про пожилых и российских супергероев, т.е. в обществе очевиден социальный запрос на кинофильмы про повседневную жизнь простых честных и добрых людей в прошлом и настоящем, которые способны дружить, работать и вдохновлять других своим бескорыстным и самоотверженным профессиональным или социальным служением. Это подтверждает реконструированный выше и общий для всех российских поколений приоритетный образ «героя-спасателя», совершающего героический поступок и способного на самопожертвование не по долгу службы, а по велению души, причем этот выбор может сделать человека счастливым. Поколенческие различия проявились, в первую очередь, между самой младшей (14–19 лет) и самой старшей (50–69 лет) группами: хотя все респонденты отдают приоритет именно «герою-спасателю», молодежь склонна к более мирным/повседневным трактовкам героизма, ставя на второе по значимости место «героя-благотворителя», а старшее поколение отдает предпочтение военному героизму — «герою-воину».

Примечания

- (1) Many Americans find their heroes in family members // URL: <https://theharrispoll.com/new-york-n-y-november-6-2014-when-the-harris-poll-asked-american-adults-to-consider-the-top-three-people-they-admire-enough-to-call-a-hero-of-those-who-answered-three-out-of-ten-listed-a-fam>.
- (2) U.S. Department of the Interior // URL: <https://www.doi.gov/american-heroes/heroes>.
- (3) Герой нашего времени. 2007 // URL: <http://gtmarket.ru/news/culture/2007/10/02/2203>.
- (4) Исторические деятели России, оказавшие наибольшее влияние на судьбу страны // URL: <http://bd.fom.ru/report/map/istd2>.
- (5) Рейтинг героев. 2009 // URL: https://bd.fom.ru/report/whatsnew/press_r91209.
- (6) Врач, спасатель и военный: герой нашего времени // URL: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10058>.
- (7) Киркоров, Хабиб, Прилепин и Дудь: россияне назвали ВЦИОМ людей года // URL: <https://www.ridus.ru/news/343904>.
- (8) Итоги 2021 года и ожидания от 2022 // URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/itogi-2021-goda-i-ozhidaniya-ot-2022-go>.
- (9) Самые выдающиеся личности в истории // URL: <https://www.levada.ru/2021/06/21/samy-e-vyda-yushhiesya-lichnosti-v-istorii>.

- (10) Итоги 2022: события, герои, планы на новогодние праздники // URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/itogi-2022-sobytiya-geroi-plany-na-novogodnie-prazdniki>.
- (11) Герои года. 2020 // URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/geroi-goda-2020>.
- (12) Российские школьники назвали своих героев // URL: <https://russian.rt.com/russia/news/834111-shkolniki-opros-geroi>.

Библиографический список/References

1. *Акимов А.Е.* Физика героизма духа // Три ключа. Педагогический вестник. 2004. Вып. 8 / Akimov A.E. Fizika gerioizma dukha [Physics of the spiritual heroism]. *Tri Klyucha. Pedagogicheskyy Vestnik*. 2004; 8. (In Russ.).
2. *Алексеев А.А.* Самые выдающиеся исторические личности по мотивам опросов Левада-центра¹ (1989–2017) / Alekseev A.A. Samye vydayushchiyesya istoricheskie lichnosti po motivam oprosov Levada-tsentra (1989–2017) [The most prominent historical figures according to the Levada Center polls (1989–2017)]. URL: <http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/andrei-alekseev-1/samye-vydayushchiyesya-istoricheskie-lichnosti>. (In Russ.).
3. *Миронец Е.В., Яковлева И.П.* Героизм в представлении студенческой молодежи // Научный журнал КубГАУ. 2016. № 119 / Mironets E.V., Yakovleva I.P. Gerioizm v predstavlenii studencheskoy molodezhi [Heroism in the student youth representations]. *Nauchny Zhurnal KubGAU*. 2016; 119. (In Russ.).
4. *Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.* Толковый словарь Ожегова. 1949–1992 / Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. Tolkovy slovar Ozhegova. 1949–1992 [Ozhegov's Explanatory Dictionary. 1949–1992]. URL: <https://slovarozhegova.ru>. (In Russ.).
5. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога). Екатеринбург, 2000 / Osnovy dukhovnoy kultury (entsiklopedichesky slovar pedagoga). [Fundamentals of Spiritual Culture (Teacher's Encyclopedic Dictionary)]. Ekaterinburg; 2000. (In Russ.).
6. *Плахов В.Д.* Герои и героизм. Опыт современного осмысления вековой проблемы. М., 2008 / Plakhov V.D. *Geroi i gerioizm. Opyt sovremennoy osmysleniya vekovoy problem* [Heroes and Heroism. Contemporary Interpretation of the Age-Old Problem]. Moscow; 2008. (In Russ.).
7. Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. М., 1907 / Polny slovar inostrannykh slov, voshedshih v upotreblenie v russkom yazyke [Complete Dictionary of Foreign Words in the Russian Language]. Moscow; 1907. (In Russ.).
8. *Пропн В.Я.* Морфология волшебной сказки. Л., 2001 / Propp V.Ya. *Morfologiya volshebnoy skazki* [Morphology of the Folktale]. Leningrad; 2001. (In Russ.).
9. Словарь русского языка: в 4-х тт. / Под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1999 / Slovar russkogo yazyka [Dictionary of the Russian Language]: in 4 vols. Ed. By A.P. Evgenieva. Moscow; 1999. (In Russ.).
10. *Соколова Б.Ю.* Проблема дефиниций понятия «герой» // Осознание культуры — залог обновления общества. Вклад современной науки в общечеловеческую культуру. Севастополь, 2009 / Sokolova B.Yu. Problema definitsiy ponyatiya “geroy” [Definitions of the concept “hero”]. *Osoznanie kultury — zalog obnovleniya obshchestva. Vklad sovremennoy nauki v obshchechelovecheskuyu kulturu*. Sevastopol; 2009. (In Russ.).
11. Толковый словарь Ушакова / Tolkovy slovar Ushakova [Ushakov's Explanatory Dictionary]. URL: <https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=10163>. (In Russ.).
12. *Троцук И.В., Субботина М.В.* Социологическая трактовка понятий со сложной коннотацией: взаимосвязь героизма и счастья // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2019. № 12 / Trotsuk I.V., Subbotina M.V. Sotsiologic

¹ Российская негосударственная исследовательская организация «Аналитический центр Юрия Левады» («Левада-Центр») внесен Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

- heskaya traktovka ponyatiy so slozhnoy konnotatsiyey: vzaimosvyaz geroizma i schastiya [Sociological interpretation of concepts with a complex connotation: Relationship of heroism and happiness]. *Gumanitarnye, Sotsialno-Ekonomicheskie i Obshchestvennye Nauki*. 2019; 12. (In Russ.).
13. Троцук И.В., Субботина М.В. Оценка влияния кинематографа на социальные представления о героизме: апробация одного подхода // Коммуникология. 2018. Т. 6. № 4 / Trotsuk I.V., Subbotina M.V. Otsenka vliyaniya kinematografa na sotsialnye predstavleniya o geroizme: aprobatsiya odnogo podkhoda [Assessment of cinematographic influence on social representations of heroism: Approbation of an approach]. *Communikologiya*. 2018; 6 (4). (In Russ.).
 14. Философский энциклопедический словарь. М., 1983 / Filosofsky entsiklopedichesky slovar [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. Moscow; 1983. (In Russ.).
 15. Фрэй Д.Н. Как написать гениальный роман. СПб., 2005 / Frey J.N. *Kak napisat genialny roman* [How to Write a Brilliant Novel]. Saint Petersburg; 2005. (In Russ.).
 16. Шапошникова Л.В. Мудрость веков. М., 1996 / Shaposhnikova L.V. *Mudrost vekov* [Wisdom of the Ages]. Moscow; 1996. (In Russ.).
 17. Allison S.T. Millennials, heroes, and villains: The confluence of generational moral complexity. *Heroes and Villains of the Millennial Generation*. University of Richmond; 2018.
 18. Allison S.T., Goethals G.R. *Heroes: What They Do and Why We Need Them*. Oxford University Press; 2011.
 19. Allison S.T., Goethals G.R. *Heroic Leadership: An Influence Taxonomy of 100 Exceptional Individuals*. New York; 2013.
 20. Anderson J.W. Military heroism: An occupational definition. *Armed Forces & Society*. 1986; 12 (4).
 21. Atkinson C.D.E., Wesselmann E.D., Lannin D.G. Understanding why some whistleblowers are venerated and others vilified. *Heroism Science*. 2022; 7 (2).
 22. Bernstein A. The philosophical foundations of heroism. URL: <http://www.mikementzer.com/heroism.html>.
 23. Efthimiou O., Allison S.T. Heroism science: Frameworks for an emerging field. *Journal of Humanistic Psychology*. 2018; 58 (5).
 24. Efthimiou O. The hero organism: Advancing the embodiment of heroism thesis in the 21st century. S.T. Allison, G.R. Goethals, R.M. Kramer (Eds.). *Handbook of Heroism and Heroic Leadership*. New York; 2017.
 25. Farley F. The real heroes of “The Dark Knight” psychology today. 2012. URL: <https://www.psychologytoday.com/blog/the-peoples-professor/201207/the-realheroes-the-dark-knight>.
 26. Franco Z., Blau K., Zimbardo P. Heroism: A conceptual analysis and differentiation between heroic action and altruism. *Review of General Psychology*. 2011; 15 (2).
 27. Franco Z., Zimbardo P. *Celebrating Heroism and Understanding Heroic Behavior*. Palo Alto; 2006.
 28. Friend S.H., Schadt E.E. Clues from the resilient. *Science*. 2014; 244.
 29. Glazer M.P., Glazer P.M. On the trail of courageous behavior. *Sociological Inquiry*. 1999; 69.
 30. Goethals G.R., Allison S.T. Making heroes: The construction of courage, competence, and virtue. *Advances in Experimental Social Psychology*. 2012; 46.
 31. Hefner P. Embodied science: Recentering religion-and-science. *Zygon*. 2010; 45.
 32. Johnson R.C. Attributes of Carnegie medalists performing acts of heroism and of the recipients of these acts. *Ethology and Sociobiology*. 1996; 17.
 33. Keczer Z., File B., Orosz G., Zimbardo P.G. Social representations of hero and everyday hero: A network study from representative samples. *PLoS*. 2016; 11 (8).
 34. Kinsella E.L., English A., McMahon J. Zeroing in on heroes: Adolescents’ perceptions of hero features and functions. *Heroism Science*. 2020; 5 (2).
 35. Klisanin D. Collaborative heroism: Exploring the impact of social media initiatives. *Media Psychology Review*. 2015; 9 (2).

36. Kohen A., Langdon M., Riches B.R. The making of a hero: Cultivating empathy, altruism, and heroic imagination. *Journal of Humanistic Psychology*. 2019; 59 (4).
37. Trivers R.L. The evolution of reciprocal altruism. *Quarterly Review of Biology*. 1971; 46.
38. Zimbardo P.G. *The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil*. New York; 2007.

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-525-545

EDN: VGUYNS

Russians' ideas of heroes and heroism: Stable and changing components (based on the public opinion polls)*

I.V. Trotsuk^{1,2,3}, M.V. Subbotina¹

¹RUDN University

Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, 117198, Russia

²Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,

Vernadskogo Prosp., 84, Moscow, 119571, Russia

³National Research University Higher School of Economics,

Myasnitskaya St., 20, Moscow, 101000, Russia

(e-mail: irina.trotsuk@yandex.ru; mariya.subbotina.1995@mail.ru)

Abstract. Despite an extensive list of the well-described aspects of heroism, this phenomenon is still understudied in sociology. Most of the projects and publications focus on identifying ‘heroes’ in public opinion or media discourse rather than on explaining why communities/societies ‘appoint’ some people heroes, and what is the conventional meaning of the word ‘hero’. Society has always paid close attention to the so-called ‘outstanding personalities’: there are official and folk heroes in all cultures, and they have always served as a kind of reference group for decision-making and self-identification. Moreover, specific types of heroes serve as one of the cultural system’s means for (self) representation: the most typical hero is often directly related to the society’s ethical complex. The authors systematize the sociologically relevant interpretations of the words ‘hero’ and ‘heroism’ together with the typologies of heroic behavior and identify the contemporary trends in the empirical study of heroism, which are certainly sociological surveys. The second part of the article presents the results of the all-Russian online survey representing four age groups: 14–19-year-olds, 20–29, 30–49 and 50–69 (N=800, 200 respondents per each age group). The survey aimed at identifying and comparing the ideas of different Russian generations about heroes and heroism. Two surveys were conducted — in 2020 and 2022, and the authors focus on the changes in the social representations of the heroic. In general, the older generation names the hero-rescuer and the hero-warrior as the main heroic types, while the younger generation prefers the hero-rescuer and the hero-good-doer. In 2022, respondents were less willing to answer questions about heroes and heroism, especially about manifestations of military heroism, but key social representations of the heroic did not change.

Key words: hero; heroism; types of heroic behavior; types of heroes; social representations; online survey; generational dimension; Russian society; comparative analysis

*© I.V. Trotsuk, M.V. Subbotina, 2023

The article was submitted on 21.02.2023. The article was accepted on 15.05.2023.



DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-546-563

EDN: VKTVAK

Социально-управленческие механизмы внедрения профессионального стандарта педагога: особенности и перспективы*

Н.В. Проказина¹, В.Л. Ланцев²

¹Среднерусский институт управления — филиал РАНХиГС при Президенте РФ,
ул. Октябрьская, 11, Орел, 302028, Россия

²Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина,
ул. Салтыкова-Щедрина, 31, Орел, 302028, Россия

(e-mail: nvprokazina@mail.ru; vic_lan@mail.ru)

Аннотация. Качество образования напрямую зависит от уровня профессиональной подготовки педагогических работников. Для повышения качества образования и профессионализма педагогических работников проводится множество мероприятий, и существенная их часть, в том числе программы национального проекта «Образование», направлены на обеспечение системы профессионального развития педагогического сообщества. Один из инструментов выстраивания траектории личностно-профессионального развития педагогов — профессиональный стандарт. Он внедряется на протяжении последних десяти лет, однако и сегодня наблюдаются сложности и ограничения в его реализации. Устранение возникающих проблем требует системного подхода и особых социально-управленческих механизмов на основе следующей методологии: теория социальных полей П. Бурдьё, концепция персонализированной социокультурной модели управления А.В. Тихонова и диспозиционная теория личности В.А. Ядова. Для выявления специфики социально-управленческих механизмов внедрения профессионального стандарта педагога был проведен анкетный опрос педагогических работников общеобразовательных организаций в Орловской области. Респондентами экспертного опроса выступили руководители образовательных организаций и специалисты муниципальных структур, курирующих систему образования. Вопросы касались осведомленности педагогов о содержании инструментов профессионального развития, отношения к мерам государственной политики, ожиданий от внедрения системы учительского развития и реализации национального проекта «Образование». Результаты исследования говорят об оптимистичном восприятии педагогическими работниками модернизации системы образования, несмотря на неоднозначную оценку ее мероприятий. Очевидна целесообразность развития личностных и профессиональных компетенций педагогов средствами дополнительного профессионального образования: комплекс личностно-профессиональных компетенций — условие восприятия инновационных и управленческих процессов. Социально-управленческие механизмы необходимо выстраивать на основе повышения субъектности педагогов, их интенциональной и деятельностной готовности включиться в процессы модернизации системы образования. Исследование инструментов государственной политики в сфере профессио-

*© Проказина Н.В., Ланцев В.Л., 2023

Статья поступила 29.02.2023 г. Статья принята к публикации 15.06.2023 г.

нального развития педагогов позволило выявить четыре группы механизмов: мотивационные, контрольно-оценочные, организационные и адаптивные. Каждая из групп обладает специфическими чертами, но они взаимосвязаны. Понимание и учет целевых, регулятивных, ресурсных и процедурных особенностей выявленных механизмов позволит минимизировать риски возникновения социальных конфликтов и поддержать социальный порядок в системе образования.

Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога; социально-управленческие механизмы; национальная система учительского роста; национальный проект «Образование»

Одним из наиболее важных аспектов рынка труда является профессиональная подготовка специалистов, способных решать задачи социально-экономического и технологического развития. В современных условиях конъюнктура рынка труда меняется перманентно и достаточно быстро, что требует модернизации подходов к развитию компетенций работников. Система образования должна быть готова эффективно отвечать на запросы разных отраслей, демонстрируя известную долю гибкости. У выпускников образовательных организаций необходимо развивать компетенции, которые позволят адаптироваться к запросам рынка труда, и на протяжении последних десятилетий формируется запрос на изменение подходов к обучению педагогических кадров, особенно учителей общеобразовательных школ, ответственных за развитие ключевых навыков школьников и ориентирующих их на концепцию обучения в течение всей жизни.

Модернизация системы профессионального образования и требований к уровню подготовки специалистов важнейших отраслей потребовала разработки новых управленческих инструментов, в частности, отраслевых профессиональных стандартов, разработка и внедрение которых в России начались более десяти лет назад. Данные документы были призваны определить важнейшие навыки, умения и трудовые действия специалистов конкретных отраслей и помочь им в выстраивании собственной траектории профессионального развития [25]. Еще в 2013 году приказом Министерства труда и социальной защиты был утвержден профессиональный стандарт педагога, но во многих организациях продолжают ориентироваться на единые квалификационные справочники. Положительные эффекты, которые, по мнению разработчиков профстандартов, могли быть достигнуты ранее, до сих пор остаются перспективными направлениями государственной политики в сфере образования и профессиональной подготовки кадров.

Профстандарт педагога представляет интерес по двум причинам. С одной стороны, почти десятилетний период внедрения профстандарта и связанных с ним инструментов позволяет говорить как минимум о промежуточных результатах внедрения, а также выявить риски и оценить перспективы дальнейшего развития профстандартов. С другой стороны, профстандарт педагога является ключевым для деятельности множества специалистов, в том числе ввиду его высочайшей важности для определения вектора личност-

но-профессионального развития учителей, а следовательно, и качества образования детей. Внедрение профстандарта педагога потребовало комплекса управленческих мероприятий для устранения возникших противоречий и достижения ожидаемых результатов. Среди наиболее значимых инициатив следует отметить разработку концепции национальной системы учительского роста и широкомасштабную модернизацию системы образования на всех ее уровнях в рамках национального проекта «Образование». Меры, реализуемые в ходе указанных нововведений, представляют собой ключевые векторы государственной политики в сфере подготовки квалифицированных кадров для системы образования и могут быть отнесены к социально-управленческим механизмам. В управленческой практике неизбежно должны возникать регулятивные механизмы, способные оказывать целенаправленное влияние на проблемные объекты и трансформировать их в соответствии с запросами общества [24]. При этом сам механизм можно рассматривать как комплекс управленческих решений и их практическую реализацию. Многие из инициатив, предложенных для достижения требований профстандарта педагога в рамках национальной системы учительского роста и национального проекта «Образование», применяются в нашей стране впервые, поэтому их изучение может уточнить представления о государственной политике в сфере профессиональной подготовки кадров.

Исходным для нашего исследования выступает положение, что социальные проблемы, в том числе управленческого характера, существуют в социальном пространстве. Встраивая социального индивида в свою систему полей, практик и габитусов, П. Бурдьё приближается к созданию общей теории действия и порядка, прослеживая свойства актора не только на микроуровне отдельного действия, но и на более высоких уровнях социальной реальности (уровень организации и социального института) [2]. В сочетании с теорией социальных полей Бурдьё эвристический потенциал для исследования имеют положения диспозиционной концепции В.А. Ядова: согласно Бурдьё, в социальных полях сближаются индивиды, обладающие сходными диспозициями, а Ядов отмечает, что установки определяют не только эффективность внешней регуляции трудовой деятельности, но и саморегуляции. По мнению А.В. Тихонова, управление само по себе является регулятивным механизмом, поэтому в управленческой практике должны создаваться «искусственные механизмы регуляции», способные оказывать влияние на проблемные объекты и целенаправленно их трансформировать. Всякая социальная проблема порождает социальное тело, которое требуется для ее решения. Ключевой характеристикой социального тела является социальный порядок — набор социальных интеракций в поле решаемой проблемы. При этом социальный порядок «центрирован» — формируется вокруг некоего центра, представляющего собой искусственный субъект управленческой деятельности. Развитие социального тела в образовательном пространстве определяется диспозици-

ями отдельных индивидов, их активностью и возможностями для удовлетворения своих потребностей в поле образования. Предлагаемая управленческая модель может рассматриваться в двух плоскостях: диспозиционной (ценностные установки личности) и интеракционной (социальные связи между индивидами). Поскольку любое воздействие на социальную систему вызывает изменение порядка в ней (может способствовать повышению устойчивости или вызывать дезинтеграцию), в зависимости от активности педагога и широты воздействия на социальное тело организации социально-управленческие механизмы можно разделить на мотивационные, контрольно-оценочные, организационные и адаптивные.

Объектом исследования стали педагогические работники общеобразовательных организаций Орловской области. Анкетирование по вопросам внедрения профстандарта педагога было проведено в конце 2019 — начале 2020 года во всех муниципальных образованиях (N = 364). Выборка репрезентативна по полу и типу образовательной организаций (город/село). Разработанный инструментарий использовался и в экспертном опросе руководителей системы образования — директоров и заместителей директоров общеобразовательных организаций (N = 48), специалистов муниципальных органов исполнительной власти, курирующих образовательные организации (N = 41) и сотрудников организаций дополнительного профессионального образования, отвечающих за мониторинг качества трудовых компетенций педагогов и адресного повышения квалификации (N = 22). В последних двух группах были представлены только те специалисты, которые оценили уровень своей осведомленности по вопросам внедрения и содержания профстандарта педагога, национальной системы учительского роста и проекта «Образование» как максимально высокий. В фокусе исследования находились несколько аспектов социально-управленческих механизмов внедрения профстандарта педагога: основные направления государственной политики в сфере профессионального развития работников общеобразовательных организаций, возможность классификации используемых механизмов, результаты внедрения конкретных инструментов совершенствования личностно-профессиональных компетенций учителей, а значит, и возможности достижения уровня развития специалиста в соответствии с требованиями профстандарта.

Изучение перехода на отраслевой профстандарт показало последовательность государственной политики по повышению качества образования. В частности, профстандарт учителя призван обеспечить повышение эффективности работы педагогов за счет развития их личностно-профессиональных компетенций. В то же время утвержденный в 2013 году документ хотя и декларировал требования к уровню подготовки специалиста, однако не содержал конкретных мер, поэтому внедрение данного инструмента неоднократно переносилось и откладывалось. Стало понятно, что создание нормативно-правового акта и рекомендаций по совершенствованию обра-

зовательного процесса будущих педагогов и слушателей курсов повышения квалификации само по себе не может гарантировать необходимый уровень профессиональных знаний и умений. Была разработана концепция национальной системы учительского роста — комплекс управленческих мероприятий, направленных на устранение профессиональных дефицитов уже работающих педагогов и повышение привлекательности системы образования для молодежи [7]. Внедрение профстандарта педагога органично вошло в новую систему мероприятий, которая включала в себя адресное повышение квалификации, новую систему учительских должностей, измененные подходы к стимулированию, в том числе к государственным и отраслевым наградам. Концепция национальной системы учительского роста позволила администрации образовательных организаций, региональным и муниципальным органам исполнительной власти и организациям дополнительного профессионального образования начать работу по формированию практических рекомендаций по достижению необходимого уровня профессиональных компетенций [11]. В то же время в управленческой практике возникло противоречие: с одной стороны, национальная система учительского роста необходима для достижения высокого уровня профессионального развития учителей (профстандарт), с другой стороны, сам стандарт — одно из направлений деятельности в рамках системы. Кроме того, отдельные ее мероприятия были неоднозначно восприняты в профессиональном сообществе. Одной из наиболее обсуждаемых мер стало внедрение системы новых учительских должностей, которая могла бы стать причиной конфликтов в педагогических коллективах.

Реализация каждого из предложенных мероприятий потребовала дополнительных ресурсов и перестройки подходов к стимулированию профессионального развития учителей, поэтому внедрение национальной системы учительского роста неоднократно переносилось. В 2019 году было анонсировано начало реализации национального проекта «Образование», в который вошел комплекс федеральных проектов и программ, а национальная система учительского роста стала частью федерального проекта «Учитель будущего», призванного реформировать подходы к совершенствованию профессиональных компетенций учителей. В начале 2022 года данный проект утратил самостоятельный характер, часть его мероприятий была включена в федеральный проект «Современная школа», направленный на модернизацию основного общего образования. Видимо, поиск путей повышения уровня профессиональной подготовки педагогов продолжается, а многие из предложенных ранее инициатив оказалось достаточно сложно внедрить [3].

Сама триада «профессиональный стандарт — национальная система учительского роста — национальный проект “Образование”» — говорит об эволюции подходов к повышению уровня профессиональных и личностных компетенций учителей, причем каждый элемент триады формально вы-

полняет особую роль в управлении системой образования. Так, профстандарт — нормативно-правовой акт, задающий общий вектор государственной политики. Концепция национальной системы учительского роста определяет комплекс механизмов, необходимых для достижения постулируемого профстандартом уровня трудовых знаний и умений. В национальном проекте «Образование» заложены ресурсы для развития всех уровней системы образования. Поскольку каждая последующая инновация органично включает предыдущую, можно говорить о попытке создания единого социально-управленческого механизма внедрения профстандарта учителя [23]. Изучение триады позволяет выдвинуть гипотезу, что профстандарт педагога внедряется при помощи нескольких механизмов, а не одного, а комплексы управленческих решений, применяемых в каждой из мер, ориентированы на минимизацию рисков социального характера, возникающих в ходе модернизации кадровой политики в системе образования.

Изучение социально-управленческих механизмов внедрения профстандарта педагога предполагает выделение их общих черт. Так, большинство исследователей отмечает наличие во всех механизмах регуляции субъектного и объектного сегментов [16]. Многие авторы отводят социально-управленческим механизмам роль связующего звена между этими подсистемами [8], а некоторые понимают под механизмом не только структурные элементы, но и взаимосвязь общественных отношений [1]. Ряд исследователей полагает, что в состав социального механизма управления входят конкретные социальные технологии, ресурсы и стратегии, которые функционируют в тесном единстве [6. С. 49]. В то же время необходимо учитывать большое количество переменных величин, связанных с конкретными управленческими задачами, для выполнения которых включается механизм, а также специфику управляемой и управляющей подсистем, их гибкость и установки. Следует отметить, что педагогические работники, уровень профессионализма которых должен соответствовать требованиям стандарта, достаточно консервативны, и их профессиональные и личностные установки могут как способствовать достижению положительного эффекта от управленческих инноваций, так и свести его к минимуму. В этой связи под социально-управленческим механизмом внедрения профстандарта педагога мы понимаем комплекс управленческих решений, ограниченных решаемой проблемой, общей стратегией и ресурсным обеспечением, но способных обеспечить достижение ключевых показателей (рис. 1).

Рассуждая о механизмах внедрения профстандарта, мы неизбежно сталкиваемся с проблемой субъект-объектных отношений. Административно-командная система, пережитки которой оказываются серьезным сдерживающим фактором, воспринимает педагогов как объект управления, нередко игнорируя профессионально-личностные установки учителей. Кроме того, на фоне внедрения инноваций у педагогов могут формироваться ожидания

неизбежности ухудшения условий труда, что обусловлено как консервативностью института образования, так и перманентной модернизацией российской системы образования на протяжении последних трех десятилетий. Так, произошел переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты, внесены изменения в процедуру государственной итоговой аттестации обучающихся (единый и основной госэкзамены) и систему оплаты труда, вектор образовательной парадигмы смещен в знаниевую область и т.д. На фоне усталости сотрудников общеобразовательных организаций от постоянной перестройки подходов к преподаванию и увеличения бюрократической нагрузки ожидания учителей от внедрения профстандарта в основном оказались негативными [17]. Одна из причин негативного восприятия многих инноваций, призванных улучшить условия труда педагогов, — потеря ими определенной доли субъектности в управлении системой образования. Вовлечение представителей профессионального педагогического сообщества в обсуждение социально-управленческих механизмов поможет снять напряженность, возникающую на фоне внедрения профстандарта, и избежать части трудовых и социальных конфликтов на разных уровнях системы образования. Таким образом, ряд социально-управленческих механизмов внедрения профстандарта педагога, в том числе в рамках национальной системы учительского роста, может в некоторой степени решить проблему потери субъектности учителей в управлении системой образования [9].



Рис. 1. Структура социально-управленческого механизма в контексте внедрения профессионального стандарта педагога

Рассматривая специфику социально-управленческих механизмов внедрения профстандарта педагога, необходимо классифицировать их. В качестве критериев классификации можно выделить управленческие цели, планируемые результаты, содержание управленческих решений и ресурсы, необходимые для достижения критических показателей. Понимание управленцами всех уровней особенностей отдельных механизмов поможет оптимизировать достижение требований профстандарта и повысить эффективность дорожных карт по реализации отдельных мероприятий. Таким образом,

можно выделить мотивационные, контрольно-оценочные, организационные и адаптивные социально-управленческие механизмы внедрения профстандарта педагога, однако они настолько взаимосвязаны, что их деление носит весьма условный характер.

Мотивационные механизмы включают в себя мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда и награждения отраслевыми наградами, а также перспективы профессионального роста, включая возможности построения горизонтальной карьеры за счет введения в школах должностей старшего и ведущего учителя, совмещающих наставничество и методическую работу с педагогической деятельностью. Фактически к данной группе относятся меры материального и нематериального стимулирования (теория двухфакторной мотивации Ф. Херцберга [26]). Ключевая особенность мотивационных механизмов в управлении внедрением профстандарта педагога — невозможность использования только методов нематериального стимулирования при слабом уровне удовлетворенности витальных потребностей, который напрямую зависит от размера заработной платы. Механизмы данной группы могут оказаться неэффективным на фоне низкого материального обеспечения педагогов. Изменение подходов к оплате труда — ведущая потребность педагогов, на что указывают данные многих опросов [10]. Значит, существует риск, что нематериальное стимулирование будет более эффективным в городах федерального значения и на территориях с более высоким уровнем жизни.

Особое место среди мотивационных механизмов следует отвести конкурсам профессионального мастерства, в ходе которых педагог приобретает не только новые компетенции или совершенствует существующие, но и получает общественное признание, а также материальное поощрение в зависимости от результативности участия. Подобный механизм может оказаться действенным средством стимулирования профессионального роста молодых специалистов и поможет им успешно влиться в профессиональное сообщество. Один из наиболее обсуждаемых механизмов — появление в общеобразовательных школах новых учительских должностей в интересах построения горизонтальной карьеры учителя [12]. В качестве самого спорного аспекта отмечается уменьшение преподавательской нагрузки учителей за счет расширения функционала — существует риск, что на подобные должности будут претендовать наиболее грамотные педагоги, в то время как работать с детьми продолжат специалисты с более низкими показателями, что может отразиться на качестве образовательного процесса. Кроме того, резкое карьерное продвижение отдельных педагогов может повышать социальную напряженность в педагогическом коллективе, разрушая существующие связи и нарушая социальный порядок в образовательной организации. Таким образом, от администрации школ и курирующих кадровую политику

специалистов органов исполнительной власти потребуются взвешенные решения по согласованию каждой из кандидатур на должности старшего и ведущего учителя.

Контрольно-оценочные механизмы внедрения профстандарта — это регуляторы властно-административного типа, прежде всего, мероприятия по так называемой независимой оценке уровня развития профессиональных компетенций учителей. В их основе лежит стандартизированная количественная оценка отдельных показателей профессионализма на основе единых федеральных материалов, не учитывающая специфику личности педагога, особенности региона и конкретной образовательной организации, поэтому работа по совершенствованию оценочных материалов не должна прекращаться. Среди механизмов второго типа можно отметить разработку кодексов этики учителя не только на федеральном уровне, но и в субъектах Российской Федерации и отдельных образовательных организациях [18]. В подобных документах отражены не только требования к профессиональным знаниям и умениям, но и к личностным навыкам, культуре поведения и речи, внешнему виду и поведению в социальных сетях, что может способствовать снижению числа конфликтов между участниками образовательного процесса, позитивно повлиять на имидж учителей, конкретизировать требования профстандарта и помочь педагогическим работникам лучше понимать природу требований к выполнению функции воспитания.

К социально-управленческим механизмам третьего типа (организационным) относится комплекс мер по вовлечению учителей в управление образовательным процессом и передачи им части управленческих полномочий. Поскольку внимание разработчиков единых федеральных оценочных материалов сосредоточено на проверке сформированности предметных, методических, психологических и коммуникативных компетенций, то практически выпадают управленческие навыки. Вместе с тем именно их развитие может помочь учителям выстраивать траекторию профессионального развития, адресно работать по устранению имеющихся пробелов в знаниях и умениях. Все большее значение здесь приобретают общественно-профессиональные объединения педагогов, в которых происходит неформальное обучение и обмен опытом, профессиональная социализация молодых специалистов и формирование новых интеракций [15]. Наши исследования показывают, что деятельность таких сообществ эффективно устраняет дефициты практической подготовки начинающих учителей, возникающие вследствие отрыва программ учреждений высшего и среднего профессионального образования от реальной работы педагога [21]. Вовлечение учителей в деятельность общественно-профессиональных объединений — одно из важных направлений национального проекта «Образование».

Не менее значимое направление — участие учителей в коллегиальных органах управления образованием. При многих ведомствах созданы общественные, управляющие и попечительские советы, в которые входят представители педагогических коллективов. Особое значение имеет профессиональный отраслевой союз, представители которого не только защищают права работников, но и проводят мероприятия по ознакомлению своих членов с нормативно-правовыми актами, обучают их, разрабатывают рекомендации для органов исполнительной власти, администраций образовательных учреждений и педагогов по достижению требуемых результатов на основе учета мнений трудовых коллективов. Деятельность профсоюзов способствует снятию социальной напряженности в профессиональной среде, возникающей в ходе внедрения инноваций.

Адаптивные социально-управленческие механизмы решают проблему сохранения имеющихся кадров, их подготовки к работе в новых условиях, поддержания существующего в образовательных системах социального порядка. К таким механизмам следует отнести мероприятия по методическому сопровождению образовательного процесса и повышению квалификации учителей преимущественно через дополнительные образовательные программы, в том числе в формате неформального и информального образования. Важным направлением работы является приведение программ высшего и среднего профессионального образования в соответствие с требованиями профстандарта педагога, реализация образовательного процесса с использованием высокотехнологичного оборудования, новейших подходов к обучению, развитию и воспитанию детей.

Личностно-профессиональные установки специалистов играют важную роль в формировании отношения к труду [27], и мы предположили, что отношение учителей к отдельным социально-управленческим механизмам внедрения профстандарта будет оказывать влияние на их результативность. Наши исследования показали неоднородное восприятие отдельными категориями работников системы образования важнейших направлений государственной политики в сфере развития профессиональных компетенций учителей (табл. 1). На этом фоне особый интерес представляют ожидания специалистов системы образования от реализации механизмов профессионального развития педагогов: всем категориям респондентов предлагалось оценить текущие и возможные значения важнейших составляющих учительского труда по результатам реализации ключевых мероприятий для достижения требований профстандарта (рис. 2): часть предложенных критериев характеризует работу педагога, часть — развитие социального тела образовательной организации, что позволяет реализовать системный подход к оценке профессиональных ожиданий учителей от реализации ключевых социально-управленческих механизмов внедрения профстандарта.

**Отношение специалистов системы образования
к отдельным мероприятиям
в рамках национальной системы учительского роста**

Категория респондентов	адресное повышение квалификации педагогов	новая система учительских должностей	конкурсное движение	изменение системы оплаты труда	профессиональный стандарт	новая наградная система	аттестация и добровольная сертификация педагогов	кодекс этики учителя	увеличение финансирования образовательных организаций	повышение престижа педагогической профессии
Педагоги	7,76	5,09	5,57	8,59	6,94	6,32	6,74	7,76	9,4	9,48
женщины	7,91	5,19	5,65	8,69	7,08	6,42	6,9	7,96	9,39	9,52
мужчины	7,19	4,69	5,25	8,24	6,39	5,96	6,13	7	9,41	9,31
городские	7,72	5,26	5,48	8,79	7,15	6,45	6,82	7,54	9,36	9,45
сельские	7,83	4,83	5,7	8,3	6,61	6,13	6,63	8,1	9,45	9,52
до 35 лет	7,48	5,7	6,07	8,36	7,34	7,02	7,25	7,33	9,22	9,39
от 35 до 55 лет	7,88	4,96	5,52	8,67	6,82	6,25	6,73	7,98	9,41	9,46
старше 55 лет	7,7	4,78	5,15	8,62	6,86	5,74	6,16	7,57	9,55	9,64
в ООШ и СОШ	7,7	4,98	5,46	8,54	6,88	6,2	6,65	7,77	9,38	9,5
в лицеях и гимназиях	8,05	5,79	6,14	9	7,27	6,98	7,3	7,86	9,48	9,33
ОО до 100 чел.	7,95	4,68	5,66	8,59	6,63	5,9	6,79	8,48	9,55	9,59
от 100 до 500	7,2	4,81	5,15	8,43	6,88	6,06	6,53	7,13	9,02	9,35
от 500 до 1000	8,21	5,41	5,71	8,68	7,08	6,68	6,67	7,87	9,53	9,56
свыше 1000 чел.	7,62	5,59	5,92	8,74	7,23	6,74	7,21	7,64	9,59	9,39
Руководители ОО	8,42	6,6	6,77	8,98	8,1	7,27	7,69	8,4	9,52	9,65
городские	8,15	6,92	7	9,23	8,23	8,23	8	7,38	9,54	9,38
сельские	8,51	6,49	6,69	8,89	8,06	6,91	7,57	8,77	9,51	9,74
Специалисты ДПО	8,45	4,86	5,91	8,32	6,59	6,64	6,95	6,64	9	8,59
Специалисты МОУО	8,37	4,78	5,85	7,78	7,07	6,1	6,49	7,2	9,39	9,56

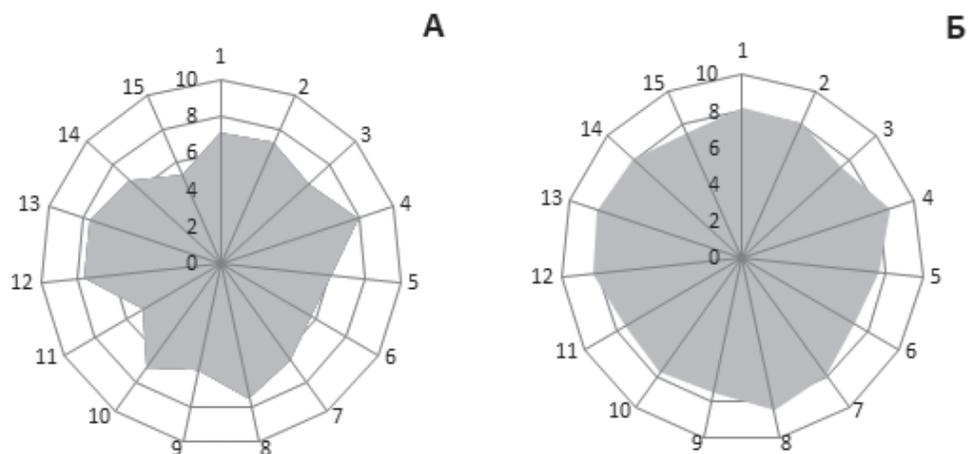


Рис. 2. Ожидания учителей общеобразовательных организаций от реализации мероприятий социально-управленческих механизмов внедрения профессионального стандарта. (А — до начала реализации мероприятий; Б — после окончания реализации): 1 — активность педагогов; 2 — творчество педагогов; 3 — желание продолжать трудовую деятельность с педагогической профессией; 4 — нацеленность на достижение результата в профессии; 5 — желание презентовать результаты своей работы профессиональному сообществу; 6 — вовлеченность в конкурсное движение; 7 — желание внедрять инновации; 8 — развитие профессиональных компетенций; 9 — возможность карьерного роста; 10 — адекватность процедуры аттестации; 11 — повышение престижа профессии педагога; 12 — управляемость образовательных организаций; 13 — сплоченность педагогического коллектива; 14 — расширение сети социальных связей педагогов с другими участниками образовательного процесса; 15 — повышение уровня жизни педагога

Важнейшим показателем отношения к мероприятиям государственной образовательной политики является осведомленность специалистов о содержании управленческих инициатив. Анализ информированности учителей об особенностях профстандарта педагога, национальной системы учительского роста и национального проекта «Образования» показал, что наши данные сопоставимы с результатами других исследований [14]: уровень осведомленности учителей постепенно возрастает, что обусловлено обучением педагогов по дополнительным профессиональным программам, а также активным участием общественно-профессиональных объединений специалистов системы образования в снятии напряженности, возникающей в условиях перманентной модернизации образования. Впрочем, руководители образовательных организаций также не обладают полной информацией о содержании государственной политики в сфере профессионального развития кадров для системы образования. Вероятно, это связано с недостатком времени на изучение нормативно-правовых документов, непониманием ключевых трендов модернизации и усталостью от непрекращающихся реформ [20]. Поскольку систему формального и неформального дополнительного профессионального образования мы отнесли к адаптивным социально-управленческим меха-

низмам, можно сделать вывод об их высокой результативности в устранении профессиональных затруднений уже работающих специалистов [22].

Результаты наших исследований говорят о положительном восприятии государственной политики в сфере подготовки квалифицированных кадров для образовательных организаций. По мнению педагогов, наиболее важны мероприятия, связанные с увеличением объемов финансирования школ, повышением уровня заработной платы и престижа педагогической профессии. Проблема материального обеспечения как педагогов, так и школ актуальна не только для села, но и для городских агломераций, а нематериальные стимулы теряют свою эффективность при недостаточном удовлетворении витальных потребностей. Сложно представить, что в школе в плохом техническом состоянии или без современного оснащения будет организована результативная предметно-развивающая среда для ребенка любого возраста или творчески работающего педагога.

Некоторые социально-управленческие механизмы неоднозначно воспринимаются профессиональным сообществом педагогов. К наиболее неэффективным учителя относят новую систему учительских должностей, конкурсное движение и изменение наградной системы. Так, введение должностей старшего и ведущего учителя (квалификационных категорий учителя-методиста и учителя-наставника), по мнению представителей органов власти, позволит учителям выстраивать горизонтальную карьеру и станет эффективным стимулом профессионального роста, однако, по мнению учителей, будет способствовать нарушению социального порядка в образовательной среде и возрастанию конкуренции, что может негативно отразиться на социальных связях. Данное обстоятельство особенно важно при рассмотрении педагогов как социальной группы, встроенной в социальное пространство и поддерживающей его структуру [4]: интеракции между педагогами в социальных телах отдельных организаций и института образования в целом имеют разную степень устойчивости, т.е. выступают фактором эффективности социально-управленческих механизмов. Существует вероятность, что для соответствия новым квалификационным категориям учителям придется брать больше работы и ответственности, что и влечет их негативную оценку данного механизма. Возможно, и конкурсное движение воспринимается педагогическим сообществом не как инструмент неформального профессионального образования, а как лишняя неоплачиваемая нагрузка, не влияющая на финансовый или карьерный рост. Изменение наградной системы также неоднозначно воспринимается в педагогической среде [19]: одни учителя надеются, что система наград станет более доступной и прозрачной, другие считают, что усложнение процедуры представления на грамоты и поощрения снизит число их получателей.

Наиболее высокие ожидания от реализации мероприятий национальной системы учительского роста характерны для молодых педагогов (до 35 лет),

тогда как старшие поколения более сдержаны в прогнозах, что может быть обусловлено не только большим стажем работы, но и их психоэмоциональным состоянием (профессиональное выгорание и усталость от бесконечной модернизации системы образования) [13]. Ожидания учителей лицеев и гимназий выше, чем у педагогов, работающих в обычных школах, что, видимо, обусловлено большими возможностями первых, а также более эффективной системой материального стимулирования в крупных школах, учащиеся которых демонстрируют стабильно высокие результаты. Так, самые низкие оценки всех мероприятий национальной системы учительского роста характерны для учителей небольших школ, в которых чаще всего обучается сложный контингент и малая численность педагогического коллектива не позволяет в полной мере реализовать стимулирующие меры.

Оценки административных работников образовательных организаций в среднем выше по сравнению с учителями, что может быть связано и с большей осведомленностью, и с большей лояльностью государственной кадровой политике. Для директоров и их заместителей, работающих в селе, высокое значение имеют меры по повышению престижа профессии учителя. Среди специалистов системы дополнительного профессионального образования и сотрудников органов исполнительной власти, высоко оценивающих уровень собственной осведомленности, наблюдается неоднозначное отношение к изучаемым нами механизмам. Восприятие мероприятий системы роста педагогов, вероятно, определяется спецификой деятельности респондентов, т.е. зависит от профессиональных диспозиций, формируемых в процессе трудовой деятельности.

Большинство респондентов уверены в благоприятном влиянии государственной образовательной политики на совершенствование отдельных аспектов трудовой деятельности. По мнению учителей, целенаправленная работа по достижению требований профстандарта педагога может существенно изменить ситуацию в наиболее проблемных сферах, которыми учителя считают престиж профессии, конкурсное движение и уровень жизни — именно те направления, ожидания от реализации мер государственной политики в которых сегодня несколько пессимистичны. Вместе с тем прогнозирование педагогами положительных изменений показывает, что восприятие механизмов внедрения профстандарта постепенно становится более оптимистичным. Следует отметить, что ожидания других категорий работников системы образования также оптимистичны, что может свидетельствовать о наличии профессиональных диспозиций, способных определять вектор ожиданий от реализации мероприятий государственной политики. Целенаправленное воздействие на эти установки в рамках отдельных социально-управленческих механизмов внедрения профстандарта может стать ведущим фактором преодоления негативного отношения к инновациям в образовании [5].

Библиографический список

1. Александров О.Г. Современная парадигма и социальный механизм государственного управления // Региональное развитие: стратегии и человеческий капитал / Под ред. А.П. Багирова. Екатеринбург, 2014.
2. Бурдые П. Практический смысл. СПб., 2001.
3. Былков В.Г. Методические и организационные проблемы внедрения профессиональных стандартов // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2019. Т. 8. № 2.
4. Василенко И.В., Конева И.Д. Социальное поле образования: эвристический потенциал теории П. Бурдые // Вестник ВГУ. Серия 7: Философия. 2014. № 6.
5. Воробьева И.В. Престиж профессии учителя // Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. 2014. № 4.
6. Данакин Н.С., Деева Н.Н. Механизм социального управления: концептуальный анализ // Социально-гуманитарные знания. 2012. № 8.
7. Дипломатова З.Ю., Иванов В.Н. Карьерный рост учителя в условиях внедрения профессионального стандарта педагога // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 2019. № 2.
8. Евсеева С.А. Анализ подходов к определению сущности механизма управления // Проблемы современной экономики. 2014. № 2.
9. Ильина И.В. Развитие субъектности учителей общеобразовательных школ в процессе повышения их квалификации: управленческий аспект // Инновационные проекты и программы в образовании. 2013. № 6.
10. Клячко Т.Л., Семионова Е.А., Токарева Г.С. Заработная плата учителей: произошли ли изменения? // Экономическое развитие России. 2021. Т. 28. № 5.
11. Крисковец Т.Н. Развитие внутриорганизационного образовательного менеджмента в рамках формирования национальной системы учительского роста // Вестник ЧГПУ. 2017. № 4.
12. Кузнецова А.Г., Яровая Е.Б. Проектирование горизонтальной карьеры педагога на основе дополнительных видов педагогической деятельности и профессиональных достижений: отечественный и зарубежный опыт // Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2021. Т. 18. № 1.
13. Леонидова Г.В. Профессиональная самоидентификация и самочувствие учителей в условиях продолжающихся реформ образования // Проблемы развития территорий. 2017. № 6.
14. Марголис А.А. Профессиональный стандарт педагога: разработка и использование в России и за рубежом. М., 2019.
15. Марголис А.А., Аржаных Е.В., Хуснутдинова М.Р. Институционализация наставничества как ресурс профессионального развития российских педагогов // Вопросы образования. 2019. № 4.
16. Мерзляков А.А. Проблема субъектности в социологии управления // Социологическая наука и социальная практика. 2018. № 4.
17. Панасюк В.П., Романкова И.В., Фофанов А.М. Проблемы и потенциал применения профессионального стандарта педагога как новой реальности // Человек и образование. 2015. № 4.
18. Письмо Министерства просвещения РФ и Профессионального союза работников народного образования и науки РФ от 20 августа 2019 г. № ИП-941/06/484 «О примерном положении о нормах профессиональной этики педагогических работников».
19. Поташник М.М. Почему учителя уходят из школы // Народное образование. 2019. № 6.
20. Поташник М.М. Свет во тьме светит... О депрессии учителей // Народное образование. 2019. № 5.
21. Проказина Н.В., Ланцев В.Л. Роль общественно-профессиональных объединений педагогов в условиях модернизации системы образования // Вестник ИС РАН. 2020. Т. 11. № 2.
22. Пуденко Т.И., Потемкина Т.В., Руднева А.А. Внешняя оценка качества общего образования как фактор профессионального развития педагогов // Образование и наука. 2017. Т. 19. № 6.

23. Сахарчук Е.И. Стандартизация в образовании: признаки целостности // Известия ВГПУ. 2017. № 3.
24. Тихонов А.В. Социология управления. Теоретические основы. М., 2009.
25. Халудорова А.В., Халудорова Л.Е. Профессиональный стандарт педагога как инструмент формирования карьерного роста будущего учителя // Вестник Марийского государственного университета. 2021. Т. 15. № 1.
26. Херцберг Ф., Моснер Б., Блох Сneiderман Б. Мотивация к работе. М., 2007.
27. Ядов В.А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности: Диспозиционная концепция. М., 2013.

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-546-563

EDN: VKTVAK

Social-managerial mechanisms for the implementation of the teacher's professional standard: Features and prospects *

N.V. Prokazina¹, V L. Lantsev²

¹ Central Russian Institute of Management — branch of RANEPА,
Oktyabrskaya St., 11, Orel, 302028, Russia

² Palace of Pioneers and Schoolchildren named after Yu.A. Gagarin,
Saltykov-Shchedrin St., 31, Orel, 302028, Russia

(e-mail: nvprokazina@mail.ru; vic_lan@mail.ru)

Abstract. The quality of education directly depends on the level of the teachers' professional training. There are many measures to improve the quality of education and teachers' professionalism, and a significant part of them, including programs of the Russian national project "Education", aim at providing a system for the professional development of the pedagogical community. One of the means in the trajectory of the personal-professional development of teachers is a professional standard. It has been implemented over the past ten years; however, there are still difficulties and limitations in its implementation, the elimination of which implies a systematic approach and special social-managerial mechanisms based on the following methodology: theory of social fields by P. Bourdieu, concept of a personified social-cultural management model by A.V. Tikhonov, and the dispositional theory of personality by V.A. Yadov. To identify the specifics of social-managerial mechanisms for the implementation of the teacher's professional standard, the authors conducted a survey of pedagogical workers of educational organizations in the Orel Region. The respondents of the expert survey were heads of educational organizations and specialists of municipal structures in charge of the education system. The survey focused on teachers' awareness of the content of professional development, their attitudes to the state education policy and expectations from the teacher's development system and the national project "Education". The survey showed a rather optimistic perception of the education system modernization by teachers, despite the ambiguous assessment of its specific measures. The need in developing personal-professional competencies of teachers by means of the additional professional education is obvious: a complex of such competencies is a condition for the perception of innovative and managerial processes.

*© N.V. Prokazina, V L. Lantsev, 2023

The article was submitted on 29.02.2023. The article was accepted on 15.06.2023.

Social-administrative mechanisms should be based on the increasing subjectivity of teachers, their intentional and active readiness to participate in modernization of the education system. The study of the state policy measures in the field of the teachers' professional development allowed the authors to identify four groups of mechanisms: motivational, control-evaluation, organizational and adaptive. Each group has specific features, but they are interconnected. The authors argue that we need to understand and take into account the tasks and regulatory, resource and procedural features of the identified mechanisms in order to minimize the risks of social conflicts and maintain social order in the education system.

Key words: teacher's professional standard; social-managerial mechanisms; national system of the teacher's professional development; Russian national project "Education"

References

1. Aleksandrov O.G. *Sovremennaya paradigma i sotsialny mekhanizm gosudarstvennogo upravleniya* [Contemporary paradigm and social mechanism of public administration]. *Regionalnoe razvitie: strategii i chelovechesky kapital* / Pod red. A.P. Bagirova. Ekaterinburg; 2014. (In Russ.).
2. Bourdieu P. *Praktichesky smysl* [Practical Reason]. Saint Petersburg; 2001. (In Russ.).
3. Bylkov V.G. Metodicheskie i organizatsionnye problemy vnedreniya professionalnykh standartov [Methodological and organizational issues of the professional standard implementation]. *Azimuth Nauchnykh Issledovaniy: Ekonomika i Upravlenie*. 2019; 8 (2). (In Russ.).
4. Vasilenko I.V., Koneva I.D. Sotsialnoe pole obrazovaniya: evristichesky potentsial teorii P. Bourdieu [Social field of education: Heuristic potential of Bourdieu's theory]. *Vestnik VGU. Seriya 7: Filosofiya*. 2014; 6. (In Russ.).
5. Vorobieva I.V. Prestizh professii uchitelya [Prestige of the teacher's profession]. *Vestnik RGGU. Seriya: Filosofiya. Sotsiologiya. Iskusstvovedenie*. 2014; 4. (In Russ.).
6. Danakin N.S., Deeva N.N. Mekhanizm sotsialnogo upravleniya: kontseptualny analiz [Mechanism of social management: A conceptual analysis]. *Sotsialno-Gumanitarnye Znaniya*. 2012; 8. (In Russ.).
7. Diplomatoва Z.Yu., Ivanov V.N. Karierny rost uchitelya v usloviyah vnedreniya professionalnogo standarta pedagoga [Teacher's career growth under the implementation of professional standard]. *Vestnik ChGPU im. I.Ya. Yakovleva*. 2019; 2. (In Russ.).
8. Evseeva S.A. Analiz podkhodov k opredeleniyu sushchnosti mekhanizma upravleniya [Analysis of approaches to the definition of the management mechanism]. *Problemy Sovremennoi Ekonomiki*. 2014; 2. (In Russ.).
9. Ilyina I.V. Razvitie sub`ektnosti uchitelei obshcheobrazovatelnykh shkol v protsesse povysheniya ih kvalifikatsii: upravlenchesky aspekt [Development of schoolteachers' subjectivity in the advanced training system: A managerial aspect]. *Innovatsionnye Proekty i Programmy v Obrazovanii*. 2013; 6. (In Russ.).
10. Klyachko T.L., Semenova E.A., Tokareva G.S. Zarabotnaya plata uchitelei: proizoshli li izmeneniya? [Teachers' salaries: Are there changes?]. *Ekonomicheskoe Razvitie Rossii*. 2021; 28 (5). (In Russ.).
11. Kriskovets T.N. Razvitie vnutriorganizatsionnogo obrazovatel'nogo menedzhmenta v ramkakh formirovaniya natsionalnoi sistemy uchitelskogo rosta [Development of internal organizational educational management within the national system of teachers' career]. *Vestnik ChGPU*. 2017; 4. (In Russ.).
12. Kuznetsova A.G., Yarovaya E.B. Proektirovanie gorizontanoi kariery pedagoga na osnove dopolnitelnykh vidov pedagogicheskoi deyatel'nosti i professionalnykh dostizhenii: otechestvenny i zarubezhny opyt [Designing a teacher's horizontal career as based on additional pedagogical activities and professional achievements: Russian and international experience]. *RUDN Journal of Psychology and Pedagogics*. 2021; 18 (1). (In Russ.).

13. Leonidova G.V. Professionalnaya samoidentifikatsiya i samochuvstvie uchitelei v usloviyah prodolzhayushchikhsya reform obrazovaniya [Teachers' professional self-identification and well-being under the ongoing educational reforms]. *Problemy Razvitiya Territorii*. 2017; 6. (In Russ.).
14. Margolis A.A. *Professionalny standart pedagoga: razrabotka i ispolzovanie v Rossii i za rubezhom* [Teacher's Professional Standard: Development and Application in Russia and Abroad]. Moscow; 2019. (In Russ.).
15. Margolis A.A., Arzhanykh E.V., Khusnutdinova M.R. Institutsionalizatsiya nastavnichestva kak resurs professionalnogo razvitiya rossiiskih pedagogov [Institutionalization of mentoring as a resource for the professional development of Russian teachers]. *Voprosy Obrazovaniya*. 2019; 4. (In Russ.).
16. Merzlyakov A.A. Problema sub`ektnosti v sotsiologii upravleniya [Issues of subjectivity in sociology of management]. *Sotsiologicheskaya Nauka i Sotsialnaya Praktika*. 2018; 4. (In Russ.).
17. Panasyuk V.P., Romankova I.V., Fofanov A.M. Problemy i potentsial primeneniya professionalnogo standart pedagoga kak novoi realnosti [Problems and potential of the teacher's professional standard as a new reality]. *Chelovek i Obrazovanie*. 2015; 4. (In Russ.).
18. Pismo Ministerstva prosveshcheniya RF i Professionalnogo soyuza rabotnikov narodnogo obrazovaniya i nauki RF ot 20 avgusta 2019 g. No. IP-941/06/484 "O primernom polozhenii o normah professionalnoi etiki pedagogicheskikh rabotnikov" [Letter of the Russian Ministry of Education and the Russian Professional Union of Workers of Public Education and Science of August 20, 2019 No. IP-941/06/484 "A draft regulation of the teachers' professional ethical norms"]. (In Russ.).
19. Potashnik M.M. Pochemu uchitelya ukhodyat iz shkoly [Why teachers leave the school]. *Narodnoe Obrazovanie*. 2019; 6. (In Russ.).
20. Potashnik M.M. Svet vo tme svetit... O depressii uchitelei [Light in the dark... On teachers' depression]. *Narodnoe Obrazovanie*. 2019; 5. (In Russ.).
21. Prokazina N.V., Lantsev V.L. Rol obshchestvenno-professionalnykh ob`edinenii pedagogov v usloviyah modernizatsii sistemy obrazovaniya [The role of teachers' social-professional associations under the modernization of educational system]. *Vestnik Instituta Sotsiologii*. 2020; 11 (2). (In Russ.).
22. Pudenko T.I., Potemkina T.V., Rudneva A.A. Vneshnyaya otsenka kachestva obshchego obrazovaniya kak faktor professionalnogo razvitiya pedagogov [External quality assessment of general education as a factor of teachers' professional development]. *Obrazovanie i Nauka*. 2017; 19 (6). (In Russ.).
23. Sakharchuk E.I. Standartizatsiya v obrazovanii: priznaki tselostnosti [Standardization in education: Signs of integrity]. *Izvestiya VGPU*. 2017; 3. (In Russ.).
24. Tikhonov A.V. *Sotsiologiya upravleniya. Teoreticheskie osnovy* [Sociology of Management. Theoretical Foundations]. Moscow; 2009. (In Russ.).
25. Khaludorova A.V., Khaludorova L.E. Professionalny standart pedagoga kak instrument formirovaniya kariernogo rosta budushchego uchitelya [Teacher's professional standard as a means of the future teacher's career]. *Vestnik Mariiskogo Gosudarstvennogo Universiteta*. 2021; 15 (1). (In Russ.).
26. Herzberg F., Mausner B., Bloch Snyderman B. *Motivatsiya k rabote* [The Motivation to Work]. Moscow; 2007. (In Russ.).
27. Yadov V.A. *Samoregulyatsiia i prognozirovanie sotsialnogo povedeniya lichnosti: Dispozitsionnaia kontseptsiiia* [Self-Regulation and Forecasting of Personal Social Behavior: A Dispositional Concept]. Moscow; 2013. (In Russ.).



DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-564-578

EDN: VOMQXB

Социальные функции наставников для выпускников детских домов (на примере Новосибирска)*

Е.А. Попов

Алтайский государственный университет,
ул. Димитрова, 66, Барнаул, 656049, Россия

(e-mail: popov.eug@yandex.ru)

Аннотация. Обращение к феномену наставничества продиктовано проблемой социального бытия индивидов и групп, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В данном случае речь идет о выпускниках организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые испытывают адаптационные, социальные и социокультурные сложности после выхода из детского дома, и в этой ситуации возрастает роль наставников. В статье на основе полуструктурированных интервью с наставниками ($N = 17$) и выпускниками ($N = 15$) интернатов Новосибирска обозначены социальные функции наставников и отношение к ним со стороны их подопечных. Новосибирск выбран не случайно: здесь впервые в России был апробирован опыт наставничества для выпускников детских домов. В статье сделан акцент на выявлении социальных функций наставников исходя из концепции, согласно которой социальная функция — инструмент эффективного достижения значимых для общества или его групп целей. Были выявлены следующие социальные функции наставников: социализирующая, социально-коммуникативная и социокультурная. Данные функции позволяют трактовать наставничество не только как педагогический феномен, но и как социальную практику, определяющую взаимодействие представителей разных социальных групп/общностей. Такое взаимодействие носит целенаправленный характер, отражает полноту жизненного мира субъектов и их ценностные ориентации, формирует смыслжизненные установки и в целом повышает качество жизни. Исследование показало, что опыт взаимодействия наставников и их подопечных носит позитивный характер и способствует улучшению социального бытия выпускников. Были выделены ключевые маркеры отношения наставников к социальным практикам организаций, проанализированы оценки роли организации в становлении личности и формировании ее ценностных ориентаций. Представленный в статье подход позволяет рассматривать наставничество как важный фактор социализации.

Ключевые слова: социализация; социальная адаптация; мотивация; ценности; наставничество; выпускники детских домов; функции наставничества

*© Попов Е.А., 2023

Статья поступила 28.02.2023 г. Статья принята к публикации 15.06.2023 г.

Наставничество — это социальная практика помощи людям на определенных этапах их социализации и адаптации, а также в трудной жизненной ситуации, поэтому столь высока роль наставников для выпускников организаций для детей-сирот (интернатов). Группа выпускников наиболее уязвима перед серьезными жизненными испытаниями, им приходится сталкиваться со множеством повседневных вопросов, ответы на которые им сложно дать самостоятельно. Оказать им поддержку и помощь могут наставники — как агенты социализации, главная функция которых — способствовать успешному вхождению выпускников интернатов в полноценную взрослую жизнь. Выпускники интернатов испытывают сложности с адаптацией к взрослой жизни, принятием важных решений, выработкой перспективной жизненной стратегии и преодолением девиантного поведения. Обобщенный «портрет детдомовца» выглядит следующим образом: неприспособленность к быту, потребительская позиция, неумение планировать расходы, низкий уровень знаний и мотивации, незаинтересованность в трудовой деятельности и т.д. [9]. Исследование данной проблемы позволяет определить сильные и слабые стороны наставничества для выпускников интернатов через выявление его социальных функций.

В 2016 году Минобрнауки России объявило тендер на разработку и внедрение технологий социализации воспитанников интернатов, и необходимость таких технологий обосновывалась следующими данными: «только около 25 % выпускников из числа детей-сирот успешно адаптируются в обществе. Особые проблемы возникают с воспитанниками и выпускниками “группы риска”: дети с асоциальным поведением, дети в конфликте с законом, несовершеннолетние беременные и молодые мамы. Воспитанники... как правило, не готовы к выпуску при нынешней (закрытой) системе обучения» (1). На 2017 год в стране насчитывалось 602 интерната с 22 тысячами воспитанников (2), по итогам 2020 года численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 14079 человек (3). Количество выпускников интернатов на конец 2019 года составило 8724 человека, из замещающих семей — 44565 [19]. В целом по стране к концу 2020 года наблюдалась тенденция к снижению числа интернатов и находящихся в них воспитанников, а также выпускников (4). Однако, согласно данным проведенного исследования, уровень социальной напряженности в интернатах сохраняется, а выпускники нуждаются в помощи со стороны наставников.

Методология нашего исследования в основном определяется структурно-функциональным подходом, позволяющим выявить социальные функции наставников в их взаимосвязи и определить некоторые структурные черты социальной практики наставничества с учетом тех ключевых задач, которые она призвана решать. Данная методология направлена на обоснование гипотезы исследования: реализация социальных функций наставников для выпускников детских домов определяется не только со-

циальной напряженностью в обществе, но и возрастающей потребностью субъектов в адекватной оценке социальной реальности и в формировании ценностных установок, необходимых для выстраивания жизнеутверждающей стратегии индивидуально-личностного развития и активной включенности в социум.

Зарубежные исследователи подчеркивают отсутствие у выпускников необходимого социального опыта для принятия ответственных решений [8; 29; 33] и акцентируют риски, напряженности и стрессы, которым подвержены выпускники, следовательно, роль наставников должна сводиться к помощи в преодолении этих состояний [30; 34; 39]. В зарубежных разработках преобладает интериоризационный подход к наставничеству, восходящий к психологии и социологии личности и рассматривающий преодоление трудных жизненных ситуаций как необходимое условие социализации. В отечественной традиции сложился несколько иной подход — он подчеркивает особую роль наставника на всех этапах социализации воспитанника. Согласно пункту 57 Постановления Правительства РФ от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», на интернатные организации возлагаются обязанности по подготовке детей к самостоятельной жизни, обучению реализации своих прав и исполнению своих обязанностей, а также по оказанию консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи и содействию в получении образования и трудоустройстве. В связи с данной нормой включенность наставника в жизнь воспитанника на разных этапах его жизни становится необходимостью.

Некоторые исследователи считают, что после принятия постановления «появился новый критерий оценки результатов постинтернатного сопровождения — субъективное благополучие выпускника» [14. С. 213], а постинтернатная адаптация предполагает обеспечение интеграции индивида в социум [4; 13; 18; 24; 25]. Соответственно, важная роль отводится наставникам, которые в работе с выпускниками интернатов должны «актуализировать их личностные ресурсы и преодолевать личностные дефициты» [18. С. 112]. Как правило, в изучении наставничества используется методология эколого-динамического и ресурсного подходов. В первом случае решение задач постинтернатной адаптации не зависит исключительно от характеристик выпускника — учитываются отношения «общество — выпускник», условия проживания выпускника, организация его сопровождения и его ближайшее окружение [13. С. 72–73]. Второй подход акцентирует внимание на потребностях выпускника (профессиональное самоопределение, повышение уровня образования и т.д.) и привлечении необходимых ресурсов для их удовлетворения. Некоторые аспекты данной методологии были использованы в нашем исследовании.

Можно выделить следующие ключевые характеристики наставничества: 1) это не инновация, а традиционный метод взаимодействия наставника и подопечного в решении конкретных проблем [3; 7]; 2) это вид отношений с преобладанием доверия, честности, надежности и объективности [16. С. 89; 28. С. 101]; 3) эффект наставничества обеспечивает индивиду «адекватный социальный фон» [26. С. 213; 37]. В то же время роль наставников в жизни выпускников определяется их социальными функциями как инструментами эффективного достижения значимых для общества или его групп целей [33. С. 70–72]. Вполне закономерно в этой связи, что «отношения между наставником и подопечным по своей природе гибки и могут сильно различаться по форме и функциям» [23. С. 233], а сами функции связаны с социальным опытом: наставничество «является фундаментальной социальной потребностью человечества наряду с безопасностью, религией, семьей» [15. С. 66].

В свою очередь, социологический аспект обозначенной проблемы затрагивает как вопросы адаптации индивида к новым условиям социальной реальности, так и перспективы институционализации наставничества [1; 2; 6; 11; 21]. Социологи ставят вопрос о «потребности в наставнике» как о возможности индивида преодолеть напряженность и конфликтность во взаимодействии с людьми и социумом [10], подчеркивая важность наставничества как социального партнерства [21; 22; 36]. В то же время наставничество может рассматриваться и как социокультурный феномен — «исторически сложившаяся, устойчивая и закреплённая нормами права и морали система отношений по поводу социального воспроизводства деятельности людей; институт, обеспечивающий процесс преемственности культуры, норм, ценностей, навыков и умений», и элемент «преемственности поколений» [7. С. 109–110]. В социологии идут дискуссии о социокультурных характеристиках повседневных практик россиян [12] и их роли в укреплении ценностной природы наставничества как способствующего формированию определенных ценностных установок как у наставников, так и у их подопечных [5; 17; 36], что также следует учитывать в оценке социальных функций наставников.

Эмпирическое исследование было проведено в период 2021–2022 годов с помощью метода полуструктурированного интервью: сначала были опрошены наставники, затем их подопечные. Опрос прошел в Новосибирске, где с 2014 года активно работает благотворительный фонд «Солнечный город», реализующий проект «Наставничество». Цель проекта — «сделать так, чтобы у каждого подростка из детского дома был неравнодушный взрослый-наставник», и данный подход уже применяется в 18 регионах России. В Новосибирске действуют пять детских домов с более чем 300 мест для сирот, в 2021 году выпускниками интернатов стали 78 человек. Количество наставников не постоянно, на момент проведения исследования в базе фонда «Солнечный город» насчитывалось 27 человек. Интервью были проведены с 17 наставниками и 21 выпускником интернатов Новосибирска. Все настав-

ники прошли подготовку в фонде «Солнечный город», имеют достаточный опыт взаимодействия с выпускниками, осуществляют наставническую деятельность в течение последних трех лет. Выпускники детских домов были отобраны через группу в социальной сети «ВКонтакте» «Союз выпускников детских домов Новосибирска». В среднем на интервью было затрачено не более одного часа, все респонденты ответили на все вопросы, отказов в ходе исследования не было.

Средний возраст наставников составил 44 года (самому молодому — 32 года, самому старшему — 53), незначительно преобладали женщины (10). Высшее образование имели 13 наставников, профиль образования — гуманитарный (11) и естественнонаучный (6), у 4 наставников среднее профессиональное образование. По роду своей деятельности наставники в основном были заняты в сферах образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, туризма, некоторые имели малый бизнес или работали на должностях инженера, журналиста, агента по рекламе и т.д.

В основном возраст опрошенных выпускников детских домов — 19 лет (16) или 20–21 год (5), было опрошено 12 девушек и 9 юношей. С момента их выпуска из интерната прошло от года до полутора лет. Три участника исследования были студентами вузов, четверо обучались в системе среднего профессионального образования, 11 трудились в сферах торговли, почтовой связи, жилищного хозяйства, ремонта автомобилей и т.д., 3 человека не работали. Все информанты провели в разных интернатах Новосибирска более пяти лет.

В гайде интервью с наставниками было три основных блока: 1) отношение к системе интернатных организаций и их выпускникам; 2) личностные качества, убеждения и ценностные ориентации, позволившие стать наставником; 3) оценка своей роли в судьбе и повседневной жизни подопечного (социальные функции наставника). Гайд интервью с выпускниками содержал два основных блока: 1) нюансы восприятия взрослой самостоятельной жизни после выпуска из интерната; 2) отношение к своим наставникам. После проведения интервью были транскрибированы и были составлены соответствующие таблицы по обеим группам информантов.

Исследование имеет два ограничения. Во-первых, это отсутствие интервью с руководителями общественных организаций, представителями бизнес-структур, попечителями и меценатами, поддерживающими проекты наставничества для выпускников интернатов. Такие материалы могли бы дополнить картину поддержки выпускников совместными действиями наставников, представителей общественных структур и активистов. Во-вторых, в ходе интервью не затрагивался конфликтный потенциал взаимодействия наставников и их подопечных.

В ходе работы были выделены смысловые блоки, исходя из тех проблем выпускников, которые помогают решать наставники: 1) гуманистический

блок — восприятие субъектами социальной реальности и соответствующая адаптация к ней (основной проблемой выпускников становится обеспечение социальных связей, интеграция в социум с адекватной оценкой конфликтности, напряженности в отношениях и социальных практиках); 2) жизнеутверждающий блок — направленная социализация выпускников, связанная с формированием сплоченности и принятием ответственных решений, влекущих за собой в том числе правовые последствия; 3) стратегический блок — решение конкретных задач по управлению своим потенциалом — выстраивание приоритетов в образовании, труде, создании семьи и т.д., а также поддержание необходимого уровня социальной коммуникации.

Гуманистический блок. Восприятие социальной реальности и адаптация к ней в части следования образцам коммуникативного взаимодействия и преодоления напряженности — одна из ключевых проблем выпускников сразу после выхода из интерната. Так, выпускники нередко воспринимали социальную реальность как испытание или преодоление сопротивления по отношению к ним: *«взрослая жизнь — это не только праздник, это будни серые, беспросветные, не знаешь, куда идти и с чего начать»*; *«сначала было радостно: вот новая жизнь, все зависит только от тебя, но потом возникла масса вопросов, голова от них лопнет»*; *«жизнь, конечно, закрутилась серьезно, я вдруг понял, что нужно еще больше сил, чтобы справиться с проблемами»*; *«нужно многое преодолеть, чтобы понять как устроена жизнь»*.

Наставники также отмечали, что их подопечные сталкиваются со сложностями восприятия самостоятельной жизни, недооценивают повседневные проблемы: *«интернаты дали развитие, сформировали установки, но они не могут обеспечить уровень самостоятельности, не дают ощутить жизнь»*; *«в детском доме им было неплохо, есть забота, есть общение, но этого явно недостаточно: жизнь ставит перед такими ребятами множество вопросов, кто-то из них получит серьезные жизненные уроки»*; *«это обычные дети, они еще слабые, это кажется, что они смелые, нет, это не так»*. В целом наставники не сомневаются, что интернаты способны формировать личность подростков, но в то же время признают недостаточность такого воздействия, отмечая отсутствие индивидуальной работы с подростками, установки на коллективное начало и стирание границ индивидуального пространства, неэффективность социальной поддержки: *«им прививают установку, что все будет в жизни хорошо, почти идеально, но это конечно же не так»*; *«им давали представление об идеалах, но в жизни и в интернате это все же разные представления»*.

В основе выбора деятельности наставника лежат определенные качества личности, убеждения и ценностные ориентации, поэтому не каждый может стать наставником — необходимо обладать «прочным гуманистическим потенциалом» — уважать людей, идти им навстречу, быть добрым, отзывчивым, способным оказать помощь или поддержку в трудной жизненной ситуации

[38. С. 112]. Респонденты убеждены, что в основе их выбора лежит убеждение в необходимости помогать людям и отношении к воспитанникам как остро нуждающимся в помощи и опеке: *«трудно пройти мимо таких детей»; «наставником быть тяжело и даже невыносимо, но потом чувствуешь, что мы с выпускниками на одной волне»; «стать наставником — это зов души»; «нужно знать, как предложить ребятам нашу помощь»*. Среди наиболее важных для наставника качеств респонденты назвали ответственность (14), способность сопереживать (12), знание жизни (12) и доброту (11), т.е. на первое место выходит рациональное отношение к своей деятельности — им приходится вместе с подопечными принимать ответственные решения.

Жизнеутверждающий блок. Наставники полагают, что выпускникам недостает жизнеутверждающего потенциала, связывая это с недостаточно направленной социализацией. Наставники выпускников выступают в качестве агентов социализации: *«я вижу свое участие в жизни ребят в том, чтобы они стали полноценными членами общества»; «они оказались одни, поэтому важно показать им, как все здесь устроено, что можно многого добиться своим трудом и отношением к окружающим»; «нужно сделать так, чтобы они не стали изгоями»*. Также наставники отмечали, что выпускники сталкиваются с проблемами вхождения в социальную среду практически сразу после выхода из интерната, т.е. роль наставников в социальной адаптации возрастает: *«я видела, как ему сложно, все было написано на его лице, но мы собрались с силами»; «мы сразу разработали план наших совместных действий, чтобы важные моменты сделать понятными»*.

Реализация наставниками социализирующей функции обеспечивает вхождение выпускников в социальную жизнь и привитие им социальных навыков. Данная функция реализуется и в конкретной помощи: например, наставники оказывали поддержку подопечным, когда те привлекались к ответственности за нарушения правопорядка — мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков в общественных местах, нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, мелкую кражу и т.д. При этом наставники не только присутствовали на юридических мероприятиях, сопутствующих данным случаям, но и привлекали для помощи адвокатов и сотрудников общественного фонда. Этот опыт дал им понять, что социализирующий фактор должен быть значительно усилен: *«после ареста я понял, что здесь нужен другой подход — важен жизненный урок, это лучший фактор воспитания»; «после тех событий пришлось засучить рукава и сделать план воспитательных мероприятий, все было сделано по науке, я консультировался со специалистами»*.

Стратегический блок раскрывает суть проблем выпускников, связанных с управлением собственным потенциалом. Так, большой объем работ был выполнен наставниками при трудоустройстве выпускников. Отвечая на вопрос «Как долго пришлось помогать подопечному при поиске работы

и трудоустройстве?», респонденты называли срок от 3 до 8 месяцев; примерно в таком же временном диапазоне их подопечные были вынуждены менять работу по разным причинам — из-за недостаточного профессионального опыта, в связи с нарушениями трудового режима (опоздания, невыполнение должностных обязанностей и т.д.), отказом от выполнения требований после испытательного срока, причинением порчи вверенному имуществу и др. В среднем наставники осуществляли сопровождение своих подопечных при трудоустройстве чаще двух раз в течение первых полутора лет и считают этот показатель довольно критическим для соответствующего этапа социализации, полагая, что он может быть скорректирован воспитательными мероприятиями (посещение спецкурсов «как найти работу», стажировки и т.д.).

Выпускники также отмечают социализирующую функцию наставников, и именно она повлияла на их позитивное отношение к своим наставникам: *«я понимал, что одному мне не пройти эти испытания, нужен был настоящий товарищ, я получил хорошую помощь»*; *«был страх, что не смогу влиться в эту жизнь, не было опыта, но пройти сложности мне помог наставник»*; *«я очень благодарна своему наставнику, потому что я многого не знала и не могла принимать решения, но его советы меня спасли»*. По шкале востребованности средний показатель наставничества достаточно высок — 7 баллов из 10. Сомнения по поводу эффективности наставничества выпускники связывают в основном со значительной возрастной разницей (между ними и наставниками), спецификой рода занятий наставников (*«она — учительница, с ней трудно, и читать книжки я пока не готов»*), излишней опекой и навязыванием своего мнения даже по простым вопросам. Вместе с тем некоторым выпускникам, напротив, не хватало внимания со стороны наставников: *«я была бы не против, если бы мы почаще общались, так я чувствую себя увереннее»*.

Несомненно, выпускники нуждаются в помощи наставников для улучшения социальной коммуникации, поскольку длительное время не могут выстроить серьезные отношения с другими людьми, которые, например, могли бы стать основой для семейных отношений. В этой связи принципиально важна социально-коммуникативная функция наставничества: в одном случае наставник помог своему подопечному записаться в спортивную секцию и занять место в команде, неоднократно посещал соревнования и замечал, как изменяются коммуникативные навыки подопечного в лучшую сторону, — *«он смотрел на всех косо, казалось, что вот сейчас возьмет и убежит из спортзала, но мы справились: он стал лучше общаться»*. Другой наставник оказал поддержку выпускнику в поступлении на курсы профподготовки, когда *«она боялась туда идти, не могла ответить на элементарные вопросы при записи на курсы»*.

Социально-коммуникативная функция реализуется и при поддержке подопечных в создании семьи. Наставники подчеркивали, что именно семья

является самым сложнодостижимым форматом отношений для выпускников по ряду причин: общая жизненная неустроенность, отсутствие необходимого социального опыта, снижение чувства ответственности перед другими, неустойчивое и критическое самовосприятие и т.д. Наставники давали советы по поводу семейных отношений, деликатно раскрывали подробности брака и рождения детей, в целом создавали у своих подопечных образ семьи как необходимого условия развития и «вживания» в социум.

Также наставники нацелены на приобщение своих подопечных к культурным ценностям и нормам, хотя «наиболее сложный момент в достижении результата во взаимодействии наставника со своим подопечным — это создание ценностно-нормативного континуума» [27. С. 28]. Для выпускников было важно, что их наставники стремятся обозначить ценностные приоритеты социального бытия и раскрыть их нюансы: *«мы все время говорим о том, что принято в обществе, а чего делать нельзя»*; *«наставник рассказывает случаи из жизни, и я понимаю, что он хочет показать, как в мире все устроено»*. Очевидно, что в действиях наставников проявляется социокультурная функция, помогающая адаптировать или включить выпускника в «ценностно-нормативный континуум». На вопрос о том, считают ли наставники важным направлением своей деятельности передачу ценностей и норм, они отвечали утвердительно: *«мы часто видим вокруг бескультурье и жестокость, так не должно быть, и важно это донести до наших ребят»*. В качестве инструментов приобщения к конкретным ценностям и нормам были указаны следующие: рассказы о жизненных ситуациях, совместные походы в театры, кино и музеи, запись в библиотеку и контроль ее посещений, просмотр научно-популярных и просветительских программ и т.д. Реализация социокультурной функции способна минимизировать последствия ценностно-нормативного диссонанса, при котором вероятность развития девиантного поведения у выпускников сохраняется или даже возрастает.

Таким образом, очевиден высокий уровень функциональности наставников на этапе постинтернатной адаптации выпускников — они принимают активное участие во всех сферах жизни своих подопечных, способствуют их скорейшему вхождению в социальную жизнь. Деятельность наставников связана не столько с удовлетворением частных потребностей выпускников, сколько с привитием им необходимых навыков и компетенций для самостоятельной жизни. Расширение «функционала» наставников определяется сложными моментами в жизнедеятельности тех социальных групп, представители которых оказались в трудной жизненной ситуации или столкнулись с объективными проблемами. Поэтому роли наставников становятся самостоятельным объектом научного исследования и предполагают выявление их социальных функций.

В ходе эмпирического исследования на основе статистических данных была выявлена тенденция к снижению количества интернатов и их воспи-

танников (и выпускников), но в то же время к увеличению числа проблем социального характера, с которыми сталкиваются выпускники; на основе полуструктурированных интервью были оценены разные аспекты взаимодействия выпускников и их наставников и выявлены основные социальные функции наставничества. На основе полученных данных можно сформулировать следующие рекомендации для улучшения работы наставников и развития социальной практики наставничества: гуманистический блок — наставники должны более активно включаться в жизнь подопечных еще на этапе их пребывания в детском доме, когда подросток не получает достаточных навыков для адекватной оценки социальной реальности, но в то же время практика наставничества должна следовать гуманистическим принципам открытого и заинтересованного участия в жизни людей, находящихся в трудной жизненной ситуации; жизнеутверждающий блок — наставникам необходимо делать ставку на коллективные (групповые) формы работы, возможно, на работу двух–трех наставников для небольшой группы выпускников; стратегический блок — для полноценного наставничества необходимо дополнительное образование и получение соответствующих компетенций.

Примечания

- (1) Разработка и внедрение технологий социализации воспитанников организаций // URL: <https://rostender.info/region/moskva-gorod/23867540-tender-razrabotka-i-vnedrenie-tehnologij-socializacii-vospitannikov-organizacij-dlya-detej-sirot-i-detej-ostavshihsyabez-popecheniya-roditelej-i?rnd=1687284186>.
- (2) Статистика детей-сирот в России на 2021 год // URL: <https://obesppravovoe.ru/statistika-detej-sirot-v-rossii-2021-oficialnyj-sajt>.
- (3) Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в стационарных учреждениях социального обслуживания // URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/41601>.
- (4) Сводные отчеты по форме федерального статистического наблюдения № 103-рик по России в целом и субъектам РФ «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за 2020 год» // URL: <https://docs.edu.gov.ru/document/17bc19963749a7f29e59d09c0c7e6faa>.

Библиографический список

1. Аксенова О.В., Халий И.А. Современное развитие. К постановке темы исследования // Вестник Института социологии. 2018. № 24.
2. Ахмедова М.Г., Горелова Н.Н. Понятия наставничества и социализации // Социальная политика и социология. 2013. Т. 1. № 3.
3. Байер Е.А., Аваков С.И. Профессионально-значимые личностные качества наставника-волонтера в социализации детей-сирот // Вестник педагогических наук. 2020. № 2.
4. Бобылева И.А. Подготовка кадров для постинтернатного сопровождения сирот: анализ опыта // Историческая и социально-образовательная мысль. 2015. № S2.
5. Быков А.В. Роль ценностей в профессиональном выборе молодых людей: к возможности социологического осмысления // ИНАБ № 2–2017. Занятость молодежи в мотивационном и структурном измерении. М., 2017.
6. Возьмителъ А.А. Концептуальные основы социологии образа жизни // Вестник Института социологии. 2017. № 23.

7. *Гаспаршвили А.Т., Крухмалева О.В.* Наставничество как социальный феномен: современные вызовы и новые реалии // Народное образование. 2019. № 5.
8. *Джой-Меттьюз Д.* Развитие человеческих ресурсов. М., 2006.
9. *Климов И., Абрамов Р.* Как сиротам помогают встроиться в общество // URL: <https://iq.hse.ru/news/196270157.html>.
10. *Коренькова М.М.* Потребность в профессиональном и личном наставничестве в современном социуме // Вестник Института социологии. 2019. № 29.
11. *Кочеткова О.Е., Пустовойт Н.В.* Наставничество как социальный феномен // *Modern Science*. 2020. № 5–4.
12. *Осадчая Г.И.* Социокультурные характеристики повседневных практик россиян. М., 2013.
13. *Ослон В.Н., Селенина Е.В.* Технология постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот в процессе получения профессионального образования и при первичном трудоустройстве // Психолого-педагогические исследования. 2018. Т. 10. № 3.
14. *Ослон В.Н., Семья Г.В., Колесникова У.В., Яровикова О.А.* Субъективное благополучие выпускников организаций для детей-сирот в различных условиях проживания // Психологическая наука и образование. 2021. Т. 26. № 6.
15. *Петровская Е.С.* Институт наставничества в военном летном вузе: проблемы и перспективы // Поволжский педагогический вестник. 2019. Т. 7. № 1.
16. *Поздеева С.И.* Наставничество как деятельностное сопровождение молодого специалиста: модели и типы наставничества // Научно-педагогическое обозрение. 2017. № 2.
17. *Пронина Е.И.* Формирование ценностей здорового образа жизни (по результатам опроса молодежи и подростков) // Теория и практика общественного развития в свете современного научного знания. М., 2019.
18. *Селенина Е.В.* Формирование социально-психологической готовности к первичному трудоустройству у выпускников интернатных учреждений // Вестник Бурятского государственного университета. 2012. № 1/1.
19. *Семья Г.В.* Сравнительный анализ постинтернатной адаптации выпускников из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей: двадцать лет спустя // Психология и право. 2021. Т. 11. № 4.
20. *Сизоненко Р.В.* Институционализация наставничества в современных социально-экономических условиях // Общество: социология, психология, педагогика. 2021. № 8.
21. *Скуднова Т.Д.* Институт наставничества как социальный феномен // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2023. № 1.
22. *Слободчиков В.И., Филатова Е.В.* Организация наставничества как формы социального партнерства в области профессионального образования // Вестник КемГУКИ. 2012. № 18.
23. *Соина В.М.* Наставничество как предмет научной рефлексии // Мир науки, культуры, образования. 2020. № 5.
24. *Телицына А.Ю.* Социальная адаптация детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения в замещающих семьях // Социальные науки и детство. 2021. Т. 2. № 2.
25. *Телицына А.Ю., Милакова А.Ю.* Социальные установки выпускников детских (интернатных) учреждений в отношении будущего // Психологическая наука и образование. 2021. Т. 26. № 6.
26. *Фролова С.В., Базарнова Н.Д.* Наставничество и менторинг: анализ понятий // Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 61–2.
27. *Carger C.L.* The two Bills: Reflecting on the gift of mentorship // *Peabody Journal of Education*. 1996. Vol. 71. No. 1.
28. *Clinard L.M., Ariav T.* What mentoring does for mentors: A cross-cultural perspective // *European Journal of Teacher Education*. 2010. Vol. 21. No. 1.
29. *Daloz L.A.* *Effective Teaching and Mentoring*. San Francisco, 2018.

30. *Gates L.B., Pearlmutter S., Keenan K. et al.* Career readiness programming for youth in foster care // *Children and Youth Services Review*. 2018. Vol. 89.
31. *Geiger J.M., Beltran S.J.* Experiences and outcomes of foster care alumni in postsecondary education: A review of the literature // *Children and Youth Services Review*. 2017. Vol. 79.
32. *Geiger J.M., Piel M.H., Day A., Schelbe L.* A descriptive analysis of programs serving foster care alumni in higher education: Challenges and opportunities // *Children and Youth Services Review*. 2018. Vol. 85.
33. *Kaye B.* Love “Em or Lose Em”: Getting Good People to Stay. San Francisco, 2019.
34. *Lenz-Rashid S.* An urban university campus support program for students from foster care: Services and outcomes // *Children and Youth Services Review*. 2018. Vol. 88.
35. *Meckford T.* Social Characteristics of the Most Relevant Social Transformations in the Conditions of Post-Capitalism. New York, 2017.
36. *Mendez A.* Mentoring as a Holistic Approach to Social and Academic Integration. URL: <https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/340170/Andres%20Mendez.Thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y>.
37. *Richert V.* Mentoring und lebenslanges Lernen. Individuelles Wissensmanagement im Informationszeitalter. Saarbrücken, 2018.
38. *Sinclair I., Gibbs I.* Children’s Homes: A Study in Diversity. Chichester, 2012.
39. *Teodorczuk K., Guse T., A du Plessis G.* The impact of positive psychological interventions on the hope and well-being of adolescents living in a child and youth care center // *British Journal of Guidance & Counselling*. 2019. Vol. 47. No. 2.

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-564-578

EDN: VOMQXB

Social functions of mentors for graduates of orphanages (on the example of Novosibirsk)*

E.A. Popov

Altai State University,
Dimitrova St., 66, Barnaul, 656049, Russia

(e-mail: popov.eug@yandex.ru)

Abstract. The study of the phenomenon of mentoring is determined by challenges in the social existence of individuals and groups that find themselves in a difficult life situation. The article focuses on the graduates of organizations for orphans and children left without parental care, who face adaptive, social and social-cultural difficulties after leaving the orphanage, and in this situation the role of mentors is crucial. Based on the semi-structured interviews with mentors (N = 17) and graduates (N = 15) of orphanages in Novosibirsk, the author identifies social functions of mentors and the graduates’ attitude to them. Novosibirsk was chosen as the first city in Russia, in which mentoring system for graduates of orphanages was tested. The article focuses on the social functions of mentors based on the idea that the social function is an effective means for achieving goals that are significant for society or its groups. The following social functions of mentors were identified: socializing, social-communicative and social-cultural. These functions allow to define mentoring not only as a pedagogical phenomenon, but also as a social practice that determines the interaction

*© E.A. Popov, 2023

The article was submitted on 28.02.2023. The article was accepted on 15.06.2023.

of representatives of different social groups/communities. Such interaction is purposeful, reflects the completeness of the subjects' life worlds and their value orientations, forms meaningful attitudes and improves the quality of life in general. The study showed that the interaction between mentors and graduates is positive and contributes to the improvement of the graduates' social life. The author identifies the key markers of the mentors' attitude to the social practices of the orphanage, their estimates of its role in the formation of personality and value orientations. The approach presented in the article allows to consider mentoring as an important factor of socialization.

Key words: socialization; social adaptation; motivation; values; mentoring; graduates of orphanages; mentoring functions

References

1. Aksenova O.V., Khaliy I.A. Sovremennoe razvitiye. K postanovke temy issledovaniya [Contemporary development. On the formulation of the research topic]. *Vestnik Instituta Sotsiologii*. 2018; 24. (In Russ.).
2. Akhmedova M.G., Gorelova N.N. Ponyatiya nastavnichestva i sotsializatsii [Concepts of mentoring and socialization]. *Sotsialnaya Politika i Sotsiologiya*. 2013; 1 (3). (In Russ.).
3. Bayer E.A., Avakov S.I. Professionalno-znachimye lichnostnye kachestva nastavnika-volontera v sotsializatsii detej-sirot [Professionally significant personal qualities of the mentor-volunteer in the socialization of orphans]. *Vestnik Pedagogicheskikh Nauk*. 2020; 2. (In Russ.).
4. Bobyleva I.A. Podgotovka kadrov dlya postinternatnogo soprovozhdeniya sirot: analiz opyta [Personnel training for the post-orphanage support]. *Istoricheskaya i Sotsialno-Obrazovatel'naya Mysl*. 2015; S2. (In Russ.).
5. Bykov A.V. Rol tsennostej v professionalnom vybore molodyh lyudej: k vozmozhnosti sotsiologicheskogo osmysleniya [The role of values in the professional choice of the youth: On the sociological understanding]. *INAB 2–2017*. Moscow; 2017. (In Russ.).
6. Vozmitel A.A. Kontseptualnye osnovy sotsiologii obraza zhizni [Conceptual foundations of sociology of lifestyle]. *Vestnik Instituta Sotsiologii*. 2017; 23. (In Russ.).
7. Gasparishvili A.T., Krukhmaleva O.V. Nastavnichestvo kak sotsialny fenomen: sovremennye vyzovy i novye realii [Mentoring as a social phenomenon: Contemporary challenges and new realities]. *Narodnoe Obrazovanie*. 2019; 5. (In Russ.).
8. Joy-Matthews D. *Razvitiye chelovecheskih resursov* [Human Resource Development]. Moscow; 2006. (In Russ.).
9. Klimov I., Abramov R. Kak sirotam pomogayut vstroitsya v obshchestvo [How orphans are helped in social integration]. URL: <https://iq.hse.ru/news/196270157.html>. (In Russ.).
10. Korenkova M.M. Potrebnost v professionalnom i lichnom nastavnichestve v sovremennom sotsiume [The need for professional and personal mentorship in the contemporary society]. *Vestnik Instituta Sotsiologii*. 2019; 29. (In Russ.).
11. Kochetkova O.E., Pustovoit N.V. Nastavnichestvo kak sotsialny fenomen [Mentoring as a social phenomenon]. *Modern Science*. 2020; 5–4. (In Russ.).
12. Osadchaya G.I. *Sotsiokulturnye kharakteristiki povsednevnykh praktik rossiyan* [Social-Cultural Features of Russians' Everyday Practices]. Moscow; 2013. (In Russ.).
13. Oslon V.N., Selenina E.V. Tekhnologiya postinternatnogo soprovozhdeniya vypusknikov organizatsij dlya detej-sirot v protsesse polucheniya professionalnogo obrazovaniya i pri pervichnom trudoustrojstve [The technology of post-orphanage support during vocational education and primary employment]. *Psikhologo-Pedagogicheskie Issledovaniya*. 2018; 10 (3). (In Russ.).
14. Oslon V.N., Semya G.V., Kolesnikova U.V., Yarovikova O.A. Sub'ektivnoe blagopoluchie vypusknikov organizatsij dlya detej-sirot v razlichnykh usloviyakh prozhivaniya [Subjective well-being of the graduates of organizations for orphans in various living conditions]. *Psikhologicheskaya Nauka i Obrazovanie*. 2021; 26 (6). (In Russ.).

15. Petrovskaya E.S. Institut nastavnichestva v voennom letnom vuze: problemy i perspektivy [Mentoring in a military flight university: Problems and prospects]. *Povolzhsky Pedagogichesky Vestnik*. 2019; 7 (1). (In Russ.).
16. Pozdeeva S.I. Nastavnichestvo kak deyatelnostnoe soprovozhdenie molodogo spetsialista: modeli i tipy nastavnichestva [Mentoring as a support practice for the young specialist: Models and types]. *Nauchno-Pedagogicheskoe Obozrenie*. 2017; 2 (16). (In Russ.).
17. Pronina E.I. Formirovanie tsennostey zdorovogo obraza zhizni (po rezul'tatam oprosa molodezhi i podrostkov) [Formation of the healthy lifestyle values (results of the survey of the youth and teenagers)]. *Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya v svete sovremennogo nauchnogo znaniya*. Moscow; 2019. (In Russ.).
18. Selenina E.V. Formirovanie sotsialno-psikhologicheskoy gotovnosti k pervichnomu trudoustrojstvu u vypusknikov internatnykh uchrezhdenij [Social-psychological readiness for primary employment of the orphanage graduates]. *Vestnik Buryatskogo Gosudarstvennogo Universiteta*. 2012; 1/1. (In Russ.).
19. Semya G.V. Sravnitelny analiz postinternatnoj adaptatsii vypusknikov iz chisla detej-sirot, ostavshikhya bez popecheniya roditel'ej: dvadtsat let spustya [Comparative analysis of the post-orphanage adaptation: Twenty years later]. *Psikhologiya i Pravo*. 2021; 11–4. (In Russ.).
20. Sizonenko R.V. Institucionalizatsiya nastavnichestva v sovremennykh sotsialno-ekonomicheskikh usloviyakh [Institutionalization of mentoring in the contemporary social-economic conditions]. *Obshchestvo: Sotsiologiya, Psikhologiya, Pedagogika*. 2021; 8. (In Russ.).
21. Skudnova T.D. Institut nastavnichestva kak sotsialny fenomen [Mentoring as a social phenomenon]. *Gosudarstvennoe i Munitsipalnoe Upravlenie. Uchenye Zapiski*. 2023; 1. (In Russ.).
22. Slobodchikov V.I., Filatova E.V. Organizatsiya nastavnichestva kak formy sotsialnogo partnerstva v oblasti professionalnogo obrazovaniya [Organization of mentoring as a form of social partnership in vocational education]. *Vestnik KemGUKI*. 2012; 18. (In Russ.).
23. Soina V.M. Nastavnichestvo kak predmet nauchnoj refleksii [Mentoring as an object of scientific reflection]. *Mir Nauki, Kultury, Obrazovaniya*. 2020; 5. (In Russ.).
24. Telitsyna A.Yu. Sotsialnaya adaptatsiya detej-sirot i detej, ostavshihya bez popecheniya, v zameshchayushchih semyah [Social adaptation of orphans and children left without care in foster families]. *Sotsialnye Nauki i Detstvo*. 2021; 2–2. (In Russ.).
25. Telitsyna A.Yu., Minakova A.Yu. Sotsialnye ustanovki vypusknikov detskih (internatnykh) uchrezhdenij v otnoshenii budushchego [Social attitudes of the orphanage graduates to the future]. *Psikhologicheskaya Nauka i Obrazovanie*. 2021; 26 (6). (In Russ.).
26. Frolova S.V., Bazarnova N.D. Nastavnichestvo i mentoring: analiz ponyatij [Mentoring: Analysis of the concept]. *Problemy Sovremennogo Pedagogicheskogo Obrazovaniya*. 2018; 61–2. (In Russ.).
27. Carger C.L. The two Bills: Reflecting on the gift of mentorship. *Peabody Journal of Education*. 1996; 71 (1).
28. Clinard L.M., Ariav T. What mentoring does for mentors: A cross-cultural perspective. *European Journal of Teacher Education*. 2010; 21 (1).
29. Daloz L.A. *Effective Teaching and Mentoring*. San Francisco; 2018.
30. Gates L.B., Pearlmutter S., Keenan K. et al. Career readiness programming for youth in foster care. *Children and Youth Services Review*. 2018; 89.
31. Geiger J.M., Beltran S.J. Experiences and outcomes of foster care alumni in postsecondary education: A review of the literature. *Children and Youth Services Review*. 2017; 79.
32. Geiger J.M., Piel M.H., Day A., Schelbe L. A descriptive analysis of programs serving foster care alumni in higher education: Challenges and opportunities. *Children and Youth Services Review*. 2018; 85.
33. Kaye B. *Love “Em or Lose Em”: Getting Good People to Stay*. San Francisco; 2019.
34. Lenz-Rashid S. An urban university campus support program for students from foster care: Services and outcomes. *Children and Youth Services Review*. 2018; 88.

35. Meckford T. *Social Characteristics of the Most Relevant Social Transformations in the Conditions of Post-Capitalism*. New York; 2017.
36. Mendez A. Mentoring as a Holistic Approach to Social and Academic Integration. URL: <https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/340170/Andres%20Mendez.Thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y>.
37. Richert V. *Mentoring und lebenslanges Lernen. Individuelles Wissensmanagement im Informationszeitalter*. Saarbrücken; 2018.
38. Sinclair I., Gibbs I. *Children's Homes: A Study in Diversity*. Chichester; 2012.
39. Teodorczuk K., Guse T., A du Plessis G. The impact of positive psychological interventions on the hope and well-being of adolescents living in a child and youth care center. *British Journal of Guidance & Counselling*. 2019; 47 (2).



DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-579-589

EDN: VOSQYG

Эмпатия студентов в контексте риска экстремизма*

В.А. Тупикова, Я.А. Гудкова, Е.Г. Овчинников-Лысенко

Российский университет дружбы народов,
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198, Россия

(e-mail: tupikova-va@rudn.ru; gudkova_yaa@rudn.ru; 1042200009@rudn.university)

Аннотация. В нестабильных условиях масштабы экстремизма как формы противоправных действий продолжают расти. Снижение числа преступлений экстремистской направленности, отраженное в статистических данных, является следствием внесения изменений в законодательную базу. В группе риска в первую очередь оказываются молодые люди от 18 до 30 лет, которые в большей степени подвержены психологическому давлению со стороны экстремистских и террористических организаций, и особенно студенческая молодежь, которая уже начала чувствовать отпускающий родительский контроль, но еще не перешла границу полноценной взрослой ответственности. Публичные призывы к совершению экстремистских действий, в которых применяются разные социально-психологические механизмы воздействия, направлены именно на данную возрастную группу. Важную роль в интеграции в экстремистскую среду играет низкий уровень эмоционального интеллекта, эмпатии и психологического благополучия. В январе–феврале 2022 года был проведен опрос для проверки гипотезы о взаимосвязи между уровнем эмпатии и склонностью к насильственному экстремизму. В статье представлены результаты исследования уровня эмпатии и склонности к экстремизму у юношей и девушек, и прямой зависимости между уровнем эмпатии и возрастом выявлено не было. Неожиданным результатом стало то, что общий уровень эмпатии у юношей оказался выше, чем у девушек, и у девушек склонность к проявлению экстремизма вероятнее при высоком уровне эмпатии. Соответственно, повышение уровня эмпатии у молодых людей как способ профилактики экстремистского поведения может рассматриваться как один из аспектов комплексной программы, но не как универсальная стратегия противодействия молодежному экстремизму. Статья может стать основой для эффективной педагогической стратегии по профилактике экстремистской деятельности и снижению риска вовлечения в нее молодых людей. Разработанный подход должен учитывать особенности эмпатии у девушек и юношей, которые влияют на проявления насильственного экстремизма.

Ключевые слова: молодежный экстремизм; студенческая молодежь; экстремистское поведение; эмпатия; радикализм; насилие; группа риска; профилактика экстремизма

*© Тупикова В.А., Гудкова Я.А., Овчинников-Лысенко Е.Г., 2023

Статья поступила 03.03.2023 г. Статья принята к публикации 15.06.2023 г.

До 2017 года экстремизм был одним из наиболее быстро растущих видов преступлений в России (рис. 1), и «снижение показателей преступлений экстремистской направленности [позднее] обусловлено не массовым перевоспитанием экстремистов, а внесением изменений в основную “экстремистскую” статью 282 УК РФ — введением в нее административной преюдиции и, соответственно, “переходом” части деяний, фиксируемых ранее как преступление, в разряд административных правонарушений — статья 20.3.1 КоАП РФ» [8]. С 2020 года отмечается рост числа преступлений экстремистской направленности: на декабрь 2022 года зарегистрировано 2233 преступления террористического характера (+4,5%) и 1556 — экстремистской направленности (+48,2%) [7].

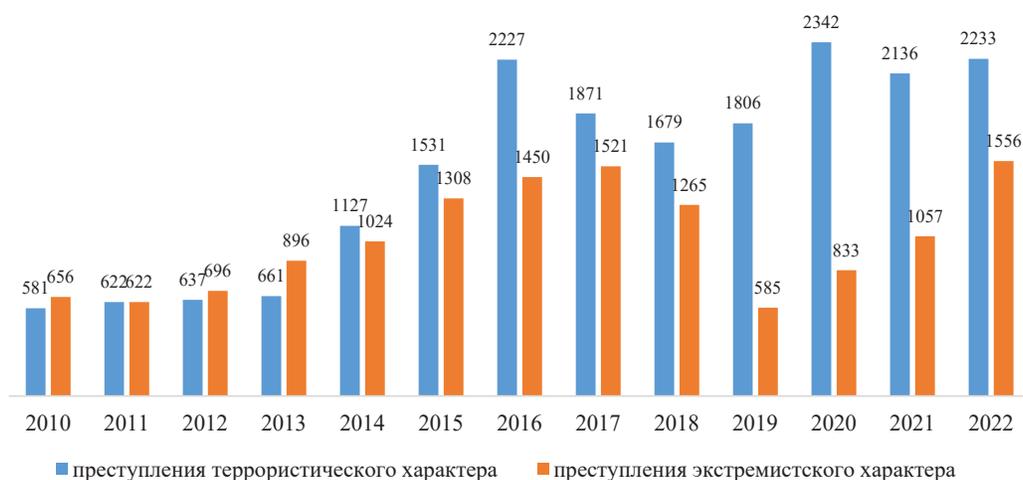


Рис. 1. Число преступлений террористического и экстремистского характера в России в 2010–2022 годы

По данным Судебного департамента Верховного Суда РФ, среди осужденных за преступления экстремистского характера в 2022 году 32% составляли молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет [15]. Данная социально-демографическая группа наиболее подвержена воздействию и внушению со стороны экстремистских и террористических группировок через вовлечение в асоциальные неформальные молодежные организации [33]. Одним из способов вовлечения в деятельность экстремистской направленности стали призывы в социальных сетях, например, массовое обращение к молодым людям выходить на несогласованные митинги и акции, что приравнивается к деятельности экстремистской направленности в соответствии со статьей 280 Уголовного кодекса РФ [1]. Кроме того, молодежный экстремизм характеризуется жесткостью и отличается от «взрослого» «меньшей организованностью, стихийностью, отсутствием четкой идеологической основы» [2]. В силу возраста и неопытности молодые люди не боятся смерти, тюрьмы, физических травм,

поэтому молодежный экстремизм может привести к разрушающим последствиям, если не проводить профилактические мероприятия [2].

В контексте молодежного экстремизма необходимо обратить внимание на студенческую молодежь, которая находится в специфических условиях: не имеет стабильного дохода и социального статуса, но ощущает свободу от родительского контроля. Подобный диссонанс порождает чувство социально-психологической неустойчивости, что, в свою очередь, может провоцировать стихийные проявления радикального поведения [6]. Низкий уровень психологического благополучия влечет за собой риски вовлечения в экстремистскую деятельность [7], а, как правило, в качестве фактора психологического благополучия выступают позитивные отношения с окружающими, в том числе способность к эмпатии, умение устанавливать длительные доверительные связи, гибкость во взаимоотношениях с окружающими [10]. В целом «проявление нетерпимого отношения к другим людям присуще индивидам с плохо развитой эмоциональной сферой» [5]. Молодые люди обладают низкой самооценкой, у них отсутствуют навыки эмпатии и сопереживания, на фоне низкого уровня сензитивности (восприимчивость, тревожность) наблюдается высокая склонность к ксенофобии (включая совершение правонарушений на национальной почве). Изучение уровня сензитивности в контексте распространения экстремизма в молодежной среде позволит выявить наиболее незащищенные группы студентов и разработать профилактический инструментарий молодежного экстремизма.

В январе–феврале 2022 г. был проведен опрос для проверки гипотезы о взаимосвязи между уровнем эмпатии и склонностью к экстремизму и создания комплексной методики диагностики групп риска среди молодежи. Анкета сочетала две методики: опросник эмоциональной эмпатии (Emotional Empathic Tendency Scale, EETS), который предназначен для определения уровня эмпатических тенденций, способности к эмпатии как личностной черты и может быть использован в профессиональном и личностном консультировании (33 вопроса); методика диагностики диспозиций насильственного экстремизма (66 утверждений), включающая в себя шкалы культа силы, допустимости агрессии, интолерантности, конвенционального принуждения, социального пессимизма, мистичности, деструктивности и цинизма, нормативного нигилизма, протестной активности, антиинтрацепции и конформизма. Было опрошено 300 студентов московских вузов от 17 до 22 лет — по 25 мужчин и 25 женщин каждого возраста. Выборка — целевая, выбор возрастного диапазона обусловлен рисками подверженности экстремизму в этой группе.

Согласно данным предшествующих исследований, предпосылки проявления экстремистского поведения у учащихся колледжей — склонность к агрессии и насилию, ориентация на власть и выраженный эгоцентризм, у студентов вузов — зависимое поведение, эгоцентризм и ориентация на деньги, у молодых людей, работающих полный рабочий день, — прочее проти-

воправное поведение, склонность к рискованным действиям, потребность в деньгах и в острых ощущениях [26]. Подтверждена роль индивидуальных предрасположенностей и контекстуальных факторов в радикализации студентов: эмоциональный компонент групповой депривации (гнев, презрение и отвращение) взаимодействует с «темной тетрадой» (макиавеллизм, субклиническая психопатия, нарциссизм и садизм) в предсказании радикальных, но не активистских намерений [27]. Выделены как минимум четыре основные формы предпосылок экстремистского поведения: проблемы идентичности; предрассудки и негативные межгрупповые установки; экстремистские нарративы, убеждения и идеологии; антисоциальность [19]. Многие исследователи говорят о взаимосвязи между способностью к эмпатии и высоким уровнем сопротивления радикализации [29; 33; 36; 37]. Например, тренинг повышения эмпатии как способа предотвращения насильственной радикализации среди подростков-мусульман и молодых мужчин и женщин с мигрантским прошлым [22] показал, что развитие эмпатии успешно противостоит насильственной радикализации, поскольку приобретение радикальной системы убеждений включает в себя четыре элемента: восприятие внегрупповых авторитетных фигур как нелегитимных, восприятие ингруппы как превосходящей, восприятие дистанции по отношению к другим людям, чувство отчужденности и оторванности от общества.

В нашем опросе методика эмоциональной эмпатии (EETS) использовалась дифференцированно [13]: у юношей очень низкий уровень эмпатических тенденций соответствует 0–7 баллам, низкий — 8–16, средний — 17–25, высокий — 26–33; не было выявлено никого с очень низким уровнем эмпатии, половина — со средним уровнем, 13% — с высоким, 35% — с низким. Однако прямой зависимости между возрастом и уровнем эмпатии не обнаружено: больше всего опрошенных с высоким уровнем эмпатии среди 19- и 22-летних (каждый пятый), с низким — среди 17-, 20- и 22-летних (40%–48%) (рис. 2).

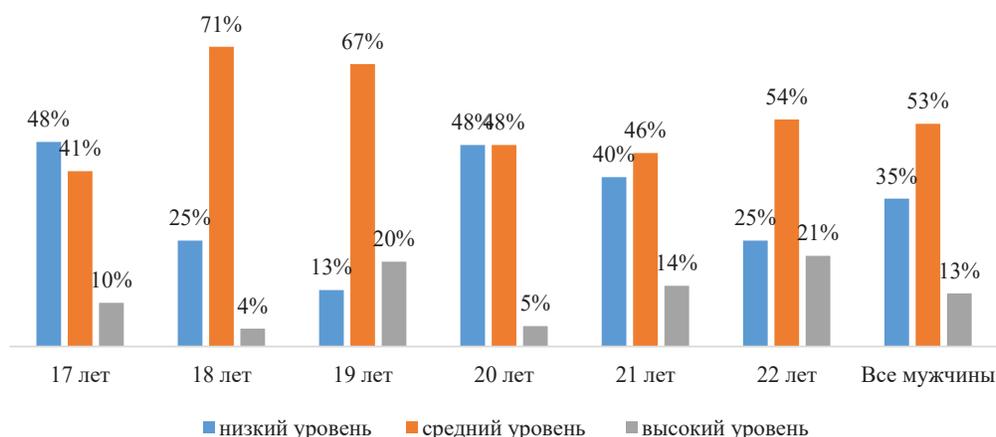


Рис. 2. Уровень эмпатии у юношей

У девушек очень низкий уровень эмпатии — 0–16 баллов, низкий — 17–22, средний — 23–29, высокий — 30–33; 43% опрошенных девушек — обладательницы среднего уровня эмпатии, 37% — низкого, 16% — очень низкого и только 5% — высокого. При этом среди 18-летних больше тех, у кого наблюдается высокий уровень эмпатии (14%), а среди 17-летних — тех, у кого низкий и очень низкий (77%). Таким образом, прямой зависимости между возрастом и уровнем эмпатии у девушек также не наблюдается (рис. 3).

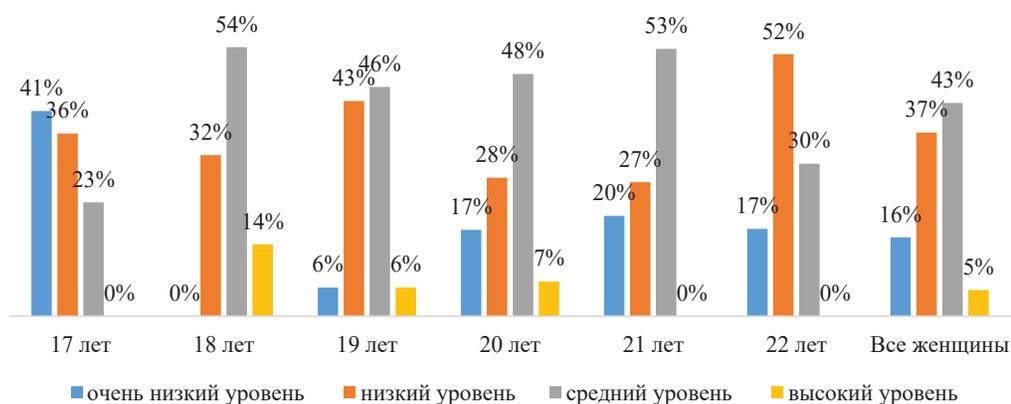


Рис. 3. Уровень эмпатии у девушек

Несмотря на то, что баллы по шкале эмпатии у девушек выше, уровень эмпатии у юношей оказался выше в целом, что подтверждает отсутствие очень низкого уровня эмпатии во всех возрастных категориях юношей и 65% суммарного высокого и среднего уровня эмпатии у юношей против 48% у девушек.

Среди опрошенных немного тех, кто находится в зоне риска: больше студентов в зоне риска оказались по шкалам «антиинтрацепция» (боязнь проявления подлинных чувств, избегание личной свободы — ответственности быть субъектом — и связанной с ней неопределенности и угроз своему Я), «конформизм», «конвенциональное принуждение» (рис. 4). По всем диспозициям в группе риска больше девушек, чем юношей: «инолентность» (19%), «конвенциональное принуждение» (тенденция выискивать людей, не уважающих общие ценности, чтобы осудить, отвергнуть и наказать их) (40%), «социальный пессимизм» (22%), «мистичность» (21%), деструктивность и цинизм (21%), «протестная активность» (26%), «нигилизм» (33 9%)», «антиинтрацепция» (45%) и конформизм (39%). Зависимость нахождения в группе риска от возраста очень слабая: коэффициент Пирсона = 0,1 (табл. 1). Так, чем ниже уровень эмпатии, тем выше склонность к конвенциональному принуждению и мистичности, деструктивности и цинизму у юношей; по всем диспозициям у девушек обратная тенденция — чем выше уровень эмпатии, тем выше склонность к насильственным диспозициям (если не учитывать группу с высоким уровнем эмпатии, но она немногочисленна).

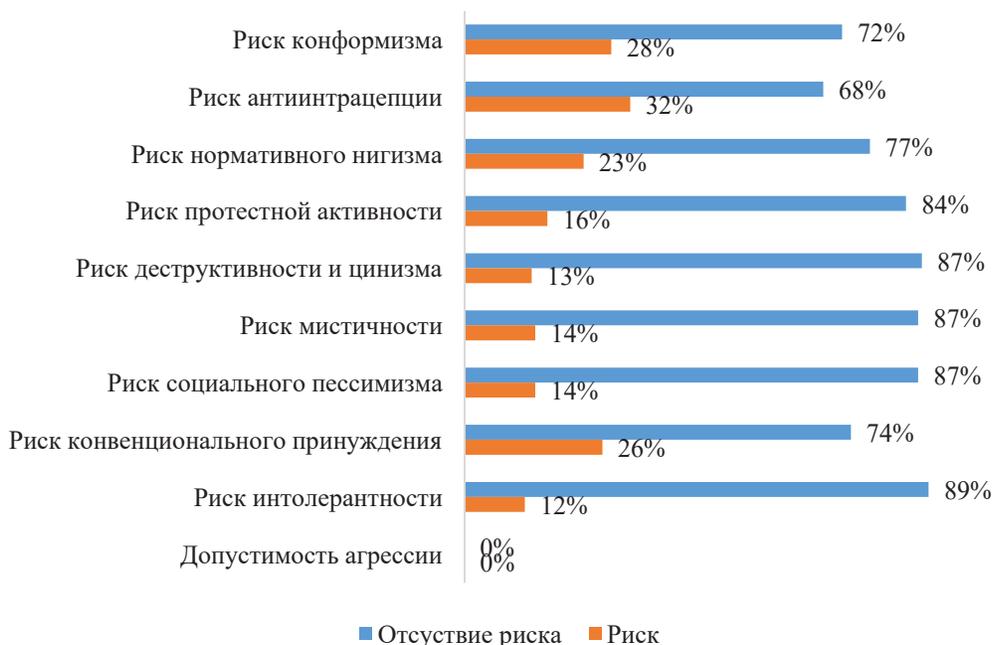


Рис. 4. Группы риска по диспозициям насильственного экстремизма

Таблица 2

Коэффициент Пирсона

Диспозиция	Эмпатия (общ)	Эмпатия (Ж)	Эмпатия (М)	Возраст
Культе силы	0,388**	0,305**	0,175*	-0,160**
Допустимость агрессии	0,321**	0,258**	0,145*	-0,132**
Интолерантность	0,242**	0,193**	0,054	-0,13**
Конвенциональное принуждение	0,228**	0,225**	0,03	-0,113*
Социальный пессимизм	0,16**	0,223**	-0,001	0,08
Мистичность	0,159**	0,261**	0,002	-0,048
Деструктивность и цинизм	0,124**	0,235**	-0,055	-0,032
Протестная активность	0,178**	0,267**	0,023	-0,028
Нормативный нигилизм	0,275**	0,351**	0,079	-0,06
Антиинтрацепция	0,274**	0,317**	0,095	-0,065
Конформизм	0,3**	0,289**	0,145	-0,096

** Значимость на уровне 0,01

* Значимость на уровне 0,05

Хотя мотивационные аспекты радикальных взглядов в значительной степени изучены, мало что известно об особенностях когнитивных процессов радикально настроенных людей. Часть исследователей полагает, что когнитивная негибкость (неспособность быстро адаптироваться к новым социальным ситуациям и категоричность) может сигнализировать о наличии экстремистских установок [36], поскольку способность принимать разные точки зрения — основной механизм эмпатии, основанный на когнитивном функционировании [39] и развитии морали [24]. Другим фактором распространения молодежного экстремизма является несправедливость [23]. Исследования подтверждают более бурную реакцию на несправедливость со стороны радикально настроенных молодых людей, и такая реакция обусловлена «чувствительностью к правосудию» [31]. Более ранние исследования связывали чувствительность к справедливости с эмоциональными компонентами [30], современные исследования показывают, что она больше зависит от когнитивных компонентов эмпатии [21]. Таким образом, эмпатия, включая чувствительность к справедливости, может быть выше у радикально настроенных молодых людей, что отражено в результатах нашего исследования — высокий уровень эмпатии у девушек повышает склонность к экстремизму. В целом у людей с высоким уровнем эмпатии восприятие несправедливости может служить мотивацией предотвращения несправедливости или восстановления справедливости [38]. Поскольку несправедливость может служить базой развития экстремизма, высокий уровень эмпатии оказывается связан с экстремистскими рисками.

Результаты нашего опроса перекликаются с исследованием участия системы симпатии-эмпатии в радикализации молодежи [25], где показано, что радикализация может быть связана не с полным дефицитом эмпатии, а, напротив, с нормальной и даже усиленной эмпатией. Можно утверждать, что развитие эмпатии у юношей (например, в рамках образовательных тренингов) однозначно снижает риск их вовлечения в экстремистскую деятельность, однако обратная тенденция, наблюдаемая у девушек, не позволяет разработать универсальную стратегию противодействия экстремизму среди молодежи, т.е. профилактика экстремистской деятельности должна учитывать разницу в уровнях эмпатии у девушек и юношей, которая влияет на проявления насильственного экстремизма. Основным методом взаимодействия с молодежью должен оставаться открытый диалог, создающий условия для инициатив «снизу» и предполагающий активное участие учащихся благодаря учету личных ценностей и моральных приоритетов молодежи и развитию ее способности к критической оценке действий и смыслов.

Информация о финансировании

Статья подготовлена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук «Разработка социологической методики диагностики группы риска экстремистского поведения среди молодежи» (МК-1466.2022.2).

Библиографический список/References

1. Вломились с обыском спустя пять месяцев: на пермяка завели уголовное дело об экстремизме за комментарий о митинге в поддержку Навального / Vlomilis s obyskom spustya pyat mesyatshev: na permyaka zaveli ugovnoe delo ob ekstremizme za kommentarii o mitinge v podderzhku Navalnogo [They broke in with a search five months later: A criminal case on extremism against Permyak for commenting on a rally in support of Navalny]. URL: <https://59.ru/text/politics/2021/11/03/70216151>. (In Russ.).
2. Гринько С.Д. Профилактика молодежного экстремизма // Государственная служба и кадры. 2021. № 1 / Grinko S.D. Profilaktika molodezhnogo ekstremizma [Prevention of the youth extremism]. *Gosudarstvennaya Sluzhba i Kadry*. 2021; 1. (In Russ.).
3. Гурина О.Д. Ксенофобские установки и личностные особенности подростков с девиантным поведением // Психология и право. 2016. № 1 / Gurina O.D. Ksenofobskie ustanovki i lichnostnye osobennosti podrostkov s deviantnym povedeniym [Xenophobic attitudes and personal characteristics of teens with deviant behavior]. *Psikhologiya i Pravo*. 2016; 1. (In Russ.).
4. Давыдов Д.Г., Хломов К.Д. Методика диагностики диспозиций насильственного экстремизма // Психологическая диагностика. 2017. Т. 14. № 1 / Davydov D.G., Khlomov K.D. Metodika diagnostiki dispozitsiy nasilstvennogo ekstremizma [Methods for diagnostics of dispositions of violent extremism]. *Psikhologicheskaya Diagnostika*. 2017; 14 (1). (In Russ.).
5. Зорькина А.А. Противодействие экстремизму в студенческой среде: актуальные проблемы и пути решения // Образование и право. 2020. № 9 / Zorkina A.A. Protivodeystvie ekstremizmu v studencheskoy srede: aktualnye problemy i puti resheniya [Countering extremism among students: Actual problems and solutions]. *Obrazovanie i Pravo*. 2020; 9. (In Russ.).
6. Капустина Т.В. Разработка и апробация скрининг-метода для диагностики склонности к экстремизму // Психолог. 2022. № 1 / Kapustina T.V. Razrabotka i aprobatsiya skringing-metoda dlya diagnostiki sklonnosti k ekstremizmu [Development and testing of the screening method of propensity to extremism]. *Psikholog*. 2022; 1. (In Russ.).
7. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь–декабрь 2022 года / Kratkaya kharakteristika sostoyaniya prestupnosti v Rossiyskoy Federatsii za yanvar–dekabr 2022 goda [A brief description of the state of crime in the Russian Federation for January–December 2022]. URL: <https://мвд.пф/reports/item/35396677>. (In Russ.).
8. Леонтьева Ю.В., Овчинко О.А. Экстремизм в России: цифры и размышления // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2020. № 3 / Leontieva Yu.V., Ovchinko O.A. Ekstremizm v Rossii: tsifry i razmyshleniya [Extremism in Russia: Figures and reflections]. *Vestnik Sibirskogo Yuridicheskogo Instituta MVD Rossii*. 2020; 3. (In Russ.).
9. Мазуров В.А., Стародубцева М.А. Характеристика современных националистических течений в ФРГ и России: сравнительный анализ // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2019. № 2 / Mazurov V.A., Starodubtseva M.A. Kharakteristika sovremennyh natsionalisticheskikh techeniy v FRG i Rossii: sravnitelny analiz [Contemporary nationalist trends in Germany and Russia: A comparative analysis]. *Vestnik Barnaulskogo Yuridicheskogo Instituta MVD Rossii*. 2019; 2. (In Russ.).
10. Михалева И.М. Психологическое благополучие студентов как фактор профилактики экстремизма // Социальная компетентность. 2017. Т. 2. № 4 / Mikhaleva I.M. Psikhologicheskoe blagopoluchie studentov kak faktor profilaktiki ekstremizma [Psychological well-being of students as a factor of extremism prevention]. *Sotsialnaya Kompetentnost*. 2017; 2 (4). (In Russ.).
11. Никитина Т.А., Терентьева И.А. Формирование системы профилактики экстремизма в студенческой среде: опыт Оренбургского государственного университета // Вестник Поволжского института управления. 2020. Т. 20. № 2 / Nikitina T.A., Terentieva I.A. Formirovanie sistemy profilaktiki ekstremizma v studencheskoy srede: opyt Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta [Development of the system for preventing of extremism

- among students in the Orenburg State University]. *Vestnik Povolzhskogo Instituta Upravleniya*. 2020; 20 (2). (In Russ.).
12. Новиков А.П. Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. СПб., 2018 / Novikov A.P. *Profilaktika terrorizma i ekstremizma v molodezhnoy srede* [Prevention of Terrorism and Extremism among the Youth]. Saint Petersburg; 2018. (In Russ.).
 13. Опросник эмоциональной эмпатии / Oprosnik emotsionalnoy empatii [Emotional Empathy Questionnaire]. URL: https://psylab.info/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8#.D0.9F.D0.BE.D0.B4.D1.81.D1.87.D1.91.D1.82_.D1.81.D1.8B.D1.80.D1.8B.D1.85_.D0.B1.D0.B0.D0.BB.D0.BB.D0.BE.D0.B2. (In Russ.).
 14. Российский протест выходит из интернета на улицу / Rossiysky protest vykhodit iz interneta na ulitsu [Russian protest changes the Internet for the street]. URL: <https://www.dw.com/ru/kommentarij-rossijskij-protest-vyhodit-iz-interneta-na-ulicu/a-56334388>. (In Russ.).
 15. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2022 год / Svodnye statisticheskie svedeniya o sostoyanii sudimosti v Rossii za 2022 god [Summary statistical data on the criminal record in Russia for 2022]. URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=7649>. (In Russ.).
 16. Троцук И.В. Справедливость в социологическом дискурсе: семантические, эмпирические, исторические и концептуальные поиски // Социологическое обозрение. 2019. Т. 18. № 1 / Trotsuk I.V. Spravedlivost v sotsiologicheskom diskurse: semanticheskie, empiricheskie, istoricheskie i kontseptualnye poiski [Justice in sociological discourse: Semantic, empirical, historical, and conceptual challenges]. *Russian Sociological Review*. 2019; 18 (1). (In Russ.).
 17. Троцук И.В., Субботина М.В. «Ядро» и «периферия» понятий «счастье» и «справедливость»: метод неоконченных предложений как инструмент валидации // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2022. Т. 22. № 4 / Trotsuk I.V., Subbotina M.V. “Yadro” i “periferiya” ponyatiy “schastie” i “spravedlivost”: metod neokonchennyh predlozheniy kak instrument validizatsii [‘Core’ and ‘periphery’ of the concepts ‘happiness’ and ‘justice’: Unfinished sentences technique as a means of validation]. *RUDN Journal of Sociology*. 2022; 22 (4). (In Russ.).
 18. Экстремизм: понятие, виды, ответственность / Ekstremizm: ponyatie, vidy, otvetstvennost [Extremism: concept, types, responsibility]. URL: <https://45.мвд.пф/document/19145617>. (In Russ.).
 19. Beelmann A. Concept of and approaches toward a developmental prevention of radicalization: Promising strategies to keep young people away from political, religious, and other forms of extremism. *Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform*. 2021; 104 (3).
 20. Charkawi W., Dunn K., Bliuc A.M. The influences of social identity and perceptions of injustice on support to violent extremism. *Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression*. 2021; 13 (3).
 21. Decety J., Yoder K.J. Empathy and motivation for justice: Cognitive empathy and concern, but not emotional empathy, predict sensitivity to injustice for others. *Social Neuroscience*. 2016; 11 (1).
 22. Feddes A.R., Mann L., Doosje B. Increasing self-esteem and empathy to prevent violent radicalization: A longitudinal quantitative evaluation of a resilience training focused on adolescents with a dual identity. *Journal of Applied Social Psychology*. 2015; 45 (7).
 23. Harpviken A.N. Psychological vulnerabilities and extremism among Norwegian youth: A structural equation model using a large-n sample. *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology*. 2021; 27 (2).
 24. Kohlberg L. Moral stages and moralization: The cognitive-development approach. *Moral Development and Behavior: Theory Research and Social Issues*. New York; 1976.
 25. Lavenne-Colloot N., Dissaux N., Campelo N. et al. Sympathy-empathy and the radicalization of young people. *Children*. 2022; 9.

26. Lyzhin A.I. et al. Modern problems of youth extremism: Social and psychological components. *Journal of Community Psychology*. 2021; 49 (7).
27. Pavlović T., Franc R. Antiheroes fueled by injustice: Dark personality traits and perceived group relative deprivation in the prediction of violent extremism. *Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression*. 2021; 26 (1).
28. Piaget J. *The Moral Judgment of the Child*. Routledge; 2013.
29. Pisoiu D. et al. Factors of individual radicalization into extremism, violence and terror — the German contribution in a context. *International Journal of Conflict and Violence*. 2020; 14.
30. Schmitt M. et al. Justice sensitivity: Assessment and location in the personality space. *European Journal of Psychological Assessment*. 2005; 21 (3).
31. Schmitt M. et al. The justice sensitivity inventory: Factorial validity, location in the personality facet space, demographic pattern, and normative data. *Social Justice Research*. 2010; 23 (2).
32. Schulz S. et al. Restorative practices for preventing/countering violent extremism: An affective-discursive examination of extreme emotional incidents. *British Journal of Sociology of Education*. 2021; 42 (8).
33. Sklad M. et al. *Perspective Taking Skills and Conflict Resolution. Social and Civic Competencies Against Radicalization in Schools*. Palgrave Macmillan; 2021.
34. Sommers M. *Youth and the Field of Countering Violent Extremism*. Washington; 2019.
35. Stahl G. et al. Preventing violent extremism: Resourcing, stakeholder strategies and fostering belonging and connection in Australian schools. *British Educational Research Journal*. 2021; 47 (5).
36. Stys Y. et al. Violent extremists in federal institutions: Estimating radicalization and susceptibility to radicalization in the federal offender population. 2014. URL: <https://publications.gc.ca/site/eng/9.805525/publication.html>.
37. Vukčević Marković M., Nicović A., Živanović M. Contextual and psychological predictors of militant extremist mindset in youth. *Frontiers in Psychology*. 2021; 12.
38. Yoder K.J., Decety J. The good, the bad, and the just: Justice sensitivity predicts neural response during moral evaluation of actions performed by others. *Journal of Neuroscience*. 2014; 34 (12).
39. Zmigrod L., Rentfrow P.J., Robbins T.W. Cognitive inflexibility predicts extremist attitudes. *Frontiers in Psychology*. 2019; 10.

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-579-589

EDN: VOSQYG

Students' empathy in the context of extremist risks*

V.A. Tupikova, Ya.A. Gudkova, E.G. Ovchinnikov-Lysenko

RUDN University,
Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, 117198, Russia

(e-mail: tupikova-va@rudn.ru; gudkova_yaa@rudn.ru; 1042200009@rudn.university)

Abstract. In unstable conditions, the scale of extremism as a form of illegal actions tends to grow. The statistical decrease in the number of extremist crimes was the result of legislative changes. In the risk group, there are primarily young people from 18 to 30 years old, who are more susceptible to psychological pressure from extremist and terrorist organizations, and especially the

*© V.A. Tupikova, Ya.A. Gudkova, E.G. Ovchinnikov-Lysenko, 2023

The article was submitted on 03.03.2023. The article was accepted on 15.06.2023.

student youth, who have already begun to escape from parental control but still did not achieve the full adult responsibility. Public calls for extremist acts are based on various social-psychological mechanisms of influence and aim specifically at this age group. A low level of emotional intelligence, empathy and psychological well-being is essential for entering an extremist environment. In January–February 2022, a survey was conducted to test the hypothesis of a relationship between the level of empathy and propensity to violent extremism. The article presents the results of this survey, such as the lack of direct relationship between the level of empathy and the age. The survey's unexpected result is that the general level of boys' empathy is higher than that of girls, and girls are more likely to be extremist when they have a higher level of empathy. Thus, an increasing level of the youth's empathy seems to be a way to prevent extremist behavior withing a comprehensive program but not a universal strategy for countering youth extremism. The article can become a basis for an effective pedagogical strategy to prevent extremism and to reduce the youths' risks of being involved in it. The developed approach should take into account the gender peculiarities of empathy, which influence the manifestations of violent extremism.

Key words: youth extremism; student youth; extremist behavior; empathy; radicalism; violence; risk group; extremism prevention

Funding

The research was supported by grant of the President of the Russian Federation for state support of young Russian scientists — candidates of sciences “Development of a sociological method for identifying extremist risk groups among the youth”. Project No. MK-1466.2022.2



СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ

SOCIOLOGICAL LECTURES

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-590-599

EDN: VVHSAG

Personal information security as a social problem*

V.A. Tsvyk¹, I.V. Tsvyk^{1,2}

¹RUDN University,

Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, 117198, Russia

²Moscow Aviation Institute (National Research University),

Volokolamskoe Shosse, 4, Moscow, 125993, Russia

(e-mail: tsvyk-va@rudn.ru; tsvykirina@mail.ru)

Abstract. Informatization of society has led to a set of fundamentally new problems that humanity has not faced throughout the history of its development. These are the challenges of ensuring the information security of man, society, the state and the entire biosphere of our planet. The article considers the key information security issues of the contemporary world. The authors focus on the nature and essence of information, analyze the concept of information security in a wider and narrower interpretations. They argue that the practices of applying information technologies without ensuring the necessary information security significantly increase the likelihood of information threats, primarily the information inequality, the possibility of manipulations, cyber illnesses, computer crimes, information warfare, etc. Artificial intelligence is one of the key elements of the information age, which is already able to analyze, process and classify huge volumes of rapidly changing and extremely heterogeneous data; thus, the widespread use of artificial intelligence technologies becomes an essential factor in ensuring information security. Artificial intelligence can facilitate the free exchange of information, but it can also be used to spread disinformation and fake news. At the same time, the content moderation for information hygiene purposes can be based on the artificial intelligence algorithms. Thus, artificial intelligence technologies can and should serve as a means of ensuring personal information security. This means that security measures must be comprehensive and include not only instrumental and technological but also ideological and cultural measures — educational in nature, providing the appropriate orientation of the individual.

Key words: information; information security; computer security; information technology; information threats; information inequality; information warfare; artificial intelligence; fake news; information hygiene

*© V.A. Tsvyk, I.V. Tsvyk, 2023

The article was submitted on 05.03.2023. The article was accepted on 15.06.2023.

The contemporary society is characterized by an ever-increasing rate of informatization and virtualization, which determines the development of a special, informational consciousness based on the wider use of the benefits of the current scientific-technological transformations unprecedented for the history of mankind. The scale of informatization and the role of the information sector in the economy are increasing, networks and means of communication are rapidly developing, the way of people's life is changing in the new information environment, and professional activities are being informatized [15. P. 132]. Today, there is no doubt that the 'digital revolution' has significantly affected all spheres of society.

However, it would be a serious mistake to consider the prospects for the development of the electronic-digital society only in romantic-glowing colors. Globalization of informatization processes has aggravated many social problems, for instance, those related to intellectual property. Other serious problems of the contemporary world are the increasing number of computer crimes, digital inequality, the strengthening remote component of socialization and social communication, social dehumanization and personal alienation. The most important consequence of the information revolution in the contemporary society is information security, which is determined by the fact that today many of the most important interests of man, society and the state depend on the state of the information sphere surrounding them. The expansion of information technologies sphere is an important factor for the economic development and for improving the functioning of public and state institutions; however, at the same, this expansion creates new information threats. The new, digital world constitutes new challenges for researchers of the informatization of society. Opportunities for the cross-border circulation of information are increasingly used to achieve geopolitical and military-political, terrorist, extremist, criminal and other unlawful goals that contradict the international law to the detriment of international security and strategic stability. Moreover, the very use of information technologies without ensuring information security increases the likelihood of information threats.

Information and information security: nature and essence

One of the significant methodological problems in ensuring the personal information security in the contemporary society is the understanding of the nature and essence of information, especially in the scientific, philosophical perspective. Today information is the main research object of many disciplines; however, the current level of the development of scientific knowledge does not allow for an accurate and complete definition of information, and its conceptual field expands and deepens with the development of our understanding of the world. In addition, information is a multifaceted phenomenon that manifests its properties differently in different situations. The diversity and multidimensionality of the concept of information allows to define it as a general scientific category, as a universal substance. One

of the most general definitions of this concept was introduced about fifty years ago by V.M. Glushkov: “Information, in its most general sense, is a measure of the heterogeneity of the distribution of matter and energy in space and time, a measure of the changes that accompany all processes taking place in the world” [8. P. 57]. We can expand this definition from the standpoint of the contemporary level of the scientific development with reference to K.K. Colin: “Information in the broad sense of this term is an objective property of reality, which is manifested in the heterogeneity (asymmetry) of the distribution of matter and energy in space and time, in the unevenness of all processes occurring in the world of living and inanimate nature, as well as in human society and consciousness” [6. P. 62]. Therefore, the main features of information are as follows: ideality, continuity, inexhaustibility, mass, transformability, versatility, the ability to compress and transport at high speed, quality (adequacy and reliability), completeness, accessibility, relevance, etc.

Thus, information is a complex, multifaceted comprehensive phenomenon, its specific sides and characteristics are studied by many sciences which, being independent, develop in inextricable unity, complementing and enriching each other. All this indicates that the concept of information is ambiguous, and the variety of its interpretations reflects the very complex nature of the real world, making it difficult to work out solutions to the problem of ensuring information security of the individual in the contemporary world.

Security in its broadest sense is the prevention and avoidance of threats to key values and interests. When defining security, the emphasis is often made on the availability of funds and organizational measures, institutions, arrangements with partners, etc. However, the whole complex of ensuring security depends on the nature and scale of threats; therefore, the concept of security implies threats and protection against them. Depending on the object being threatened and in need of protection, we can identify ‘human security’ — in its individual quality, ‘security of a group’ — for example, of the ethnic or religious group, ‘public safety’, ‘national security’ of the state, ‘regional security’ or ‘collective security’ of groups of states that constitute a region or union, and, finally, ‘international security’ or ‘global security’ of the world community. According to the functional type of threats and means of protection against them, security can be military, economic, political, environmental, cultural, informational, etc. Information is generally understood as the state of security of the information environment of the society, which ensured its stability and development in the interests of citizens, organizations, and the state.

Ensuring information security in contemporary Russia

In recent decades, the society has become aware of the relationship between the state of the information environment of the society and the possibilities of achieving the most important goals and interests of the person, state and society. However, many states, including Russia, have already developed and adopted their national doctrines in the field of information security as the basis of their state

policy. In addition, already in 1998, Russia initiated the development of the draft international concept of information security in order to ensure the coordination of efforts of all countries of the world community.

One of the first Russian laws on information security is the Federal Law “On Information, Information Technologies and the Protection of Information” of July 27, 2006 [1]. “It gives basic definitions, outlines areas in which legislation should be developed in this area, regulates relations determined by: 1) the right to search, receive, transmit, produce and disseminate information; 2) the application of information technologies; 3) the protection of information. The law also provides definitions of the basic concepts in the field of information security. Thus, information technologies are defined as processes, methods for searching, collecting, storing, processing, providing, disseminating information and methods for ensuring such processes; information system is defined as a set of data in databases and the information technologies and technical means providing it; information holder is defined as a person independently creating or obtaining information on the basis of a law or an agreement, or the right to allow or restrict access to information by any criteria, etc.” [19. P. 43].

The set of the official interpretations of the goals, objectives, principles and main directions in ensuring information security in Russia is presented in the National Security Strategy of the Russian Federation (2015) and the Doctrine of Information Security of the Russian Federation (2016). The National Security Strategy considers information security as an integral part of Russia’s national security, since “the growing confrontation in the global information space is increasingly influenced by the desire of some countries to use information and communication technologies to achieve their geopolitical goals, including by manipulating public consciousness and falsifying history... New forms of illegal activity appear, in particular with the use of information, communication and high technologies” [2]. In the Doctrine of Information Security, information security is defined as “the state of protection of the individual, society and the state from internal and external information threats, which ensures the realization of constitutional rights and freedoms of citizens, high quality and standards of living, sovereignty, territorial integrity and sustainable social-economic development of the Russian Federation, defense and security of the state” [3].

Key problems in ensuring the personal information security

Many challenges in ensuring information security are common to all people of our planet, i.e., these are global problems. First, the danger of deformation of traditional cultures under the influence of global informatization which contributes to the wider distribution of mass culture. Thus, spiritual values of traditional cultures are being destroyed in many countries of the world and substituted by new values of the consumer society, which is extremely dangerous for the future of our civilization. Second, the need to ensure the energy-information security of the

planet's biosphere under the rapidly increasing tensions in energy and information fields of the anthropogenic nature [7. P. 38]. These fields can have devastating effects on the gene pool of the biosphere in general and on the development processes of living organisms and plants; although the permissible level of this effect to humans is still unknown. Third, information inequality — the problem of ensuring real equality in the access and use of new information technologies. This problem is rooted not only in economic, instrumental or technological factors related to the certain complexity of ensuring all users' access to the information resources, but also in personal psychological factors: linguistic competence, education, information competence, and motivation to increasing one's knowledge and learning. If the person does not want to be an active member of the information society, no technology would help him.

Forth, the development of global networks of information communication creates wider opportunities for influencing and manipulating the public consciousness. Today researchers comprehensively study various technologies for manipulating the mass consciousness — from rather innocuous, such as, for example, substitution technology, reversal of accents, ironization, degeneration, desymbolization, etc., to the extremely dangerous technologies of overt information aggression and information war. The methods and means of information warfare are already well developed in both theoretical and applied aspects. Information wars have become a very common and effective way of confrontation in the political, economic and cultural fields. In the future, due to the development of the means and institutions of the information society, information wars will certainly become even more widespread both locally and globally.

Fifth and the fundamentally new danger to the individual in the information society is the so-called cyber disease, i.e., the psychological dependence on the mass media — from television to the Internet — and computer games. One of the extreme manifestations of such dependence is the virtualization of consciousness, when the person becomes unable to distinguish between objective reality and virtual reality. This psychological phenomenon is increasingly manifested in the information society — when real physical objects, processes and phenomena are replaced by their virtual images similar to the displays of objective reality. Social communication is also virtualized, and communication in social networks replaces real, live communication. Moreover, the anonymity of such network communications makes it possible to replace the true personality with a certain invented surrogate, which can lead to a loss of personal identity.

The proliferation of the functionally powerful automated information systems leads to significant changes in the field of mass communication and information dissemination. On the one hand, the growing possibilities of using data and computer technologies to solve research tasks can make information workers more efficient. On the other hand, automation of information flows, automated writing of news without human participation or control is often hidden from the

consumer of information — reader or listener. In creating and distributing media content, analytical tasks and decision-making functions are increasingly delegated to complex algorithms, which raises the questions of responsibility, transparency and copyright. The problem of liability for the dissemination of low-quality or untrue information is hard to solve when the data was produced with the use of algorithms, for example, in the case of defamation.

Thus, the information society seems to be very vulnerable to destructive information influences, which significantly exacerbated the problem of ensuring information security and confirms its global nature.

Artificial intelligence and personal information security

Artificial intelligence is one of the key elements of the information age, in the era of technological convergence, which is associated with significant consequences for humans, culture, society, and the environment. Artificial intelligence can analyze, process and classify huge volumes of the rapidly changing and extremely heterogeneous data, which makes the widespread use of artificial intelligence technologies an essential factor in ensuring information security. “Artificial intelligence is playing an increasingly important role in the processing, structuring and provision of information. Automated journalism and algorithmic news in social networks are just some examples of this trend, which raises issues of access to information, disinformation, discrimination, freedom of expression, privacy, data protection, information literacy and information hygiene. The widespread use of artificial intelligence technologies also creates new digital and information gaps between countries and between social groups” [16. P. 60].

Journalism based on artificial intelligence raises issues of subjectivity and copyright, transparency and reliability of disseminated information, responsibility for the dissemination of unreliable or even initially false information. The problem of responsibility — both legal and moral — is a part of the situation when information materials are prepared with the help of artificial intelligence systems. Problems of transparency and reliability are due to the situation when users do not understand or cannot understand what content was created by the machine, from what sources it came and how reliable or false this content is. The issue of copyright is no less important, since content created by artificial intelligence depends less on personal contribution, which leads to the discussions on what part of responsibility for copyright compliance the algorithms should take in one form or another.

Artificial intelligence technologies can facilitate the free exchange of information, but they can also be used to spread disinformation, ‘fake news’. Algorithms, which were originally created to avoid the inherent personal political bias when deciding which content to post on social networks in the most visible places, can be intentionally used to disseminate fabricated, manipulative or divisive information among specific target groups. In some cases, such content may include information fraudulently framed as news reports or forms of emotional propaganda

[4. P. 45]. All this can negatively affect both the norms of civilized and substantive discussion and the individual. Algorithms of social networks can aggravate the polarization of opinions, amplifying and multiplying the emotional effect with the help of ‘endorsements’, ‘forwarding links’, ‘repeating messages’, etc. [9]. Some large companies that own social networks have realized the need to solve this problem with the participation of many stakeholders, including civil society and government regulators, but the ways out of this situation are still not clear. One of the ways can be the application of the principles of law, openness, accessibility for all, and the participation of many stakeholders. Content moderation can also be a justified decision to ensure personal information security, since it helps to avoid the spread of misinformation, materials inciting violence, hatred and discrimination and to prevent aggression in interpersonal communication. Content moderation and filtering can be provided by both humans and artificial intelligence algorithms.

Computer security: concept and essence

Today the term ‘computer security’ or ‘information security’ is used in both wider and narrower senses. Computer is exposed to only a few risks if it is not connected to other computers. In recent decades, the share of computer networks (especially the Internet) has grown significantly, so today the term ‘computer security’ means problems associated with the network use of computers and their resources. One of such problems is the protection of personal data, which has a number of aspects — technological and organizational — related to restricting access to the computer and the data of unauthorized users, and to the general system for organizing data transmission and storage. In general, the problem of protecting information from computer malicious viruses and physical unauthorized access to classified information is successfully solved today by improving antivirus programs and computer software.

Computer security systems protect information from a wide range of threats to ensure confidence in business, minimize damage, maximize return on investment and realize potential business opportunities. Regardless of the form of information and means of its distribution or storage, it should always be adequately protected. Computer security mechanisms provide confidentiality (access to information only for authorized users), integrity (reliability and completeness of information and methods for its processing) and accessibility (access to information and related assets for authorized users as needed).

Other important components the computer security professionals pay great attention to are access control and strict compliance. Access control implies not only that the user has access only to available resources and services, but also that he has access to the resources he legitimately expects. As for the strict fulfillment of obligations, it implies the restrictions for users in order to fight against computer crimes (attempts to prevent, detect attacks) and confidentiality (anonymity) in cyberspace.

Thus, the above analysis of the main features of the new information reality shows that the changes taking place in the information sphere determine radical transformations in both social-economic structures and processes of personality formation and lifestyle. Under the development of information and communication technologies, information security issues go beyond the traditional questions of security and affect absolutely all spheres of life. To solve global problems of information security, humanity needs a new system of legal relations in the information sphere, a new information culture and a relevant information ethics. However, the most important thing is to admit both the very existence of these problems and the need for their urgent solution by civilized methods. Information crimes, information aggression and information warfare are no longer metaphors for futurologists, but rather scientific terms that indicate very specific new phenomena in our social life. Therefore, the measures to ensure information security should be comprehensive and combine instrumental-technological and ideological-cultural-educational approaches [21. P. 123]. The new information environment should follow certain philosophical-axiological priorities in order to change the basic value characteristics of the information society.

References

1. Federalny zakon “Ob informatsii, informatsionnyh texnologiyah i o zashchite informatii” No. 149–FZ ot 27 iyulya 2006 goda [Federal Law “On Information, Information Technologies and Information Protection” No. 149–FZ of July 27, 2006]. URL: <https://rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html>. (In Russ.).
2. Strategiya natsionalnoj bezopasnosti Rossijskoj Federatsii. Utverzhdena Ukazom Prezidenta Rossijskoj Federatsii ot 31 dekabrya 2015 goda No. 683 [National Security Strategy of the Russian Federation as approved by the Decree of the President of the Russian Federation of December 31, 2015 No. 683]. URL: <https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html>. (In Russ.).
3. Doktrina informatsionnoj bezopasnosti Rossijskoj Federatsii. Utverzhdena Ukazom Prezidenta Rossijskoj Federatsii ot 5 dekabrya 2016 g. No. 646 [Information Security Doctrine of the Russian Federation as approved by the Decree of the President of the Russian Federation of December 5, 2016 No. 646]. URL: <https://rg.ru/2016/12/06/doktrina-infobezopasnost-site-dok.html>. (In Russ.).
4. Ashley K.D. *Artificial Intelligence and Legal Analytics: New Tools for Law Practice in the Digital Age*. Cambridge; 2017.
5. Boden M.A. *AI: Its Nature and Future*. Oxford; 2016.
6. Colin K.K. Filosofiya informatsii: struktura realnosti i fenomen informatsii [Philosophy of information: The structure of reality and the phenomenon of information]. *Metafizika*. 2013; 4 (10). (In Russ.).
7. Colin K.K. *Filosofskie problemy informatiki* [Philosophical Issues of Computer Science]. Moscow; 2010. (In Russ.).
8. Glushkov V.M. O kibernetike kak nauke [On cybernetics as a science]. *Kibernetika, myshlenie, zhizn*. Moscow; 1964. (In Russ.).
9. Frankish K., Ramsey W.M. *The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence*. Cambridge; 2014.
10. *Istoriya i filosofiya nauki* [History and Philosophy of Science]. L.E. Motorina, I.V. Tsvyk (Eds.). Moscow; 2023. (In Russ.).

11. Kazantsev A.A. *Rasshirenie problematiki bezopasnosti v politike Rossii: sekyuterizatsiya, biopolitika i novye administrativnye praktiki* [Expanding the Security Issues in Russia's Politics: Securitization, Biopolitics and New Administrative Practices]. Moscow; 2011. (In Russ.).
12. Kvon D.A., Pavlova T.P., Tsvyk I.V. *Filosofiya i metodologiya iskusstvennogo intellekta* [Philosophy and Methodology of Artificial Intelligence]. Moscow; 2021. (In Russ.).
13. *Nauchno-tekhnichesky progress i eticheskaya paradigma XXI veka*. [Scientific-Technological Progress and Ethical Paradigm of the 21st Century]. V.A. Tsvyk (Ed.). Moscow; 2018. (In Russ.).
14. Payne K. Artificial intelligence: A revolution in strategic affairs? *Survival*. 2018; 60 (5).
15. Tsvyk V.A. *Professionalnaya etika: osnovy obshchej teorii* [Professional Ethics: Foundations of General Theory]. Moscow; 2020. (In Russ.).
16. Tsvyk V.A., Tsvyk I.V. Sotsialnye problemy razvitiya i primeneniya iskusstvennogo intellekta [Social issues in the development and use of artificial intelligence]. *RUDN Journal of Sociology*. 2022; 22 (1). (In Russ.).
17. Tsvyk V.A., Tsvyk I.V. Professional development in information society: Challenges and prospects. *RUDN Journal of Sociology*. 2018; 18 (3).
18. Tsvyk V.A., Tsvyk I.V. Moral education of youth in the information society. *Voprosy Filosofii*. 2020; 4. (In Russ.).
19. Tsvyk V.A., Tsvyk I.V. Informatsionnaya bezopasnost v sovremennom obshchestve: ponyatie, osnovnye problemy [Information security in the contemporary society: Concept and main issues]. *Filosofskoe Obrazovanie*. 2017; 1. (In Russ.).
20. Vernon D. *Artificial Cognitive Systems: A Primer*. Cambridge; 2014.
21. *Vospitanie molodezhi: problema formirovaniya tsennostej v usloviyah informatsionnogo obshhestva* [Education of the Youth: Formation of Values in Information Society]. V.A. Tsvyk (Ed.). Moscow; 2020. (In Russ.).

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-590-599

EDN: VVHSAG

Информационная безопасность личности как социальная проблема*

В.А. Цвык¹, И.В. Цвык^{1,2}

¹Российский университет дружбы народов,
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198, Россия

^{1,2}Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),
Волоколамское шоссе, 4, Москва, 125993, Россия

(e-mail: tsvyk-va@rudn.ru; tsvykirina@mail.ru)

Аннотация. Статья посвящена проблеме обеспечения информационной безопасности в современном мире. Авторы рассматривают природу и сущность информации, анализируют понятие информационной безопасности в широком и узком смысле. Опираясь на научные и прикладные исследования, авторы утверждают, что нынешняя практика внедрения

*© Цвык В.А., Цвык И.В., 2023

Статья поступила 05.03.2023 г. Статья принята к публикации 15.06.2023 г.

информационных технологий без обязательной увязки с обеспечением информационной безопасности существенно повышает вероятность проявления прежних и появления новых информационных угроз, среди которых особенно значимы такие проблемы, как нарастающее информационное/цифровое неравенство, возможности манипуляции общественным сознанием, киберболезни (компьютерная зависимость и др.), компьютерная преступность (киберпреступность), информационные войны и др. Искусственный интеллект становится одним из ключевых элементов современной информационной эпохи: он способен анализировать, обрабатывать и классифицировать огромные объемы быстро меняющихся и чрезвычайно разнородных данных, что делает широкое распространение технологии искусственного интеллекта существенным фактором обеспечения информационной безопасности. Искусственный интеллект может способствовать свободному обмену информацией, но может использоваться и с целью распространения дезинформации, так называемых «фальшивых/фейковых» новостей. В то же время, и модерация онлайн и медийного контента в целях информационной безопасности и гигиены также может выполняться с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Таким образом, технологии искусственного интеллекта могут и должны служить средством обеспечения информационной безопасности личности. Авторы делают вывод, что меры по обеспечению информационной безопасности должны быть комплексными и подразумевать не только инструментально-технологические решения, но и воздействия идеологического и культурно-воспитательного характера, направленные на формирование и закрепление соответствующих ценностных ориентаций личности.

Ключевые слова: информация; информационная безопасность; компьютерная безопасность; информационные технологии; информационные угрозы; информационное неравенство; информационные войны; искусственный интеллект; фальшивые новости; информационная гигиена



DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-600-611

EDN: WIRMFE

The West, Russia and China: Inheritance systems and ways of economic development*

O.V. Dorokhina¹, A.B. Sinelnikov², S.A. Barkov²

¹Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,
Vernadskogo Prosp., 82, Moscow, 119571, Russia

²Lomonosov Moscow State University,
Leninskie Gory, 1/33, Moscow, 119234, Russia

(e-mail: odorokhina@yandex.ru; sinalexander@yandex.ru; barkserg@live.ru)

Abstract. The current confrontation between Russia–China and the West requires a study of civilizational differences that determine national identities and attitudes towards social-economic values. This confrontation has deep cultural roots; thus, the Russian-Western intense rivalry in the 18th — 19th centuries was based on different perceptions of social reality, different value orientations and priorities in economy, politics and other spheres. Sociologists and social philosophers have studied factors that determined civilizational differences between non-Western and Western societies, namely the Russian world and the Anglo-Saxon world for decades, emphasizing their confessional differences, fundamentally divergent geopolitical interests, opposite political systems and so on. In the social-economic perspective, property rights are a significant basis of civilizational differences. The West has always considered its clear stand on property rights as the only possible. However, this position can be based on either economic considerations or moral criteria. Such differences are reflected in inheritance systems, although sociologists rarely focus on them. The division between heirs in equal parts complies with the moral standards of our society and is known as the path of ‘communal good’. Another way is to transfer the greater part of property to one member of the family in order to avoid its fragmentation, which is reasonable in the economic perspective but not always morally acceptable; this is the path known as ‘rational evil’. Thus, inheritance systems are among the most crucial civilizational differences between Russia and the West. The civilizational analysis is fundamentally important under the current confrontation between the West and Russia–China, and the position on private property and inheritance system determines civilizational differences. In Western Europe, the right of primogeniture was in force for a long time, and its cruel laws dictated that all real estate and most of the other property was inherited by the eldest son. This rule contributed to the early development of capitalism based on wage labor. On the contrary, in Russia, China and many other non-Western countries, the inheritance was divided among all children. Although it was disadvantageous for the social-economic development, it did not contradict conventional moral standards and did not destroy family relationships. In post-industrial societies, the institutional context has radically changed and the division of property among relatives does not

*© O.V. Dorokhina, A.B. Sinelnikov, S.A. Barkov, 2023

The article was submitted on 23.02.2023. The article was accepted on 15.05.2023.

hinder economic growth any longer. The authors consider the structure, reasons for viability and challenges of the Chinese family business as based on family ties and contributing to the fact the China has become an obvious competitor for the West.

Key words: family; inheritance; primogeniture; economic development; family business; China; Russia; West

From the Middle Ages to the end of the 19th century (In some countries until the mid-20th century), two different systems of inheritance of family property — ultimogeniture and primogeniture were practiced. Under ultimogeniture, the youngest son succeeded to the estate if by the time of parents' death his elder brothers had already left the family nest and acquired their own homesteads. The daughters had only a dowry and could inherit the parent's estate and wealth only if there were no sons. Under primogeniture, the eldest son continued to take care of his parents even after marriage: the younger children inherited only a small part of the family wealth, i.e. movable property and money, and the eldest son succeeded to the real estate. According to ultimogeniture, all married children except the youngest son separated from the family; however, the youngest son became the primary heir only after the marriage of all his sisters and the separation of all his brothers. Having left the parent's house, the elder sons received their share of the family movable property; however, after their parents' death, elder sons were denied an inheritance. In the age of ultimogeniture, due to the low life expectancy, many families had several children not yet married, who remained in their parents' house, and the inheritance property was divided between them, which hindered the accumulation of capital provided by the concentration of real estate and income in the hands of one family member.

Ultimogeniture was traditional for nomadic and agricultural people in the areas with low population density, i.e., a lot of free land. Therefore, a son willing to separate from his parents could leave the house and build his own farm. Ultimogeniture was practiced in Eastern Europe, Russia and many Muslim countries. On the contrary, in densely populated Western Europe, primogeniture prevailed since the Middle Ages [2; 12]. All arable land was divided between families, and landowners considered its further fragmentation unreasonable. The estate was inherited by the eldest son, and other children became employees — farmhands and factory workers, which contributed to the development of trade and industry.

However, the increase or decrease of free land did not always lead to a new inheritance system. According to J.G. Frazer, ultimogeniture was traditional for certain regions of England, France, Germany and other countries in the early 20th century, although for many centuries primogeniture was traditional for the majority of the population of these countries. Frazer considered this as evidence of the domination of ultimogeniture in the early Middle Ages and of the subsequent transition to primogeniture due to the population growth. However, he did not find any evidence of ultimogeniture in Sweden, Norway and even in his native

Scotland despite the population density and the archaic clan system of family and kinship [5. P. 433–440]. The inheritance principle was firmly entrenched as a moral norm, i.e., communal good or rational evil. The perception of the social-economic reality as a necessary evil to be accepted was typical for the rationality-oriented Western civilization (perhaps, this is the origin of the Western intolerance to other civilizations). The reliance on ultimogeniture, i.e., communal good, which is pronounced in Russia, China and many Muslim countries, presupposes moral evaluation of economic activity, and if profit is incompatible with communal good, the latter is preferred.

In Russia, ultimogeniture developed when the country was sparsely populated. However, the peasant population growth and land shortage in the 19th century did not lead to the replacement of ultimogeniture by primogeniture. Ultimogeniture families were replaced by nuclear rather than primogeniture families, i.e., all married children separated from parents, but the inheritance was divided almost equally. Primogeniture encouraged unmarried children to leave their parents' estate; both married and unmarried children who had separated from their parents had to provide for themselves. Married people preferred activities with immediate and stable income, albeit small, but sufficient to meet the family's needs, i.e., activities associated with long absence from home and economic risks did not attract them. Even if they did not provide enough for the family, wives could not divorce them since it was very difficult to divorce in the age of primogeniture and ultimogeniture. After leaving parents, singles had to earn money to get married and provide for their family. They often migrated to distant lands, in particular America, and were involved in risky business in pursuit of a large income [8. P. 132]. Thus, primogeniture promoted economic activity better than ultimogeniture.

In Russia, as a rule, all sons received their share of inheritance and daughters received a dowry. Unlike Western Europe, the lack of funds was not a great obstacle to marriage: even very poor people got married relying on their parents' financial support. In many peasant families, several married sons lived with parents; they separated with time, but the youngest son remained with parents. In Western Europe, even the eldest sons (principal heirs of the estate) had to leave and build a separate house for themselves. Under primogeniture, the fate of younger children was not easy as described in the Western-European fiction [10]. In W.M. Thackeray's novel *The Virginians*, there is a vibrant scene [21. P. 66–67]: “‘I’m hanged if there’s any man in England who would like to see his elder brother alive’, says my lord. ‘No, nor his father either, my lord!’, cries Jack Morris”.

Primogeniture led to sacrificing good family relations and secondary heirs' fates for economic considerations. Parents favored the eldest son: he started working earlier than brothers and could take care of aged parents; in reward he inherited parents' estate and land. The interests of other children were hardly taken into account. People knew how to prevent pregnancy but preferred to give birth to other children regarding them as ‘insurance’ in the age of high infant mortality [9].

If several children survived, they all, except for the eldest, left the parents' estate almost empty-handed. The younger sons of noble families did not inherit estates but continued to be nobles. If they did not have the means to provide for the family at the level acceptable for noble families, they could not marry noblewomen. The eldest peasant sons were poorer than the poorest nobles but inherited land. Peasant women willingly married them but abandoned their poor younger brothers. Marriages between representatives of the upper and lower classes were condemned by public opinion especially if a bride was of higher lineage than a groom, and there were few misalliances. Men without sound financial basis acceptable for their social class and women without a sufficient for their social class dowry often remained unmarried until the end of life, and Western European society considered it normal. Only the most energetic younger children left offspring, and the social Darwinism theory provided science-like ideological grounds for this long-existing practice.

In the 18th — 19th centuries, due to the reduced infant mortality, the number of families with sons increased significantly, which expanded the wage labor market and contributed to the development of capitalism and market economy. One of the reasons for the extinction of the primogeniture and ultimogeniture systems was that children took less care of parents. Due to the significant increase in life expectancy, children had to wait increasingly longer for inheritance. Many no longer agreed to depend on parents and left the parents' estate even before marriage. Thus, in the primogeniture countries, parents who had always prioritized their personal interests began to treat elder children in the same way as the younger. Thus, the disappearance of the primogeniture rules did not lead to a decrease in economic activity.

Younger sons of European families actively participated in the colonization of the New World since at home, in the Old World, they had no perspective. They did not transfer the hated customs of primogeniture overseas. Unlike Europe, American families have always been nuclear, and children leave parents' home after graduation and earn a living. Many young people from wealthy families live frugally and do not seek help from parents. However, parents do not expect children's care when they grow old and can no longer serve themselves — they move to nursing homes. This is the typical situation for the United States and many Western-European countries. For instance, “the nuclear family predominates in France; mutual assistance and relations between relatives are not as intense here as in Georgia or Russia. They are not of a patriarchal or patrilocal character and are more symmetrical in respect of generations” [3]. Parents help adult children only in extreme cases and not in a greater degree than children help them. This assistance is not as important for both sides as in Russia.

The revolution in France in the end of the 18th century and democratic reforms in other Western-European countries in the second half of the 19th century provided equal rights to all citizens, in particular inheritance rights. In England, the law of primogeniture was abolished only in 1926, in Scotland — in 1964. But even nowadays, in some families the principle of undivided succession of real estate

works: many parents bequeath their real property to the child with whom they have a better relationship, and this can be a younger son instead of an elder son or a daughter instead of a son.

The eldest sons have long been considered the principal heirs in Japan and Korea, and primogeniture has resulted, inter alia, in the Japanese and South Korean “economic miracle”. In Japan and South Korea, only after the Second World War all children received de jure equal inheritance rights, but de facto many elder sons have some advantages, e.g., in inheritance of a family business, so that business remains in the hands of the family within a generational change [6]. In the United States, Western Europe and Russia, heirs usually do not agree on joint management of the company, which results in its sale and in sharing the proceeds.

The development of the primogeniture system in Russia was hindered by the absence of the right to private property and its guarantees. In the age of serfdom, the peasants’ land did not belong to families, but to the rural community which periodically redistributed land. Growing households, whose size had increased after the previous redistribution, received additional land allotments as taken by the community from decreased households. Married sons received a part of their parents’ land, and the community often provided them with a larger land plot than their parents agreed to hand over. This practice was revived when the Soviet government abolished private ownership: if the size of the family in two isolated rooms in the communal apartment decreased drastically (a single person), one room was given to the growing family.

Until the late 18th century, Russian nobles could receive estates and serfs from the tsar only for temporary possession. Both a nobleman, who received an estate, if his health permitted, and all his adult sons were obliged to participate in the state military campaigns. All sons, except the youngest brother, got land as a reward for their service. The youngest son was granted the right to inherit his father’s estate upon entering the service. However, if the nobleman stopped serving without a valid reason or died without having an heir who could serve in his stead, the estate could be confiscated but not sold or mortgaged. Despite the country’s expansion and confiscation of land from those princes and *boyars* who incurred the tsar’s wrath, by the end of the 17th century the tsars could no longer provide all noblemen with estates, and sometimes a village could be divided between noble brothers.

In Russia prince’s sons were named princes already during the life of their father and divided the father’s inheritance equally upon his death. Therefore, each new generation of Russian aristocrats was more numerous, but poorer than the previous one. While in England, there was only one Duke of Marlborough at one time, and in France, only one Duke of Richelieu. The eldest son of the duke inherited his father’s title and estate only after his father’s death. Princes and *boyars* were only formally owners of their estates: “to teach the Muscovite the difference between ‘ownership’ and ‘tenure’ was not an easy task, especially when the right of property was violated at every step, not only by the supreme authority,

as in the case of every banishment in the times of Ivan the Terrible or Godunov, but by any powerful feudatory. “What I hold is mine until they take it from me” — this juridically incorrect but psychologically quite intelligible notion was typical for every early Russian landholder, whether under *votchina* or *pomestie* tenure” [13. P. 106]. In Russia, this problem has not been solved yet; however, the freezing of assets and the seizure of property of Russian oligarchs in the United States and European countries after February 24, 2022, revealed that the inviolability of private property was a myth of the Western world.

Many social-cultural phenomena become relevant when clarified: psychologists often associate the formation of personality with ‘de-objectification’, i.e., revealing inherent ideas of artifacts. The symbol of the Western property rights is a castle of the count or baron: for centuries it has meant the land of the noble family’s generations. People considered property inviolable even if its withdrawal brought benefits to them and corresponded to moral imperatives. On the contrary, in Russia there were no feudal estates or castles. On the other hand, rational evil, a detached attitude to moral aspects of the well-established rules, justification of the cruelty of these rules by their economic benefits have always been a feature of the Western civilization. This explains the popularity of social Darwinism in the USA and Great Britain in the 19th century and the propaganda of ‘shock therapy’ by Western and pro-Western neoliberalists at the turn of the 20th– 21st centuries.

In the 18th–19th centuries, the property rights of noblemen (later — of representatives of other classes) were limited and violated in Russia to a much lesser extent than in earlier and later periods. However, the Russian mentality hindered the transition to primogeniture as it did not allow to disinherit all children except one or give a dowry only to the eldest daughter and send other daughters to a convent, which was common in Western Europe. In 1714, Peter the Great issued a Decree of Single Inheritance: estates were equated to *votchina*, renamed as *imение* (from the verb *imeti* — “to have”), recognized as the personal property of nobles, and each landowner with several sons was to bequeath his estate only to one of them. If there was no will, the eldest son was the heir, and if there were only daughters, the eldest daughter was the heir. Peter the Great supposed that disinherited sons of noblemen would enlist as in Western Europe. The Decree of 1714 was opposed by the society since it affected people’s vital interests and contradicted traditions and customs. “Parents wanted to distribute the estate equally among their children by all means due to equal love for each. They used fraudulent sales and mortgages and obliged their children with great oaths so that the son who would receive the property after their death would share it with his brothers. Thus, inheritance led to quarrels, murders and hatred among children and relatives” [16. P. 472]. Therefore, the Empress Anna Ioannovna Romanova abolished the Decree of Single Inheritance in 1731.

In 1785, the Charter to the Gentry was issued by Catherine the Great. The Charter united all nobility’s privileges and declared that estates of the gentry were

not subject to forfeiture even for serious crimes of their owners. The guaranteed property rights led to the transition to primogeniture. The state supported primogeniture as an incentive for the voluntary recruitment of noblemen. They were exempted from mandatory service since 1762 as provided by the Manifesto on the Freedom of the Nobility. Catherine the Great allowed owners of large estates to apply for bequeathing their manors according to the primogeniture rule. Until the 1840s, a special Emperor's decree on the status of the estate was to be issued for each case of the property transformation, but there was no law on that right. In 1845, the Regulations on Reserved Hereditary Estates guaranteed that estates were not subject to division or sale and could not be alienated for debts. Despite that privilege, in Russia from 1845 to 1905 only 60 family estates were declared impartible and inherited according to the primogeniture principle [1. P. 90–91]. In Russia, parents disinherited children only for a very serious reason or guilt.

In Russia, most of the population were peasants, i.e., petty proprietors, and social contradictions were of a different nature compared to Western Europe. However, in Russia Marxist calling to the destruction of private property for the sake of social justice and equality became more popular than in the West. Capitalism had never been the main social-economic formation in pre-revolutionary Russia, and after the transition to socialism and communism, the return to capitalism ended in failure: Russian reformers of the 1990s were unable to create a prosperous capitalist society on the Western model as it was incompatible with the Russian traditions.

The ideal of liberal capitalism of the Anglo-Saxon type remained attractive for centuries, and even today there are supporters of this model all over the world. Nevertheless, the situation is changing; countries without the primogeniture historical experience of the Western type have started to gain more political and economic power on the basis of other market-economy models. Most countries with the highly developed market economy either passed through the stage of primogeniture (Western Europe, Japan, South Korea) or have been mainly inhabited by descendants of people from the countries with the strong primogeniture tradition (USA, Canada, Australia). China has achieved huge economic success and has become a dangerous competitor for the United States and the West: despite the high population density, there has never been primogeniture in China, and the economic breakthrough is partly due to the features of the Chinese family business. In China, family assets have been commonly divided between all direct descendants, which impaired family economic stability and caused internal competition between relatives. “Since the ancient times, in the Chinese society there has been a fairly general conviction that the family prosperity does not last more than three generations” [11. P. 17]. This approach still determines the patterns of the Chinese family business to a certain extent: heads of families (founders of the family business) often tend to leave financial assets and savings in an inheritance, but not the company. Therefore, they do not develop business by boosting investment; instead, they focus on the sale of the enterprise in the foreseeable future in order to divide funds between heirs.

Due to the lack of long-term prospects, the Chinese family business is unstable and family-run companies rarely turn into large enterprises.

Small family companies have various advantages that lead to significant economic results. Small business is highly flexible and adaptable to changes; small family companies can operate effectively despite the absence of legal regulations of property rights due to the high team cohesion, well-developed partnerships based on personal relations, focus on mutual support and cooperation, low transaction costs and the ability to respond quickly and flexibly to market fluctuations. These features create certain advantages over large enterprises and enhance the effectiveness of small family companies. According to F. Fukuyama, “countries with relatively small firms on average — Italy within the European Community, for example, and Taiwan and Hong Kong in Asia — have grown faster in recent years than their neighbors with large firms” [6]. The centuries-old traditions still influence business strategies and patterns of Chinese families, such as a high propensity to save. From 2001 to 2005, savings increased from 39 % to 48 % of GDP in mainland China, from 30 % to 33 % in Hong Kong, from 22 % to 26 % in Taiwan and from 44 % to 49 % in Singapore (three-quarters of the population are ethnic Chinese) [4. P. 204–205; 14. P. 102]. The propensity to save is not a brake but a driver for the economy. Having no investment deficit (people’s savings), the above-mentioned countries successfully develop in the post-industrial era. Under primogeniture, material assets (company) remain in private ownership; the Chinese tradition dictates that assets accumulated by the older generation come into common ownership; thus, resources are likely to be more effectively used.

Despite historical changes, the priority of family interests and concern for the well-being of all family members remain the dominant attitude for the Chinese business development strategy. Mainly due to the tradition of the division of family property, the Chinese family business is of the network nature: all founder’s heirs can head up autonomous business organizations. This approach is widespread in the segment of large and medium-sized business and mitigates rivalry and conflicts between heirs. In addition, the networking of small enterprises allows them to jointly develop major projects without powerful hierarchical structures traditional for industrial societies. Chinese business networks can unite both family members and people who do not belong to the family. In southeastern China and Taiwan, the so-called *guanxi* networks unite relatives with fellow countrymen, university graduates, etc., i.e., can be considered non-family networks. One of the brightest examples of the family network organization is the business of the Malaysian–Hong Kong billionaire R. Kuok who owns the Shangri-La hotel group and the South China Morning Post newspaper. His heirs (sons and a daughter) and other relatives take an active part in business and hold top management positions.

Family networks are of principal importance for the Chinese economy. The division of business fields among relatives is widespread and has a positive

impact. Being engaged in different spheres of family business, brothers and sisters diversify risks and contribute to the economic stability of the entire family business network. The focus on the network instead of the large corporation is an important reason for the success of Chinese entrepreneurs in the post-industrial age. However, the focus of business owners on family relations leads to the instability in business, limited opportunities for growth and development, difficulties in institutional transformations and transition to professional management. As Fukuyama emphasized, “businesses tend to be family owned and managed and tend therefore to be of rather small scale. There is a reluctance to bring in professional managers because this requires reaching outside the bounds of the family, where trust is low... These family businesses are often dynamic and profitable, but they have a hard time institutionalizing themselves into more permanent enterprises”. Fukuyama stressed that that the path to professional management was difficult and often insurmountable for Chinese family business due to the traditional devotion to the family [6]. The business development strategy is subordinated to family goals and patterns, and Chinese traditions result in the specific features of family companies [7; 17; 22]: high concentration in the small and medium-sized business sectors; instability and short longevity; strong presence in labor-intensive areas; focus on family resources and ties; priority of family management and high dependence on the competences of family members; limited professional management.

Many heirs deeply respect their family’s business traditions and are actively involved in the company management. Fostering respect for the will of older generations is a part of the Chinese culture. However, the current global trend towards independent career choice has started to change relationships in the Chinese family business. Some heirs refuse to continue family business: do not have a sense of responsibility for the family business or a desire to take part in the company management. Thus, the family business is not considered an uncontested life strategy, which threatens the continuity in family-run companies. Generation changes in business is often accompanied by rivalry among heirs. The tradition to divide family property in equal parts remains in force; consequently, people with different professional level and motivation enter the company; competition between family members for control often leads to business destabilization and even company liquidation.

However, similar problems are typical for family-run companies all over the world. Entrepreneurial talent and business interest are not generally inherited. So, with the change of generations and the weakening heir’s interest in family business, many families face the fragmentation of family property. These problems are solved in different ways. For instance, American family companies as a rule rapidly become institutionalized and implement professional management; already in the third generation, many companies are only controlled by the family

with the controlling block of shares but are run by professional managers. Chinese family companies rarely invite professional managers and would prefer breakup or collapse as the non-family business form and its longevity are not priorities in the Chinese society.

The commitment of Chinese families to small business influence both the size of enterprises and the scale of their activity. Small family-run companies specialize mainly in narrow areas and focus on the production of a small list or a single type of products/services. Business is generally developed by the separation of related structures which continue to operate in close partnership with the parent company. The network of related companies with strong cooperation and partnership contributes to the further expansion of the family business. The pursuit of networking and horizontal relationships, which is typical for family business, determines organizational forms and economic strategies. The trend of keeping business within a family community and high concentration in the small and medium-sized business sectors are determined by the Chinese traditions: “Cultures in which the primary avenue toward sociability is family and kinship have a great deal of trouble creating large, durable economic organizations” [6].

The traditional structure and related problems of the Chinese family-run companies have undergone significant changes in recent decades due to the reduction in the average number of heirs. From 1979 to 2015 in China the one-child policy allowed to reduce the birth rate. In addition to the global factors of lower birth rates, this demographic program led to the dominance of one-child families in Chinese cities. The one-child policy ended in 2015, and fines and other sanctions for the birth of several children were cancelled; however, the birth rate has not increased. The prevalence of one-child households results in the population decline and ageing, which was the main reason for changes in the China’s demographic policy. Nevertheless, the predominance of one-child families should have a positive effect on the Chinese family business since it is increasingly inherited by the only child and neither division nor sale is needed. Family ties in business remain strong; thus, family businesses in China may increase longevity while keeping organizational networks created by previous generations.

In some countries, people do not deny moral norms and family values for the sake of profit. The comparison of the Western, Russian and Chinese traditions is particularly important for understanding of what is better — destruction of family ties for personal gain or rejection of exceptional wealth for the sake of good relations and mutual assistance of family members. The Anglo-Saxon ideal of liberal capitalism has remained attractive for centuries, but the situation changes. Countries without the primogeniture experience of the Western type have started to gain more political and economic power on the basis of other economic models. Today in such countries as Russia, China, India, the Arab East, Brazil, etc., a different approach

develops in the market economy: people do not agree to substitute moral norms for monetary values and fierce competition. Only time will tell how viable this new form of capitalism will be.

Financial support

This work is supported by Russian Science Foundation under RSCF Grant No. 23-28-00518.

This research was carried out as part of the Development program of the Interdisciplinary Scientific and Educational School of Lomonosov Moscow State University «Mathematical Methods of Analysis of Complex Systems».

References

1. Becker S. *Nobility and Privilege in Late Imperial Russia*. Illinois; 1985.
2. Bertocchi G. The law of primogeniture and the transition from landed aristocracy to industrial democracy. *Journal of Economic Growth*, 2006; 1.
3. Blum A., Lefèvre S., Sebizh P. et al. Family in four countries: France, Georgia, Lithuania, Russia]. *Demoscope Weekly*. 2011; 449–450. (In Russ.).
4. *Economic and Social Survey of Asia and the Pacific — 2006: Energizing the Global Economy*. Bangkok; 2006.
5. Frazer J.G. *Folk-Lore in the Old Testament. Studies in Comparative Religion Legend and Law in Three Volumes*. Vol. I. London; 1918.
6. Fukuyama F. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York; 1995.
7. Go F. *Chinese Model: A Family-Business Development Scheme*. Beijing; 2009. (In Chinese).
8. Hajnal J. European marriage patterns in perspective. Glass D.V., Eversley D.E.C. (Eds.). *Population in History*. London; 1965.
9. Ivanov S.F. A central mechanism of the demographic transition. *Russian Demographic Review*. 2022; 9 (3). (In Russ.).
10. Jamoussi Z. *Primogeniture and Entail in England: A Survey of Their History and Representation in Literature*. Cambridge; 2011.
11. Malyavin V.V. *Administered China: Good Old Management*. Moscow; 2005. (In Russ.).
12. Platteau J.-P., Baland J.-M. Impartible inheritance versus equal division: A comparative perspective centered on Europe and Sub-Saharan Africa. de Janvry A., Gordillo G., Sadoulet E., Platteau J.-P. (Eds.) *Access to Land, Rural Poverty, and Public Action*. Oxford; 2001.
13. Pokrovsky M.N. *Russian History from the Earliest Times*. Vol. II. Moscow–Petrograd; 1923. (In Russ.).
14. Potapov M.A., Salitsky A.I., Shakhmatov A.V. *Economy of Contemporary Asia*. Moscow; 2008. (In Russ.).
15. Russia, Poland, and China: Models of post-socialist rural development. Round table. *Russian Peasant Studies*. 2017; 2 (3). (In Russ.).
16. Shershenevich G.F. *Textbook of Russian Civil Law*. Moscow; 1995. (In Russ.).
17. Sui Z. *A Study of the Family-Business Development Based on the Chinese Cultural Tradition*. Beijing; 2009. (In Chinese).
18. Suvakovic U.V., Narbut N.P., Trotsuk I.V. The youth of Russia and Serbia: Social trust and key generational problems. *RUDN Journal of Sociology*. 2016; 16 (4).
19. Trotsuk I.V. Comparative analysis as a way to reconstruct the world economic history, or why China did not become capitalist at the same time as Europe. *Russian Peasant Studies*. 2018; 3 (3). (In Russ.).
20. Trotsuk I.V. Discursive representations of the (capitalist) results of the “Chinese Economic Miracle”. *Russian Sociological Review*. 2020; 19 (2). (In Russ.).
21. Thackeray W.M. *The Virginians: A Tale of the Last Century*. Smith, Elder and Co; 1872.
22. Zhan Y. *A Study of the Development Path and Management Model of Family Business*. Wuhan; Press; 2006. (In Chinese).

Запад, Россия и Китай: системы наследования и пути развития экономики*

О.В. Дорохина¹, А.Б. Синельников², С.А. Барков²

¹Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
просп. Вернадского, 82, Москва, 119571, Россия

²Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Ленинские горы, 1. стр. 33, Москва, 119234, Россия

(e-mail: odorokhina@yandex.ru; sinalexander@yandex.ru; barkserg@live.ru)

Аннотация. Нынешнее противостояние, с одной стороны, России и Китая, с другой стороны, Запада, требует изучения тех цивилизационных различий, что обусловили национальные идентичности и отношение к социально-экономическим ценностям во всех трех странах. Это противостояние имеет глубокие культурные корни: так, острое российско-западное соперничество в XVIII–XIX веках проистекало из разного восприятия социальных реалий, разных ценностных ориентаций и приоритетов в экономической, политической и других сферах. Социологи и социальные философы всегда интересовались факторами цивилизационных различий между незападными и западными обществами, прежде всего между русским и англосаксонским мирами, подчеркивая их конфессиональные особенности, принципиально расходящиеся геополитические интересы, противоположные политические системы и т.д. С социально-экономической точки зрения права собственности — значимое основание цивилизационных различий. В Западной Европе долгое время действовали законы майората, согласно жестокой логике которых вся недвижимость и большая часть иной собственности переходила по наследству к старшему сыну, а другие дети вынуждены были сами обеспечивать свое существование. Такая ситуация стимулировала ранее развитие капитализма на основе наемного труда. В России, Китае и многих других незападных странах наследство делилось между всеми детьми, что было невыгодно для социально-экономического развития, но не противоречило моральным нормам и не разрушало семейные отношения. В постиндустриальном обществе институциональный контекст развития бизнеса изменился, и разделение собственности между родственниками уже не является препятствием экономического роста. В статье обозначены причины жизнеспособности и проблемы китайского семейного бизнеса, который основан на тесных родственных связях и развивается настолько успешно, что Китай стал опасным конкурентом для стран Запада.

Ключевые слова: семья; наследство; майорат; экономическое развитие; семейный бизнес; Китай; Россия; Запад



DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-612-622

EDN: VNNLGI

Россия и Монголия в цивилизационной и геополитической парадигмах развития Центральной Евразии*

А.С. Железняков¹, Г. Чулуунбаатар²

¹Институт социологии ФНИСЦ РАН,
ул. Кржижановского, 24/35, корп. 5, Москва, 117218, Россия

²Монгольская академия наук,
Просп. Мира, 54б, район Баянзурх, Улан-Батор, 13330, Монголия

(e-mail: zhelezniakovas@yahoo.com; chuluunbaatarlegpil@gmail.com)

Аннотация. Взаимоотношения России и Монголии в цивилизационной и геополитических парадигмах развития Центральной Евразии предельно важны для политологии, социологии и регионалистики. Авторское определение Центральной Евразии отличается от общепринятой нейтральной трактовки тем, что привязано к конкретному цивилизационному пространству — трех локальных цивилизаций — исторически суммируемых пределов доминирующего влияния каждой из них. В статье рассматриваются следующие пределы влияния монгольской, русской и китайской цивилизаций с древности до настоящего времени: великие степные империи (от государства Хунну до Великой Монгольской империи Чингисхана) с центром в Монголии, Российская империя и социалистический лагерь с центром в России (СССР) и экономический коридор Россия–Монголия–Китай с центрами в трех странах. Признание факта таксономической равновесности России, Китая и Монголии как ядер русской, китайской и монгольской цивилизаций, объединенных пространством Центральной Евразии, позволяет по-новому взглянуть на российско-монгольские отношения с древнейших эпох до настоящего времени. Авторы признают существование в наши дни мировой цивилизации, затерявшейся во Внутренней Азии и базирующейся на двух с лишним тысячелетиях письменной истории кочевников — монгольской цивилизации. В статье разрабатывается новое научное направление — цивилизационная политология, которая рассматривает процесс взаимодействия обществ через призму переплетенного цивилизационного мироустройства. Авторы полагают, что цивилизации охватывают своими очертаниями все глобальное пространство; вводят понятие «каскад границ цивилизации», что требует соединения методов моделирования и геоинформационных технологий с культурно-историческими построениями; рассматривают историческую традицию взаимоотношений России, Монголии и Китая в Евразийском регионе, которая возрождается сегодня в новом контексте по мере развития трехстороннего сотрудничества.

*© Железняков А.С., Чулуунбаатар Г., 2023

Статья поступила 21.03.2023 г. Статья принята к публикации 15.06.2023 г.

Ключевые слова: цивилизационная и геополитическая парадигма; таксономическая равновесность; ядра русской, китайской и монгольской цивилизаций; цивилизационная политология

Активное сотрудничество России с народами Евразии особенно значимо на современном этапе развития международных отношений. В условиях борьбы за многополярный мир актуализируется изучение взаимодействия российской цивилизации с другими мировыми цивилизациями. Одним из ярчайших и исторически значимых примеров такого взаимодействия является развитие российско-монгольских отношений, ставших узловыми для Центральной Евразии. Особое географическое положение Монголии обусловило многовековое глубокое переплетение исторических судеб, с одной стороны, народов России и Монголии, с другой — народов Монголии и Китая. Таким образом, Центральная Евразия предстает пространством наслоения друг на друга русской, монгольской и китайской цивилизаций.

«Евразия» как геологический и географический термин была введена в 1883 году Э. Зюссом [3. С. 180]. Первоначально географическая концепция была расширена исследованиями многих ученых, и к рубежу веков превратилась в социально-цивилизационную концепцию, а затем в идеологию общественно-политического движения. В августе 1921 года в Софии Н.С. Трубецкой, П.П. Сувчинский и Г.В. Флоровский оказались у истоков евразийства как философско-политической концепции, опубликовав «Исход к Востоку» — труд, заложивший основы евразийского движения среди русской эмиграции. Историческая цивилизационная связь России с Монголией была крайне важна для евразийцев: в 1925 году, живя за границей, Трубецкой написал книгу «Наследие Чингисхана. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока», которая была опубликована под псевдонимом в Берлине. Нет никаких сомнений в том, что эта работа оказала серьезное влияние на евразийство, и сейчас некоторые ее идеи возрождаются в связи с глобальными геополитическими изменениями.

Л.Н. Гумилев написал статью «Историко-философские сочинения князя Н.С. Трубецкого (заметки последнего евразийца)», в которой задался вопросом, «что бывает, когда автор более прав, чем его утверждение?». Гумилев полагал, что «в науке существует только один критерий: мнение не должно противоречить строго установленным фактам, но вправе противоречить любым концепциям, сколь бы привычны они ни были... Н.С. Трубецкой рассматривал теорию евразийства как программу будущего Евразии. Разумеется, с его терминологией можно спорить. Справедливо и то, что концепция евразийства не охватывает все стороны действительности СССР–Евразии. Однако, бесспорно, практически ценным является как утверждение единства многонародного евразийского суперэтнуса, так и гуманитарные пути самопознания, предлагаемые Трубецким» [10. С. 36, 54]. Концепция Трубецкого —

методологически значимый подход к изучению исторических процессов, уроков и опыта взаимоотношений народов, населявших и населяющих Евразию, а также влияния цивилизаций, прошедших через него.

Евразийцы стоят и у истоков номадофильской традиции. Идея «пронизывания» цивилизаций кочевым миром (характерно название одного из первых крупных научных форумов на эту тему «Роль кочевых народов в цивилизации Центральной Азии» [8]) стала рефреном работ, позиционирующих Монголию и монгольский мир в цивилизационном контексте [1; 6; 9], с точки зрения евразийских концепций и инициатив [5], в духе политического реализма [4; 11; 13; 16]. Эта же идея, дополненная обратной связью, т.е. идея равноценного и равновесного межцивилизационного взаимодействия кочевого мира с оседлым, важна и для наших российско-монгольских исследований — вот уже двадцатилетней разработки концепции непрерывного существования с древности до наших дней отдельной монгольской цивилизации — как локальной цивилизации кочевого мира [2. С. 7–9]. В широких научных кругах историческая роль монголов и вообще кочевников довольно давно перестала считаться исключительно негативной и разрушительной, признана, хотя и со множеством оговорок, в целом созидательной.

На протяжении всей истории Монгольской империи подчиненные ей народы интегрировались в единую политическую систему и были неотъемлемыми частями единого государства во всех отраслях военной организации, деловых, экономических, религиозных, культурных, духовных и гуманитарных сфер жизни. Развитая инфраструктура и система почтовых сообщений также легли в основу управления государственными институтами империи. Суть государственной философии Чингисхана заключалась в том, чтобы управлять каждой покоренной державой в соответствии с местной традицией — Монголией сообразно монгольской, Китаем — китайской. Кстати, нет никаких исторических свидетельств того, что золото, серебро, богатства или предметы истории и культуры народов были разграблены или перевезены, но есть несколько записей о мудрости и оригинальности монголов-кочевников в распределении богатств и ресурсов [17. С. 144–148].

В те времена в Монгольской империи как центре обширного Евразийского региона культурная и интеллектуальная сферы жизни претерпевали значительные изменения в процессе интенсивного культурного взаимодействия между народами. Ученые полагают, что Чингисхан реформировал традиционный культ поклонения Небу (тенгрианство). В прежние века он был традицией, связывающей правителей и аристократию с простыми подданными через институт шаманов, которые взаимодействовали с Небом с помощью специальных сакральных амулетов. Чингисхан свел к минимуму посредническую роль шаманов, провозгласив, что «Великий хан правит по воле Вечного Неба» [17. С. 144–148], что было преобразовано в государственную идеологию, зафиксированную в исторических источниках. Это нововведе-

ние стало основой государственной политики в отношении народов, которые были включены в состав империи, но исповедовали разные веры. Существует множество исторических свидетельств того, что Чингисхан подчеркивал важность вовлечения ученых и философов в государственные дела и, в некотором смысле, управления государством с помощью знаний. Это важно для разработки политики и моделей развития не только цивилизации, но и государства [7. С. 31].

Говоря об опыте межкультурных отношений России и Монголии, необходимо отметить, что сегодня словосочетание «татарское иго», которое использовалось в изучении российской истории на протяжении поколений, постепенно уходит в прошлое. Монголия объединила разрозненные тюркские племена, впоследствии вошедшие в состав российского государства, и повлияла на превращение Московского царства в центр русских земель. Существуют исторические свидетельства того, что монгольские кочевники оказали решающее воздействие на возрождение России после периода раздробленности. Трубецкой подчеркивал значение наследия Чингисхана, «проникновения его разума в сердце России», для русской цивилизации и государственности [18. С. 18].

Что касается монголо-китайских отношений, то во времена правления Хубилай-хана монгольская династия Юань сформировала основы китайского государства в составе Монгольской империи на территории современного Китая. После распада Монгольской империи Китай был постепенно завоеван кочевниками-маньчжурами, а затем Монголия более чем на двести лет де-факто утратила суверенитет и попала в зависимость от маньчжуро-китайской власти. В тот период, конечно, имело место естественное межкультурное влияние, но, когда речь заходит о государственности, можно предположить, что традиции Великой Монгольской империи были сохранены.

По результатам Ялтинской конференции 1945 года, благодаря решающей поддержке СССР, монголы выразили на плебисците свое духовное и цивилизационное единство, проголосовав за независимость от Китая. Затем суверенная Монголия установила официальные дипломатические отношения с Китаем. Позиция советской России в конце Второй мировой войны оказала решающее влияние на международное признание суверенитета Монголии и ее развитие в рамках мировой социалистической системы. Сегодня Россия остается «великим соседом», определяющим суверенитет и национальную безопасность Монголии, что является стержнем цивилизационного взаимодействия наших народов на евразийском пространстве.

Историческая традиция отношений между Россией, Монголией и Китаем в Евразийском регионе возрождается сегодня в новом контексте в формате трехстороннего сотрудничества. Монгольский «Степной путь», инициатива России «Евразийский экономический союз» и проект Китая «Пояс и путь», согласованные в 2016 году на встрече глав государств трех стран, и усилия

по их реализации — один из примеров этого сотрудничества. Любое крупное внешнеполитическое действие совершается с опорой на исторический фундамент, и таких традиций более чем достаточно для развития отношений России, Монголии и Китая.

Разумеется, как внутри, так и за пределами наслоения друг на друга в пространстве Центральной Евразии эти три цивилизации взаимодействуют с другими межцивилизационными пространствами (помимо общего глобального пространства): в первом случае это исторический греко-римский христианский мир, современная Большая Европа от Лиссабона до Владивостока и шире — пространство Запад — Россия; во втором — индо-тибето-монгольское буддийское пространство, дополненное почитаемым и сегодня маньчжуро-монголо-тюркским кочевым миром; в третьем — историческое пространство Великих Чайного и Шелкового путей, конфуцианства, иероглифов, палочек для еды и нынешнее пространство инициативы «Пояс и путь».

Итак, наша трактовка Центральной Евразии отличается от нейтральной сугубо геополитической [12] (привязка термина «Центральная Евразия» к современным политико-географическим реалиям лишает его отличительной цивилизационной определенности) тем, что отмечает конкретное цивилизационное пространство — общее пространство трех локальных цивилизаций, заключенное внутри исторически суммируемых пределов доминирующего влияния каждой из них. Такими пределами с древности до настоящего времени являются великие степные империи (от государства Хунну до Великой Монгольской империи Чингисхана) с центром в Монголии, Российская империя и социалистический лагерь с центром в России (СССР) и экономический коридор Россия–Монголия–Китай с центрами в трех странах.

В глубине Центральной Евразии находится колыбель монгольской цивилизации. Это нынешняя Монголия с ее Хангайско-Хэнтэйским регионом, где с III века до нашей эры циклично зарождались города-государства кочевников (монголов и их предшественников — хунну, жужани (жуаньжуани), тюрков, кидани и др.), превращавшиеся в столицы ханств и каганатов, и где сегодня расположена столица страны Улан-Батор. Окружает нынешнюю Монголию со стороны России и Китая Внутренняя Азия — когда-то «возрождавшаяся из пепла» метрополия внезапно возникавших и сменявших друг друга империй кочевников. Внутренняя Азия, этот «пульсирующий Рим», окружена Центральной Евразией, на которую оказала колоссальное воздействие, корректируя пути исторического развития Китая и России.

Вся история Монголии — это история ядра цивилизации, прошедшей за два тысячелетия череду надломов [2. С.140–150], которые сопровождали рождение и смену на одной территории государств и империй степных народов. С XIII века в Монголии, колыбели монгольской цивилизации, ротация народов в создании кочевых империй и государств прекратилась, историческая инициатива полностью перешла к монголам. При них цивилизация со-

хранила циклический характер и прошла путь консолидации: в Великой монгольской империи; вокруг династии Чингисхана; на стыке Маньчжурской и Российской империй; в пересечении интересов Китая и России во Внешней Монголии.

На XX–XXI века пришелся очередной надлом цивилизации, начало которого ознаменовала консолидация с Россией и Китаем. Это превратило Монголию в один из важнейших плацдармов деятельности В.И. Ленина, ВКП(б) и Коминтерна по развитию мировой революции, что в итоге вылилось в формирование социалистического лагеря, границы которого во многом совпали с границами большей части завоеваний Великой Монгольской империи. В результате ядро монгольской цивилизации превратилось в современное независимое государство и члена ООН. На период с начала–середины 1960-х до начала 1990-х годов пришелся короткий по историческим меркам момент консолидации и «собираения сил» в Монголии на фоне острого противоборства СССР и КНР.

Сегодня Китай и Россия — стратегические партнеры Монголии, но это не отменяет того факта, что с позиций политического реализма положение Монголии весьма уязвимо. Монголия зажата между двумя великими соседями, превосходящими ее по территории, численности населения, размеру ВВП, военным расходам и мощи вооруженных сил. Приоритетным направлением внешнеполитической деятельности Монголии является поддержание дружественных и сбалансированных отношений с Россией и Китаем и содействие всестороннему сотрудничеству между ними. Крайне важным Монголия считает использование в качестве дополнительного балансира внешнеполитического концепта «третьего соседа», т.е. интенсивное («как с соседями») сотрудничество с целым рядом заинтересованных стран (в том числе и в первую очередь с США).

Одним словом, на протяжении всей истории Центральной Евразии Монголия в цивилизационных взаимоотношениях с ее нынешними гигантскими соседями — Китаем и Россией — выступала с ними на равных, являясь таким же субъектом — ядром отдельной цивилизации. Признание факта таксономической равновесности России, Китая и Монголии как ядер русской, китайской и монгольской цивилизаций, объединенных пространством Центральной Евразии, позволяет по-новому взглянуть на, казалось бы, досконально исследованные страницы российско-монгольских отношений.

В емком образе цивилизационного мироустройства как ковра-карты вырисовываются некоторые опорные точки нынешнего геополитического и цивилизационного позиционирования Монголии в мировом и евразийском пространстве. Геополитически Монголия не может рассчитывать на консолидацию сразу с тремя слишком разными стратегическими партнерами — США, Китаем и Россией. В условиях возрастающей угрозы конфликта между ними она не может рассчитывать и на внутренние ресурсы сосредоточения

и «собрания сил». Трудно представить, чтобы на виртуальной карте-ковре мироустройства автоматически выткалась геополитическая фактура многовекторной политики Монголии: сама по себе такая политика небольшой страны в отношении спорящих мировых гигантов означает открытый вызов сразу по трем векторам. «Равноудаленность», к которой устремлена Монголия, на карте-ковре скорее всего будет представлена весьма размыто — в духе традиционного «собрания сил» и консолидации, в увязке геополитических задач с цивилизационными возможностями.

В развилке между крайними оценками возможностей следования, с одной стороны, геополитическим соображениям, с другой стороны, цивилизационному взгляду оптимальный ответ Монголии на разрастающийся конфликт между США и Китаем и между США и Россией видится в разработке ею дифференцированного подхода к своим главным стратегическим партнерам. Речь не идет о непреклонном отказе от избранной Монголией геополитической многовекторности, но необходимо увязать уже ставшие привычными за последние тридцать лет геополитические приоритеты с тремя уровнями цивилизационных приоритетов. На самом внешнем (глобальном) уровне стоит такой приоритет, как равноправные отношения Монголии со всеми центрами хрестоматийных мировых цивилизаций, в том числе с Россией, Китаем и США. Этот уровень критически важен для безопасности Монголии как ядра локальной цивилизации и для глобального позиционирования страны в качестве субъекта международных отношений. Однако эта цель недостижима без решения вопросов на другом уровне цивилизационных приоритетов — в трехстороннем формате отношений Монголии, России и Китая, в общем пространстве которых укоренена монгольская цивилизация.

У Монголии имеется проверенная временем стратегия консолидации со своими ближайшими соседями — Россией и Китаем — в трехстороннем формате. По сути, эти соседи — две внешние опоры Монголии, на которых она держалась по завершении своего имперского прошлого и периода раздробленности. Монголия, еще будучи Внешней Монголией в составе Китая в период Маньчжурской империи, и будучи Монгольской народной республикой в орбите влияния СССР, всегда имела особые возможности сохранения идентичности вплоть до возможности балансировать по своему усмотрению между внешними опорами. В XX веке баланс качнулся в пользу Российской империи и СССР, но нынешнее беспокойное время требует от Монголии взять на себя гораздо более сложные обязанности — координирующего центра в системе отношений Россия–Монголия–Китай.

В свое время в этом формате случился сбой: Монголию в тридцатилетний период советско-китайского раскола (1960–1989) даже называли своеобразным буфером между двумя гигантами (что связано с европоцентристской традицией считать Монголию страной между молотом и наковальней) [14]. Но после длительного, почти шестидесятилетнего перерыва

этот формат возобновился 23 июня 2016 года, когда на переговорах лидеров трех стран была подписана Программа создания экономического коридора Россия–Монголия–Китай. Данный формат критически важен для перевода всесторонних отношений между тремя странами в плоскость доверительного межцивилизационного взаимодействия. В итоге выигрывают все три страны, а роль Монголии возрастает до уровня равноправного с соседями субъекта международных отношений, поскольку страна предстает ядром монгольского мира и локальной (монгольской) цивилизации Внутренней Азии с бесчисленными нерасторжимыми и активно развивающимися связями не только с ближним, региональным, но и дальним, глобальным, окружением.

И, наконец, уровень «ближнего круга» — это двусторонние межцивилизационные отношения Монголии с Россией. Этот уровень принципиально важен, поскольку связан с первыми шагами Монголии на пути обретения статуса субъекта современной международной политики. Эти шаги Монголия сделала в рамках развернувшегося с начала XX века военного, политического, экономического и культурного (т.е. поистине межцивилизационного) взаимодействия с Россией. Ядро монгольской цивилизации в лице Монголии словно ждало своего часа, стремительно вошло в современность и стало признанным государством, членом ООН, и это не было результатом одностороннего воздействия СССР. Подобно тому, как Москва видела в Монголии форпост коммунизма на Востоке, Улан-Батор видел в Советской России и Коминтерне внешний рычаг, базу для комфортной и безопасной для всего монгольского мира среды. Неслучайно эта среда обрела географические границы, во многом совпавшие с внешними границами Монгольской империи XIII века. Этому способствовал произошедший в XX веке синергетический взрыв — поддержка курса ВКП (б) и ИККИ далекими от учения К. Маркса и В.И. Ленина народами России, Монголии и Китая, предки которых были причастны к созданию великих степных империй.

По критериям цивилизационной политологии потенциал монгольской цивилизации и в XXI веке не ослаб, а, напротив, востребован как общее достояние народов Центральной Евразии.

Библиографический список

1. *Абаев Н.В.* Цивилизационная геополитика и этнокультурные традиции народов Центральной Азии и Алтай-Байкальского региона. Кызыл, 2006.
2. *Железняков А.С.* Монгольская цивилизация: история и современность. Теоретическое обоснование атласа. М., 2016.
3. Иностранные члены Российской академии наук XVIII–XXI вв. : Геология и горные науки / Гл. ред. Л.О. Глико. Т. 3. М., 2012.
4. *Лузянин С.Г.* Россия — Монголия — Китай в первой половине XX в. Политические взаимоотношения в 1911–1946 гг. М., 2000.

5. Михалев М.С., Якунин В.И., Вилисов М.В. Пояса и пути Евразии. В поисках человека. М., 2018.
6. Монгольский мир: между Востоком и Западом / Под ред. Ю.В. Попкова, Ж. Амарсаны. Новосибирск, 2014.
7. *Рашид Ад Дин*. Судрын чуулган. Улан-Батор, 2000.
8. Роль кочевых народов в цивилизации Центральной Азии. Улан-Батор, 1974.
9. Россия — Монголия: культурная идентичность и межкультурное взаимодействие / Отв. ред. В.М. Дианова. СПб., 2011.
10. Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. М., 1995.
11. Хаибат Л. Международный статус Монголии: историко-правовые аспекты. Улан-Батор, 2001.
12. Центральная Евразия. Территория межкультурных коммуникаций / Отв. ред. и сост. А.К. Аликберов. М., 2020.
13. Яскина Г.С. Монголия и внешний мир. М., 2002.
14. Ewing T.E. Between the Hammer and the Anvil? Chinese and Russian Policies in Outer Mongolia, 1911–1921. Bloomington, 1980.
15. Atwood C.P. Is there such a thing as Central/Inner (Eur)Asia and is Mongolia a part of it? // *Pacific Affairs*. 2012. Vol. 85. No. 3.
16. Sabloff L.W. Mapping Mongolia: Situating Mongolia in the world from geologic time to the present // *Pacific Affairs*. 2012. Vol. 85. No. 3.
17. Mongolia and Western China: Social and Economic Study. Tientsin, 1979.
18. Монгол Улсын түүх. Ерөнхий суурь боловсрол эзэмшихэд зориулсан их сургуулийн сурах бичиг. Хоёр дахь хэвлэл / Ер. ред. П. Дэлгэржаргал, Б. Чинзориг, Ж. Болдбаатар. Улан-Батор, 2017.
19. Трубецкой Н.С. Чингис хааны өв. Орос хэлнээс орчуулсан Дэмбэрэлийн Цогтсайхан. Улан-Батор, 2015.

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-612-622

EDN: VNNLGI

Russia and Mongolia in the civilizational and geopolitical paradigms of Central Eurasia development*

A.S. Zheleznyakov¹, G. Chuluunbaatar²

¹Institute of Sociology of FCTAS RAS,
Krzhizhanovskogo St., 24/35–5, Moscow, 117218, Russia

²Mongolian Academy of Sciences,
Peace Av., 54b, Bayanzurkh district, Ulaanbaatar, 13330, Mongolia

(e-mail: zhelezniakovas@yahoo.com; chuluunbaatarlegpil@gmail.com)

Abstract. The relationship between Russia and Mongolia in the civilizational and geo-political paradigms of Central Eurasia development is extremely important for political science, sociology and regional studies. The authors' definition of Central Eurasia differs from

*© A.S. Zheleznyakov, G. Chuluunbaatar, 2023

The article was submitted on 21.03.2023. The article was accepted on 15.06.2023.

the generally accepted neutral interpretation due to its connection with a specific civilizational space — three local civilizations — the historically summarized limits of their dominant influence. The article considers the following limits of the influence of the Mongolian, Russian and Chinese civilizations from ancient times to the present: the great steppe empires (from the state of the Xiongnu to the Great Mongol Empire of Genghis Khan) with the center in Mongolia, the Russian Empire and the socialist camp with the center in Russia (USSR), and the economic corridor Russia–Mongolia–China with centers in three countries. The recognition of the taxonomic equilibrium of Russia, China and Mongolia as the cores of the Russian, Chinese and Mongolian civilizations, united by the space of Central Eurasia, allows to reconsider the Russian–Mongolian relations from ancient times to the present. The authors admit the existence of the world civilization hidden in Inner Asia and based on more than two thousand years of the nomads' written history — the Mongolian civilization. The authors develop a new scientific direction — civilizational political science which considers the interaction between societies through the intertwined civilizational world order. The authors believe that civilizations cover the entire global space; introduce the concept “cascade of the civilizational boundaries”, which requires a combination of modeling methods and geoinformation technologies with cultural-historical ideas; consider the historical tradition of relations between Russia, Mongolia and China in the Eurasian region as being revived in the new context of trilateral cooperation.

Key words: civilizational and geopolitical paradigm; taxonomic equilibrium; cores of the Russian, Chinese and Mongolian civilizations; civilizational political science

References

1. Abaev N.V. *Tsivilizatsionnaya geopolitika i etnokulturnye traditsii narodov Tsentralnoy Azii i Altay-Baykalskogo regiona* [Civilizational Geopolitics and Ethnocultural Traditions of the Peoples in Central Asia and the Altai-Baikal Region]. Kyzyl; 2006. (In Russ.).
2. Zheleznyakov A.S. *Mongolskaya tsivilizatsiya: istoriya i sovremennost. Teoreticheskoe obosnovanie atlasa* [Mongolian Civilization: History and Modernity. Theoretical Explanation of the Atlas]. Moscow; 2016. (In Russ.).
3. Inostrannye chleny Rossiyskoy akademii nauk XVIII–XXI vv.: Geologiya i gornye nauki [Foreign Members of the Russian Academy of Sciences in the 18th–21st Centuries: Geology and Mining Sciences]. Editor-in-chief L.O. Gliko. Vol. 3. Moscow; 2012. (In Russ.).
4. Luzyanin S.G. *Rossiya — Mongoliya — Kitay v pervoy polovine XXI v. Politicheskie vzaimootnosheniya v 1911–1946 gg.* [Russia — Mongolia — China in the First Half of the 21st Century. Political Relations in 1911–1946]. Moscow; 2000. (In Russ.).
5. Mikhalev M.S., Yakunin V.I., Vilisov M.V. *Poyasa i puti Evrazii. V poiskah cheloveka* [Belts and Paths of Eurasia. In Search of the Man]. Moscow; 2018. (In Russ.).
6. *Mongolsky mir: mezhdv Vostokom i Zapadom* [Mongolian World: Between East and West]. Ed. by Yu.V. Popkov, Zh. Amarsany. Novosibirsk; 2014.
7. Rashid Ad Din. Sudryn chuulgan [Sudrin Conference]. Ulaanbaatar; 2000. (In Mongolian).
8. *Rol kochevykh narodov v tsivilizatsii Tsentralnoy Azii* [The Role of Nomadic Peoples in the Civilization of Central Asia]. Ulaanbaatar; 1974. (In Mongolian).
9. *Rossiya — Mongoliya: kulturnaya identichnost i mezhkulturnoe vzaimodeystvie* [Russia — Mongolia: Cultural Identity and Intercultural Interaction]. Ed. by V.M. Dianova. Saint Petersburg; 2011. (In Russ.).
10. Trubetskiy N.S. *Istoriya. Kultura. Yazyk* [History. Culture. Language]. Moscow; 1995. (In Russ.).
11. Khashbat L. *Mezhdunarodny status Mongolii: istoriko-pravovyye aspekty* [International Status of Mongolia: Historical-Legal Aspects]. Ulaanbaatar; 2001. (In Russ.).

12. *Tsentrálnaya Evraziya. Territoriya mezhkulturnykh kommunikatsiy* [Central Eurasia. Territory of Intercultural Communications]. Ed. and comp. by A.K. Alikberov. Moscow; 2020. (In Russ.).
13. Yaskina G.S. *Mongoliya i vneshny mir* [Mongolia and the Outside World]. Moscow; 2002. (In Russ.).
14. Ewing T.E. *Between the Hammer and the Anvil? Chinese and Russian Policies in Outer Mongolia, 1911–1921*. Bloomington; 1980.
15. Atwood C.P. Is there such a thing as Central/Inner (Eur)Asia and is Mongolia a part of it? *Pacific Affairs*. 2012; 85 (3).
16. Sabloff L.W. Mapping Mongolia: Situating Mongolia in the world from geologic time to the present. *Pacific Affairs*. 2012; 85 (3).
17. *Mongolia and Western China: Social and Economic Study*. Tientsin; 1979.
18. *Mongol Ulsyn tuuh. Eronhiy suur bolovsrol ezemshikhed zoriulsan ih surguu-lin surakh bichig. Hoyor dah hevlel*. Ed. by P. Delgerzhargal, B. Chinzorig, J. Boldbaatar. Ulaanbaatar; 2017. (In Mongolian).
19. Trubetskoy N.S. *Legacy of Genghis Khan. A Look at the Russian History not from the West, but from the East*. Ulaanbaatar; 2015. (In Mongolian).



DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-623-633

EDN: VKHPQQ

Социогуманитарное сотрудничество членов Евразийского экономического союза: смыслы и инструменты*

Г.И. Осадчая

Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН,
ул. Фотиевой, 6, к. 1, Москва, 119333, Россия

(e-mail: osadchaya111@gmail.com)

Аннотация. Актуальность проблематики исследования обусловлена необходимостью поиска новых возможностей повышения результативности интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе (далее — ЕАЭС) в условиях усиления мировой нестабильности. Цель статьи — показать значимость социально-гуманитарного сотрудничества для интеграционных процессов, обосновать его механизмы, инструменты и смыслы. Статья основана на анализе таких источников, как материалы органов управления Союзом, государственных и негосударственных организаций стран-членов, актуальные публикации средств массовой информации (далее — СМИ) и данные исследований, проведенных Институтом демографических исследований ФНИСЦ РАН в 2019–2023 годы. Охарактеризовано современное состояние этого направления сотрудничества стран-членов и обозначены его проблемные зоны: событийный, локальный характер совместных мероприятий, проводимых на двусторонней основе и имеющих небольшой интеграционный эффект; сужение области применения русского языка на постсоветском пространстве; усиление отрицания советского опыта и низкий уровень поддержки интеграции в младших возрастных группах; отсутствие в государствах-членах приемлемого консенсуса в оценке глубины интеграционных процессов; завышенные ожидания от развития стран в составе Союза; несформированная институциональная основа социально-гуманитарного взаимодействия, отсутствие наднациональных структур, обеспечивающих работу с населением ЕАЭС. Обосновано, что перспективы развития гуманитарного сотрудничества в рамках евразийской интеграции связаны с продуктивными коммуникативными проектами, носящими массовый характер, нацеленными на большую аудиторию, массовый охват и формирующими потенциал сближения стран и народов. Показано, что социально-гуманитарные проекты евразийской интеграции неизбежно потребуют содержания, интересного для молодежи и активных социальных групп, — для придания сотрудничеству смыслов и значений, способствующих формированию общего социально-гуманитарного пространства Евразийского Союза.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз (ЕАЭС); евразийская интеграция; механизмы, инструменты и смыслы гуманитарного сотрудничества; социогуманитарные проблемы интеграции

*© Осадчая Г.И., 2023

Статья поступила 19.01.2023 г. Статья принята к публикации 15.05.2023 г.

За годы, прошедшие с начала создания ЕАЭС, интеграционные процессы обрели позитивную динамику, поскольку отвечают экономическим запросам стран-членов и общей тенденции формирования макрорегионов в глобальной экономике. Однако в последние несколько лет усиление нестабильности, обусловленное пандемией коронавируса и сложной международной обстановкой, оказывает отрицательное влияние не только на экономику, но и на политику, культуру, идеологию и социальную сферу Союза. На прочность его испытывает и введенная западными странами система санкций. Ограничительные меры Запада превращают санкционную политику из экономического инструмента политического контроля в орудие лишения России статуса одного из влиятельных центров современного мира и ЕАЭС. Санкции формируют внешние и внутренние противоречия в Союзе и способствуют росту изоляционизма, основанного на стремлении стран-членов решать свои проблемы за счет союзников или партнеров. Необходимость отстаивания интересов регионального объединения побуждает искать дополнительные механизмы воздействия на результативность интеграционных процессов, что невозможно обеспечить только с позиций экономической целесообразности — важно консолидировать усилия стран и использовать весь комплекс научных, экономических, политических и социальных ресурсов, направив их на укрепление позиций Союза. Важными факторами развития интеграционного проекта являются гуманитарные связи между странами и социокультурная близость, взаимопроникновение стран и народов — без них интеграция остается неустойчивой, а их отсутствие может подорвать ее основания.

Социогуманитарное сотрудничество между странами по-разному трактуется в отечественной и зарубежной литературе, дискуссионными остаются определения его субъектов и способов координации [10; 15]. Мы предлагаем понимать под социально-гуманитарным сотрудничеством стран-членов ЕАЭС совокупность предметных областей (культура, наука, образование, массовые коммуникации, спорт, туризм, работа с молодежью, гуманитарная помощь и поддержка), взаимоотношений надгосударственных, государственных и негосударственных акторов, ориентированных на системную работу с населением членов ЕАЭС на основе межцивилизационного диалога, сотрудничества гражданских обществ, и отношений с соотечественниками за рубежом. Соответственно, механизмы социогуманитарного сотрудничества — это целостная система надгосударственных, государственных органов и негосударственных учреждений, специальных учреждений и органов, а также штат лиц, профессионально выполняющих работу по регулированию интеграционных процессов, реализации целей и задач ЕАЭС, обеспечению социального взаимодействия и использования ресурсов социогуманитарного

сотрудничества в интересах каждой страны и интеграционных процессов в Евразии. Инструменты социально-гуманитарного сотрудничества — средства и меры, направленные на взаимодействие стран-членов: исследовательские проекты, культурные обмены, фестивали, выставки, программы, конференции и форумы, способствующие расширению международного политического, экономического, научного, образовательного, культурного и гуманитарного сотрудничества России с государствами на постсоветском пространстве и усвоению евразийских норм и ценностей, моделей поведения.

Страны-члены ЕАЭС ведут поиск оптимальной модели межгосударственных отношений в гуманитарной сфере [19]. С начала развития евразийской интеграции принимались меры по созданию единого образовательного пространства. Вузы России создали в Евразии филиалы, и они успешно сегодня работают. Особенно следует отметить Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, который имеет филиалы во всех столицах государств Союза — ежегодно более 400 профессоров МГУ ведут в них занятия (1). Евразийская ассоциация университетов объединяет 142 университета постсоветских стран. Ректоры ведущих вузов стран ЕАЭС по итогам встречи 25 мая 2022 года в Бишкеке выразили намерение создать Евразийский сетевой университет и подписали на площадке Кыргызского экономического университета имени М. Рыскулбекова Меморандум о взаимопонимании (2). Сетевой университет создается для реализации новых направлений евразийской интеграции, отраженных в Стратегии 2025, — формирования безбарьерной среды в образовании, подготовки и повышения квалификации специалистов по евразийской интеграции на основе единого учебного комплекса (3).

Сохранение русскоязычного пространства в Евразии — основа российского культурного присутствия, однако наблюдается сужение области применения русского языка в силу разных причин. За последние тридцать лет в странах СНГ в 2,8 раза сократилось количество русскоязычных школ, а число обучающихся — на 40 % [9]. Главная причина — сокращение доли русскоговорящего населения в странах ближнего зарубежья и усиление националистического дискурса.

Сотрудничество стран ЕАЭС развивается в сфере науки, медицины, культуры, литературы, искусства и спорта по двусторонним соглашениям между Россией и странами-членами [2; 5–7; 15; 17; 18] и в рамках отдельных инициатив. Институциональная структура двустороннего сотрудничества включает в себя государственные и негосударственные организации. Проводится масса совместных мероприятий на двусторонней основе, но они носят событийный, локальный и поэтому недостаточный интеграционный эффект. Необходимы продуктивные коммуникативные проекты массового характера, нацеленные

на большую аудиторию и формирующие потенциал сближения стран и народов. Однако на наднациональном уровне нет правовой и договорной основы для таких инициатив и масштабных проектов. Полномочий для ведения социально-гуманитарной работы в этих областях у ЕАЭС тоже нет. Обсуждение того, насколько они нужны Союзу, идет постоянно, но пока у руководства стран-членов отсутствует консенсус по этому поводу. Не в полной мере используется ресурс созданных объединений, например Ассоциации содействия евразийской интеграции, Научного центра евразийской интеграции, Фонда содействия евразийской интеграции, Евразийской ассоциации делового и гуманитарного сотрудничества (ЕАДГС) «Евразийский дом», Ассамблеи народов мира, Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС и др.

Наличие проблемных зон и важность работы с населением по формированию солидарности вокруг идеи интеграционного объединения показывают и наши опросы. В результате переинтерпретации советской истории для обоснования нового политического порядка и суверенизации, акцента на национальных праздниках, культивирующих независимость и суверенитет, трансляции в СМИ новой идеологии усиливается отрицание опыта СССР и снижается поддержка интеграции. Даже среди «миллениалов» и «постмиллениалов» наблюдаются различия в оценке советского прошлого и поддержке интеграционных процессов — чем старше респонденты, тем поддержка выше (4) (рис. 1).

Низка информированность респондентов о существовании ЕАЭС (табл. 1).

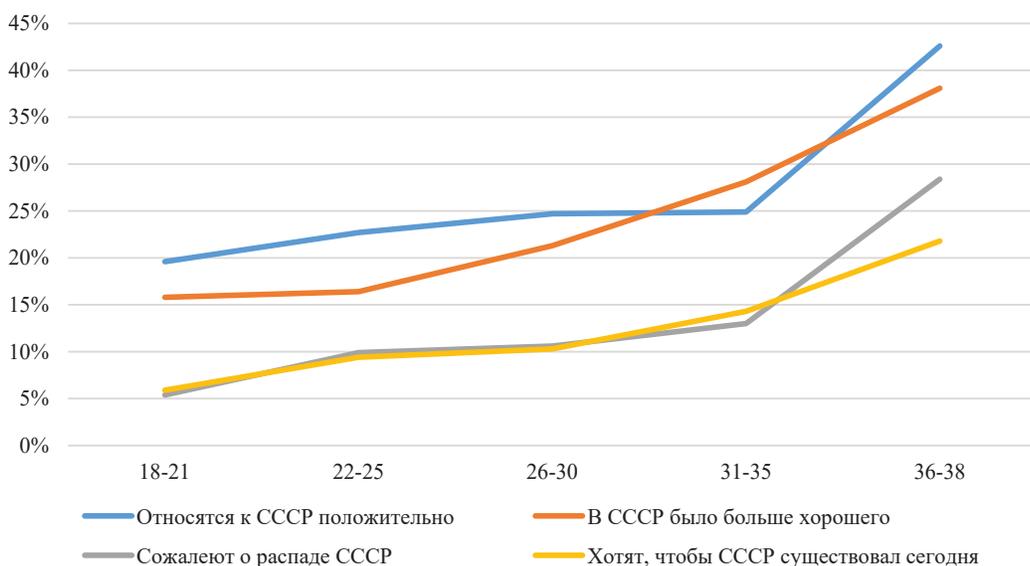


Рис. 1. Суждения респондентов о СССР и интеграционных перспективах (в %)

**Информированность о существовании
на постсоветском пространстве ЕАЭС (в %)**

Варианты ответов	Граждане России	Граждане Казахстана	Граждане Кыргызстана	Граждане Узбекистана	Граждане Таджикистана
Да, знаю	40,2	43,8	38,9	32,5	30,2
Да, что-то слышал, но не могу утверждать точно	32,8	33,8	30,9	31,4	34,2
Нет, не знаю	27	22,4	30,3	36,1	35,7

В представлениях граждан государств-членов отмечается раскол в суждениях о глубине интеграционных процессов (рис. 2), и каждый десятый выступает против интеграционных процессов. При этом респонденты демонстрируют высокий уровень социальных ожиданий от развития стран в составе Союза: по их мнению, в будущем в ЕАЭС по сравнению с СССР снизится число бедных, а их государство будет развиваться более динамично, станет более демократичным и безопасным, помогающим своим гражданам, справедливым, правовым, толерантным, свободным и мультикультурным [14]. Вероятно, если эти ожидания не оправдаются, наступит разочарование, что отрицательно скажется на уровне поддержки интеграции и доверия между гражданами стран-участников.

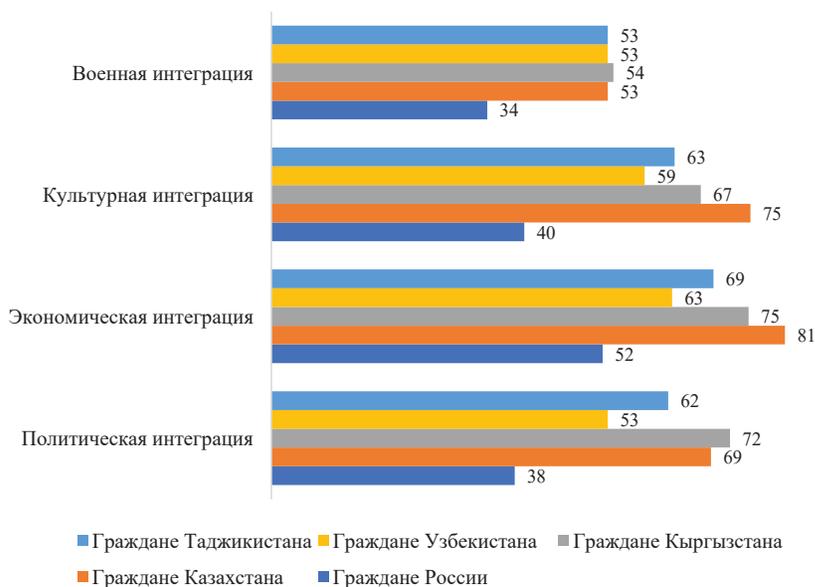


Рис. 2. Доли поддерживающих разные форматы интеграции (определенно да + скорее да, чем нет) (в %)

Долгожданным шагом для развития социогуманитарного сотрудничества стало утверждение в декабре 2020 года Высшим Евразийским экономическим советом «Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» в области образования, здравоохранения, туризма и спорта. Пожалуй, впервые были подробно обсуждены направления гуманитарного сотрудничества в рамках евразийской интеграции 26 мая 2022 года в столице Кыргызстана Бишкеке — на Первом Евразийском международном экономическом форуме. В ходе панельной дискуссии были названы конкретные инструменты социально-гуманитарного сотрудничества, которые могут способствовать последовательной реализации евразийской идеи, систематизируя рекомендации экспертов, в том числе сформулированные в ходе наших исследований проблем евразийской интеграции, отражая критические точки развития социально-гуманитарного сотрудничества стран ЕАЭС, символически оформляя интеграционный курс, продвигая публичный дискурс в медиа и евразийскую проблематику в пространство всех постсоветских государств, формируя повестку публичных дискуссий и социогуманитарной коммуникации между государствами и обществами. Особенно следует поприветствовать предложения по созданию Евразийского медиахолдинга, Евразийской конфедерации журналистов, Евразийской академии кинематографических искусств и Евразийской кинопремии, специальных программ — научно-популярных и художественных — для СМИ и медиаконтента стран Евразийского союза. Эти инициативы получили развитие в ходе заседания 25 мая 2023 года в Кремле лидеров стран Союза: было предложено добавить к известным четырем свободам — передвижения товаров, услуг, финансов и человеческого капитала в рамках ЕАЭС — пятую — свободу знаний, которая будет реализовываться на основе общих принципов и стандартов образования, здравоохранения и государственного управления. Конечно, пока это протокол о намерениях, где не обозначены субъекты социогуманитарного сотрудничества, не прослеживается системность мероприятий, не определены финансовые источники. Для успеха интеграции нужно планировать и анализировать в мониторинговом режиме гуманитарную составляющую сотрудничества, формирующиеся евразийские ценности, идеалы и нормы, развитие инфраструктуры и создание рабочих мест, чего пока тоже не наблюдается.

Социально-гуманитарные проекты в рамках евразийской интеграции неизбежно требуют содержания, интересного для молодежи и активных социальных групп. Новые инструменты должны способствовать формированию не только единого экономического, но и общего социально-гуманитарного пространства народов ЕАЭС. Назовем основные из них: во-первых, продвижение основных идей и ценностей современного евразийства [3; 4; 8; 12] — полицентризм и мультилинейность социально-исторического процесса, представления о параллельном сосуществовании разных цивилизаций, каждая из которых имеет свою логику развития, культурную доминанту, ценности, цели и прио-

ритеты; значимость развития национальных культур, уникальность и неповторимость каждой нации и народа, роль в жизни народа собственной высшей идеи и самостоятельного неподражательного развития; признание Евразии особой географической, этнической, культурно-исторической системой, часть которой составляет Россия, сыгравшая интегрирующую роль, ставшая центром культурного притяжения не только для славянских, но и тюркских, финно-угорских и других народов; объективная предрасположенность евразийских народов постсоветского пространства к разным формам интеграции, детерминированная сочетанием базовых социально-культурных кодов; во-вторых, формирование у граждан стран-членов ЕАЭС схожих интересов, норм, ценностей и идей, побуждающих к строительству интеграционного объединения.

Сегодня нормы и ценности Союза не сформулированы и не закреплены в документах, а в статье 3 Договора о Евразийском экономическом союзе, подписанном в Астане 29 мая 2014 года, перечислены только общие принципы функционирования Союза: уважение общепризнанных положений международного права и особенностей политического устройства государств-членов, обеспечение взаимовыгодного сотрудничества. Евразийские ценности должны предполагать сохранение коллективных идентичностей — семейных, этнических, религиозных, связанных с традиционными формами локальных цивилизаций. В наших опросах респонденты в качестве главных интеграционных ценностей называли повышение благосостояния народов (45 %), справедливость как обеспечение прав человека (33 %) и коллективную безопасность (32 %). На наш взгляд, не менее важны и следующие задачи ЕАЭС.

Формирование двойной идентичности — национальной идентичности каждого народа ЕАЭС и общеевразийской идентичности. Двойная идентичность, основанная на понимании своей исторически определенной функции в жизни органического целого — Евразии — является важнейшим условием жизнеспособности евразийской идеи [12] и показателем ее успешности — когда она формируется в массовом сознании как общезначимая система символов и принимается молодым поколением. При построении модели ЕАЭС целесообразно искать символы, уходящие корнями в местные культурные традиции государств-членов, которые бы ясно выражали общие идеи, концепции и ценности в современной интерпретации. Для укрепления солидарности и углубления сотрудничества между государствами необходимо использовать такой праздник, как День Евразийского экономического союза 29 мая, введенный решением Высшего Евразийского экономического совета.

Воспроизводство консистентной солидарности во всех структурных элементах общества и включение человека и сообществ в работу системы общественного устройства.

Формирование позитивного отношения к идее интеграции, этнокомплементарных отношений в социуме, эмпатии и толерантности за счет сохранения общего культурно-исторического пространства, общей социальной

памяти, поддержки русского языка и традиций — всего, что способствует взаимопониманию социальных субъектов и обеспечивает связь поколений в рамках интеграционных процессов [13].

Перспективы развития социогуманитарного сотрудничества в рамках евразийской интеграции связаны с разработкой продуктивных коммуникативных проектов, носящих массовый характер, нацеленных на большую аудиторию и формирующих потенциал сближения стран и народов, с определением субъектов социогуманитарного сотрудничества, с системностью мероприятий и понятной финансовой политикой, с созданием евразийского сетевого университета и евразийских кафедр в вузах Союза, с разработкой и внедрением в учебный процесс совместных образовательных программ и учебников, в которых бы нашло отражение историческое и культурное единство наших стран, с организацией фестивалей молодежи и студентов стран Евразии, с проведением Евразийских чтений. Все это возможно только при условии создания институциональной структуры социально-гуманитарного сотрудничества стран-членов, правовых оснований для реализации совместных инициатив и масштабных проектов и постоянного мониторинга социогуманитарной составляющей сотрудничества, формирующихся евразийских ценностей, идеалов, норм и идентичности.

Примечания

- (1) *Студнева Е.* Интеграция в научно-образовательной сфере на пространстве ЕАЭС // URL: <http://viperson.ru/articles/integratsiya-v-nauchno-obrazovatelnoysfere-na-prostranstve-eaes>.
- (2) Садовничий предложил создать альянс вузов евразийского пространства // URL: <https://gia.ru/20200707/1574009403.html>.
- (3) Основные тезисы Первого Евразийского экономического форума. Тематическая сессия «Развитие сетевых форм взаимодействия при реализации образовательных программ» // URL: https://www.alta.ru/images/news/files/2022/91225/itogovaya-rezolyutsiya_EEF.
- (4) «Формирование социальной памяти молодежи государств-участников евразийской интеграции» (руководитель проекта — Г.И. Осадчая). Опрошено в 2019 году 350 информантов (глубинные интервью) в возрасте 18–38 лет, с использованием неслучайной выборки — метод «снежного кома» по возрасту и гражданству. В 2020 году было опрошено 2949 респондентов в Москве (структурированное интервью молодых граждан государств-членов ЕАЭС и кандидатов на вступление в ЕАЭС, проживающих, обучающихся или работающих в г. Москве) в возрасте 18–38 лет, отобранных методом «снежного кома» по возрасту и гражданству, в 2021 году — 105 информантов (глубинное интервью).

Библиографический список

1. Восприятие гуманитарной составляющей Союзного государства в массовом сознании жителей Беларуси. М.–Мн, 2018.
2. *Григорян Г.* Гуманитарное измерение армяно-российских отношений // Россия и новые государства Евразии. 2018. № 1.
3. Евразийский мир: ценности, константы, самоорганизация / Под ред. Ю.В. Попкова. Новосибирск, 2010.
4. Евразийство: истоки, концепция, реальность/ Под ред. М.С. Мейера, В.А. Михайлова, Ж.С. Сыздыковой. М., 2014.
5. *Лазоркина О.И.* Гуманитарное измерение союзного государства России и Беларуси // Постсоветские исследования. 2018. Т. 1. № 6.

6. Муратишина К.Г. Институты гуманитарного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан // Евразийство и мир. 2020. № 1.
7. Муратишина К.Г., Мамин Н.В. Институты гуманитарного сотрудничества России и Киргизии // Вестник Удмуртского университета. 2022. Т. 6. № 1.
8. Назарбаев Н.А. Проект документа «О формировании Евразийского союза государств» // Назарбаев Н.А. Евразийский союз: идеи, практика, перспективы. 1994–1997. М., 1997.
9. Немчинова Т.С., Музалев А.А. Экспорт образования как инструмент интеграции стран-участников Евразийского экономического союза // Евразийский юридический журнал. 2016. № 1.
10. Пентегова А.В. Концепт гуманитарного сотрудничества в современной системе международных отношений // Вестник ЗабГУ. 2019. Т. 25. № 4.
11. Попков Ю.В. Евразийский мир: ценности, константы, самоорганизация. Новосибирск, 2010.
12. Осадчая Г.И. Постсоветское евразийство: философские, историко-культурные основы и базовые идеи // Социальные технологии, исследования. 2018. № 2.
13. Осадчая Г.И. Социальная база интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2019. Т. 19. № 4.
14. Осадчая Г.И., Киреев Е.Ю., Вартанова М.Л., Черникова А.А. Формирование социальной памяти молодежи государств-участников евразийской интеграции // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2021. Т. 21. № 3.
15. Смирнова А.В. Взаимоотношения России и Армении: исторические реалии и перспективы // Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2019. № 4.
16. Табаринцева-Романова К.М. Международное гуманитарное сотрудничество: зарубежные подходы к изучению и реализации // Сравнительная политика. 2021 Т. 12. № 4.
17. Ушурелу О.В. Особенности современных российско-молдавских взаимоотношений в гуманитарной сфере // Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки. 2017. № 4.
18. Шнейдер В.М. Основные аспекты сотрудничества России и Узбекистана в сфере образования на современном этапе // Постсоветские исследования. 2019. Т. 2. № 7.
19. Худоренко Е.А., Константинова Е.А. Интеграционный потенциал ЕАЭС: образование, культура, инновации // Политическая наука. 2017. Спецвыпуск.

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-623-633

EDN: VKHPQQ

Eurasian Economic Union: Mechanisms and meanings of social-humanitarian cooperation*

G.I. Osadchaya

Institute of Demographic Research of FCTAS RAS,

Fotievoy St., 6–1, Moscow, 119333, Russia

(e-mail: osadchaya111@gmail.com)

Abstract. The relevance of the research is determined by the need in new opportunities to improve the effectiveness of integration processes in the Eurasian Economic Union (EAEU) under the increasing global instability. The author shows the importance of social-humanitarian

*© G.I. Osadchaya, 2023

The article was submitted on 19.01.2023. The article was accepted on 15.05.2023.

cooperation for integration processes, describes its mechanisms, tools and meanings. The article is based on the materials of the governing bodies of the EAEU, state and non-state organizations of the member countries, current publications of the mass media and studies conducted by the Institute of Demographic Research in 2019–2023. The author describes both the current state of cooperation between the member countries and its problems, such as the local nature of joint events held on a bilateral basis and having a small integration effect; the declining use of the Russian language in the post-Soviet space; the increasing denial of the Soviet past and a low level of support for integration among the younger groups; the lack of an acceptable consensus of the member states in assessing the depth of integration processes; overestimated expectations from the development of countries within the Union; the lack of institutional basis for social-humanitarian interaction and of supranational structures that ensure work with the population of the EAEU. The author sees the prospects for the development of humanitarian cooperation within the Eurasian integration in productive communication projects of a mass nature, which aim at a large audience and form the potential for integration of countries and peoples. The author argues that social-humanitarian projects of Eurasian integration will inevitably require content interesting for younger generations and active social groups, so that cooperation meanings would contribute to the formation of a common social-humanitarian space of the EAEU.

Key words: Eurasian Economic Union (EAEU); Eurasian integration; mechanisms, tools and meanings of humanitarian cooperation; social-humanitarian problems of integration

References

1. *Vospriyatie gumanitarnoj sostavlyayushchej Soyuznogo gosudarstva v massovom soznanii zhitelej Belarusi* [Perception of the Humanitarian Component of the Union State by the Mass Consciousness of Belarus]. Moscow–Minsk; 2018. (In Russ.).
2. Grigoryan G. Gumanitarnoe izmerenie armyano-rossijskih otnoshenij [Humanitarian dimension of Armenian-Russian relations]. *Rossiya i novye gosudarstva Evrazii*. 2018; 1. (In Russ.).
3. *Evrazijsky mir: tsennosti, konstanty, samoorganizatsiya* [Eurasian World: Values, Constants, Self-Organization]. Pod red. Yu.V. Popkova. Novosibirsk; 2010. (In Russ.).
4. *Evrazijstvo: istoki, kontseptsiya, realnost* [Eurasianism: Origins, Concept, Reality]. Pod red. M.S. Mejera, V.A. Mikhajlova, Zh.S. Syzdykovej. Moscow; 2014. (In Russ.).
5. Lazorkina O.I. Gumanitarnoe izmerenie soyuznogo gosudarstva Rossii i Belarusi [Humanitarian dimension of the union state of Russia and Belarus]. *Postsovetskie Issledovaniya*. 2018; 1 (6). (In Russ.).
6. Muratshina K.G. Instituty gumanitarnogo sotrudnichestva mezhdu Rossijskoj Federatsiej i Respublikoj Kazahstan [Institutions of humanitarian cooperation between the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan]. *Evrazijstvo i Mir*. 2020; 1. (In Russ.).
7. Muratshina K.G., Mamin N.V. Instituty gumanitarnogo sotrudnichestva Rossii i Kirgizii [Institutions of humanitarian cooperation between Russia and Kyrgyzstan]. *Vestnik Udmurtskogo Universiteta*. 2022; 6 (1). (In Russ.).
8. Nazarbaev N.A. Proekt dokumenta “O formirovanii Evrazijskogo soyuza gosudarstv” [Draft document “On the formation of the Eurasian Union of states”]. Nazarbaev N.A. *Evrazijsky soyuz: idei, praktika, perspektivy. 1994–1997*. Moscow; 1997. (In Russ.).
9. Nemchinova T.S., Muzalev A.A. Eksport obrazovaniya kak instrument integratsii stran — uchastnikov Evrazijskogo ekonomicheskogo soyuza [Export of education as a tool for the integration of member countries of the Eurasian Economic Union]. *Evrazijsky Yuridicheskij Zhurnal*. 2016; 1. (In Russ.).
10. Pentegova A.V. Kontsept gumanitarnogo sotrudnichestva v sovremennoj sisteme mezhdunarodnyh otnoshenij [The concept of humanitarian cooperation in the contemporary system of international relations]. *Vestnik ZabGU*. 2019; 25 (4). (In Russ.).

11. Popkov Yu.V. *Evrazijsky mir: tsennosti, konstanty, samoorganizatsiya* [Eurasian World: Values, Constants, Self-Organization]. Novosibirsk; 2010. (In Russ.).
12. Osadchaya G.I. Postsovetskoe evraziystvo: filosofskie, istoriko-kulturnye osnovy i bazovye idei [Post-Soviet Eurasianism: Philosophical, historical and cultural foundations and basic ideas]. *Sotsialnye Tekhnologii, Issledovaniya*. 2018; 2. (In Russ.).
13. Osadchaya G.I. Sotsialnaya baza integratsionnyh protsessov v Evraziyskom ekonomicheskom soyuze [Social base of integration processes in the Eurasian Economic Union]. *RUDN Journal of Sociology*. 2019; 19 (4). (In Russ.).
14. Osadchaya G.I., Kireev E.Yu., Vartanova M.L., Chernikova A.A. Formirovanie sotsialnoy pamyati molodezhi gosudarstv-uchastnikov evraziyskoy integratsii [Formation of the social memory of the youth in the states-participants of the Eurasian integration]. *RUDN Journal of Sociology*. 2021; 21 (3). (In Russ.).
15. Smirnova A.V. Vzaimootnosheniya Rossii i Armenii: istoricheskie realii i perspektivy [Relations between Russia and Armenia: Historical realities and prospects]. *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research*. 2019; 4. (In Russ.).
16. Tabarintseva-Romanova K.M. Mezhdunarodnoe gumanitarnoe sotrudnichestvo: zarubezhnye podhody k izucheniyu i realizatsii [International humanitarian cooperation: Foreign approaches to the study and implementation]. *Sravnitel'naya Politika*. 2021; 12 (4). (In Russ.).
17. Ushurelu O.V. Osobennosti sovremennyh rossijsko-moldavskih vzaimootnoshenij v gumanitarnoj sfere [Features of the contemporary Russian-Moldovan relations in the humanitarian sphere]. *Vestnik MGOU. Seriya: Istoriya i Politicheskie Nauki*. 2017; 4. (In Russ.).
18. Shnejder V.M. Osnovnye aspekty sotrudnichestva Rossii i Uzbekistana v sfere obrazovaniya na sovremennom etape [The main aspects of cooperation between Russia and Uzbekistan in the field of education at the present stage]. *Postsovetskie Issledovaniya*. 2019; 7. (In Russ.).
19. Khudorenko E.A., Konstantinova E.A. Integratsionny potentsial EAES: obrazovanie, kultura, innovatsii [Integration potential of the EAEU: Education, culture, innovations]. *Politicheskaya Nauka*. 2017; special issue. (In Russ.).



РЕЦЕНЗИИ

REVIEWS

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-634-643

EDN: ZSASBN

Социологическая диагностика исторического сознания россиян: запрос на устойчивое развитие и преподавание социологии*

С.А. Кравченко

МГИМО-Университет МИД РФ,
просп. Вернадского, 76, Москва, 119454, Россия

Институт социологии ФНИСЦ РАН,
ул. Кржижановского, 24/35, корп. 5, Москва, 117218, Россия

(e-mail: sociol7@yandex.ru)

Аннотация. Статья представляет собой развернутую рецензию на книгу под редакцией М.К. Горшкова «Историческое сознание россиян: оценки прошлого, память, символы (опыт социологического измерения)» (М.: Весь мир, 2022. 248 с.). Отмечены основные характеристики теоретико-методологического инструментария социологической диагностики: анализ гражданской идентичности через призму национально-государственных символов; выявление специфических черт исторической памяти социальных, региональных и поколенческих групп о значимых достижениях общества и государства; репрезентативность социологических данных, обеспеченная многоступенчатой районированной выборкой. Выделены семь наиболее значимых характеристик исторического сознания россиян, которые выступают факторами укрепления гражданской идентичности и устойчивого развития России. Сделан вывод, что полученные данные имеют теоретическую и практическую значимость — на основе комплексного многоаспектного анализа исторического сознания россиян возможна разработка стратегии устойчивого развития страны и новых подходов к подготовке социологов. Рецензент вносит конкретные предложения по тем курсам, что призваны формировать у молодого поколения социологов критическое мышление, историческое сознание и социологическое воображение.

*© Кравченко С.А., 2023

Статья поступила 16.02.2023 г. Статья принята к публикации 15.05.2023 г.

Ключевые слова: историческое сознание россиян; национально-государственные символы; историческая память; социальная гордость; российская идентичность; идеология; устойчивое развитие

В рецензируемой книге на основе комплексного и многоаспектного теоретико-методологического инструментария социологической диагностики рассмотрено историческое сознание россиян в условиях современных вызовов. Первая составляющая инструментария — это подход к изучению гражданской идентичности через призму национально-государственных символов. Вторая составляющая — анализ явлений и процессов с учетом исторической памяти социальных, региональных и поколенческих групп о значимых достижениях общества и государства, которая влияет на эмоционально-смысловые структуры идентичности, а через них — на массовое сознание и поведенческие практики. Третья — репрезентативность социологических данных, которая обеспечена многоступенчатой районированной выборкой с квотным отбором единиц наблюдения в 22 субъектах Российской Федерации (112 поселений, включая 2 мегаполиса, 19 административных центров, 35 районных центров, 19 поселков городского типа и 37 сел) (С. 7, 11). Такая социологическая диагностика позволяет выявить и раскрыть «корневую систему нравственных ценностей и жизненных смыслов, вкусов и норм, критериев оценки человеком себя и окружающего мира» [5. С. 10]. Сегодня, когда глобальные «идентичности» утрачивают свое влияние, необходимы национально ориентированные подходы к устойчивому развитию страны, и авторами обоснована «специфическая когнитивная структура» — «исходная матрица понимания» перспектив развития России: «какие маркеры идентичности будут доминировать в массовом сознании россиян, какими станут важнейшие референтные группы самоидентификации», что «вызывает необходимость переосмысления гуманитарной компоненты образовательных программ в школах и вузах» (С. 7, 9).

Обозначим семь наиболее значимых результатов исследования, характеризующих состояние массового исторического сознания россиян в контексте укрепления российской гражданской идентичности. *Историческое прошлое обуславливает консолидацию:* «образы истории — это всегда одновременно и прообразы современности». Особый интерес россиян к отечественной истории «связан во многом с высокой ролью исторического прошлого в консолидации населения как на локальном, так и на страновом уровнях». Любители истории составляют около 20 %, и это весьма значимый фактор устойчивости российского социума, который сдерживает попытки фальсификации отечественной истории и переформатирования исторического самосознания россиян (С. 17, 20). Эта устойчивость принципиально важна для суверенного развития страны.

В годы перестройки и либеральных реформ кризисное состояние общества и системы образования повлекло дисперсию исторического дискурса и оценок прошлого — произошло «снижение исторических компетенций, в особенности среди молодежи»; «исторические консенсусы в современной России все же относительны, не отличаются “железобетонной” устойчивостью и в будущем могут подвергаться определенным переформатированиям»; «каждый третий россиянин сегодня не может сказать, кем могла бы гордиться страна». Причина — потоки неструктурированных данных о перипетиях отечественной истории, которые россияне получают из кинофильмов, телевидения, художественной литературы и особенно Интернета, тогда как «фундамент знания об истории, ее ключевых героях и антигероях все же формируется в средней и высшей школе» (С. 21, 25, 27, 33), что требует изменения подходов и к преподаванию социологии, в частности, введения на социологических факультетах курса «Историко-культурные факторы устойчивого развития России».

Концепция исторического дискурса, адекватного культурному «коду» России. Проблема единственно верной версии исторических событий извечна — она поднималась неоднократно и по сей день продолжает активно обсуждаться. К. Маркс обосновал «материалистическое понимание истории» [9]. М. Вебер увидел недостаток этой позиции в том, что структуры всецело детерминируют поведение индивидов, т.е. исторические события рассматривались независимо от намерений людей. По его мнению, не только материальные факторы, но и идейно-нравственные ориентиры значимы для понимания поведения людей в тех или иных исторических событиях. Исходя из постулата, что история и социология — два направления научного интереса, а не две разные дисциплины, Вебер предложил оригинальную методологию выявления исторической причинности и обоснования относительно адекватной трактовки исторических фактов: необходимо выстроить идеально-типическую конструкцию исторического события с учетом ценностного релятивизма (каждая историческая эпоха имеет культурно значимые ценности, изменяющиеся от поколения к поколению), а затем сопоставить мысленный ход событий с их реальным развитием. Тем самым исследователь перестает быть простым статистом истории, ориентированным на обоснование «абсолютного знания», и обретает возможность понять, насколько сильным было влияние обстоятельств, какова роль конкретной личности в данный момент истории [2].

Зарубежные социологи делают акцент на выработке подходов к интерпретации исторического прошлого с учетом нелинейных трендов развития, повлекших культурные травмы и разрывы исторической преемственности. Так, Ж. Бодрийяр утверждает, что в условиях «конца социального» распространяются политически ангажированные практики означивания событий, что превращает их в «не-события», лишённые культурно-цен-

ностной субстанции и своей истории [1]. Ж. Деррида предложил метод деконструкции, позволяющий выявлять скрытые, «спящие» смыслы истории, перешедшие в современный текст из «первописьма» [6]. М. Фуко разработал «археологию знания», описывающую отдельные исторические события, устраняя «налет» субъективного фактора [11]. При всей оригинальности и научной значимости этих концепций, нельзя не отметить в них доминирование формально рациональных, прагматических подходов. Их применение в научных трудах по истории и в образовании обернулось тем, что либо абсолютизируются западные «универсальные» ценности, либо умалется роль незападных культур. Формализация истории не обошла и Россию, где изучение истории подчас сводится к заучиванию дат и имен для сдачи ЕГЭ.

На фоне отсутствия единого учебника отечественной истории будет востребована предложенная авторами книги концепция исторического дискурса, адекватного «культурному коду» России, — предлагаются подходы к формированию устойчивого исторического нарратива. Данная концепция, с одной стороны, принимает во внимание эффекты нелинейности и неопределенности, распространившиеся на историческое знание, а, с другой, акцентирует значимость национального культурного кода. Ее квинтэссенция — формирование исторического сознания россиян с учетом потребности в устойчивых ориентирах и «общем историческом нарративе». «Более половины населения страны убеждены в том, что от трактовки прошлого зависит наше общее будущее». При этом «россияне в значительной своей части понимают, что историческое знание обладает определенной спецификой и не может дать нам вечных истин» (С. 78, 82). Соответственно, очевиден запрос на курс «Социология отечественной истории», который в методологическом плане учитывает особенности российской культуры и призван формировать у молодого поколения критическое мышление, историческое сознание и социологическое воображение нелинейно-гуманистического типа [8].

Национально-государственные символы в восприятии россиян. В предыдущем исследовании М.К. Горшков отметил, что с конца советского периода в стране начал складываться качественно сложный социум — общество становилось все более дифференцированным, многослойным, переживающим перманентный процесс экономического, технологического и социокультурного обновления. Поскольку «различным эпохам, различным сообществам соответствуют различные типы человека», в социальном отношении россияне из объектов управления превращались в самостоятельно действующих акторов, и недооценка этого фактора приводила к многообразным конфликтам и во времена перестройки, и в постсоветский период. В связи с этим было предложено нацелить социологическую диагностику на выявление того, «кто мы такие и что мы как общность собой представляем» [4. С. 28–34]. В рецен-

зируемой книге этот подход был развит применительно к анализу усложнения исторического сознания россиян: будучи акторами, россияне самостоятельно выбирают каналы информации, которые по-разному трактуют национальные символы, что сказывается на их историческом сознании, видении себя в общности и представлениях о будущем страны.

«Наиболее глубокий “водораздел” в восприятии национальных символов обнаруживается между людьми, по-разному видящими желаемое будущее России». Те, кто выступают за национальные традиции, моральные и религиозные ценности, воспринимают образ страны через исторические памятники, города-герои, государственные символы. «Сторонники сближения с Западом, вхождения России в “общеевропейский дом” чаще игнорируют исторические (а с ними и политические) аспекты национальных символов, фокусируясь на политически и исторически нейтральных ассоциациях... в подобных установках прозападно настроенных россиян проявляется желание стать национально и граждански “нейтральными” и дистанцироваться от “российскости”». Эта тенденция по-разному проявляется у поколений: «если для молодежи вопрос “обрастания” символами — скорее всего дело будущего жизненного и социального опыта, то применительно к тем, чье символическое восприятие России имеет в основании мировоззренческий выбор (“общеевропейский дом”), речь идет об уже сформировавшейся и, вероятно, довольно стабильной позиции... Молодежные группы оказываются наиболее уязвимыми с точки зрения формирования их исторического сознания и чувства гордости за исторические достижения страны» (С. 39, 40, 50, 244). Эту тревожную тенденцию для устойчивого развития страны надо исправлять, разумеется, не жестким цензурованием каналов информации (что не исключает контроля за их контентом), а посредством «мягкой силы» — введения в образовательный процесс курса «Социология национально-государственной символики», для чего уже заложена научная основа. Так, в исследовании Г.В. Вилинбахова «Символы России» прослеживается становление самодержавной (и суверенной) власти через развитие государственной геральдики, реконструирована история бело-сине-красного государственного флага России и других знамен, которые «представляют собой источник, помогающий уточнить направление развития идеологий ...и могут дать определенную периодизацию социально-политических процессов» [3. С. 161].

Историческая память как основа социальной гордости. Важность последней «определяется тем, что она аккумулирует, накапливает в себе и отражает оценки человеком всей истории страны и происходящих в ней процессов... гордость является установкой, которая конвертируется в поведенческие реакции, действия... в целом “запас прочности” этого фундамента в здании исторической гордости россиян велик». Однако в последнее время, в ходе смены поколений и в связи с изменением фокуса политического внимания, возник запрос на укрепление «оборонно-

го сознания» вследствие напряженности во взаимоотношениях с другими странами и введения антироссийских санкций. «Очевиден тренд на общее ослабление чувства гордости за прошлое страны... Это касается в том числе и топ-позиций — победы в Великой Отечественной войне и послевоенного восстановления страны, великих деятелей культуры, полета человека в космос» (С. 58–62). Вызовы исторической памяти подрывают функциональность социальной гордости как значимого социокультурного фактора устойчивого развития страны и консолидации общества. И авторы предприняли успешную попытку эмпирически измерить влияние этих вызовов на разные социальные слои, разработав «индекс гордости». Его применение выявило среди причин дефицита гордости за Россию пробелы в образовании и в формировании исторического сознания, а также обращение к зарубежным СМИ как источнику «правдивой» информации: 25 % тех, кто на нее полагаются, не видят в истории страны ничего хорошего (С. 65–67, 69). Кроме того, по сравнению с советским периодом наблюдается сокращение образовательных телепрограмм, которые оказались вытеснены развлекательными передачами.

Общационациональная семейная память как фактор консолидации поколений. Значительное внимание в книге уделено семейной памяти — ее роли в консолидации разных поколений россиян в условиях международных вызовов. Прежде всего, отношение к историческим событиям — это «результат эмоционального переопределения современниками своего настоящего через “значимое” прошлое собственной семьи... Прошлый конфликт предков нынешних сограждан, передаваясь и воспроизводясь через семейную постпамять, может препятствовать утверждению единой гражданской идентичности, особенно в мультикультурных сообществах... Актуальности исследованию семейной памяти россиян добавляет постепенное “затухание” советской ценностной парадигмы исторического наследия, пока успешно объединяющей неоднородное российское сообщество». При этом «молодые россияне в возрасте 18–30 лет (29 %) довольно редко рассматривают отечественную историю сквозь призму семейной истории. Гораздо чаще в целях реконструкции таковой они обращаются к интернет-ресурсам по исторической тематике (37 %)». Еще одна выявленная проблема для консолидации поколений, имеющая глубокие исторические корни, состоит в том, что 19 % респондентов ничего не знают об истории своей семьи — «в советский период многие обстоятельства семейной истории намеренно замалчивались людьми из-за страха быть осужденными окружающими» («непролетарское» происхождение, осуждение родных по «политическим статьям») (С. 89–90, 92–93, 95]. Казалось бы, локальная сфера жизнедеятельности конкретных людей фактически имеет стратегическое значение для устойчивого функционирования общества и формирования единой гражданской идентичности.

Сегодня многие из этих проблем решаются за счет формирования своего рода сетевого поколенческого единения на основе общегосударственного исторического дискурса, пример чему — акция «Бессмертный полк». «Информированность и вероятность прямого участия в ней коррелируют с уровнем образования респондентов. Чем выше образование, тем выше уровень информационной включенности и вероятность прямого участия (С. 105). Общенациональная семейная память сохраняется, пока ее воспроизводят люди, и социологи могли бы ввести в свои образовательные программы курсы «Социология семейной памяти» и «Социологическая диагностика социального насилия», опираясь на работы М. Фуко и других исследователей о системах надзора и наказания в западных странах, Холокосте, колониальном насилии как инструменте «авангардного» развития стран первого мира, «псевдоуниверсальности» правил в основе либеральных трактовок прав и свобод человека и т.д.

Этническая и гражданская составляющие российской идентичности. Пожалуй, это первое исследование, в котором так комплексно и многоаспектно проанализирована взаимообусловленность этнической и гражданской составляющих идентичности в историческом контексте — как диалектическое единство в историческом сознании. «Общее прошлое воспринимается как один из центральных атрибутов единства и гражданской нации, и этнической общности... многим россиянам близка идея российской нации как “плавильного котла” разных культур, сосуществующих в рамках единого государства: общая для всех российская идентичность не воспринимается препятствием или альтернативой для этнического самоопределения». Диалектический характер этнической и гражданской составляющих в идентичности россиян обусловлен историей становления России как многонационального государства: «национальность россияне определяют преимущественно через культуру, а не через “кровь”, биологическое родство... понимание этнической общности через сопричастность общей культуре делает ее границы не “жесткими”, а открытыми для новых членов, и этническую идентичность — изменяющейся под влиянием времени».

Вместе с тем отмечены и угрозы устойчивому консолидированному развитию страны: «националистические идеи чаще других поддерживают россияне без профессионального образования»; «национальный вопрос не только обладает колоссальным центробежным ресурсом, но и способен породить многопоколенные острые конфликты»; «катастрофисты... чаще других высказываются в поддержку лозунга “Россия для русских”»; события на Украине «переносят фокус “русского вопроса” из внутренней политики, где дискурс защиты прав русских циркулировал с середины 2000-х годов, в международное пространство» (С. 135, 136, 138–140). Эти вопросы нуждаются как в дальнейшем научном осмыслении, так и во включении в учебный процесс, например, в рамках курса «Социологическая диагно-

стика национального вопроса», который бы основывался как на эмпирических данных, так и на концепции «гло-локал-анклавизации мирового сообщества» В.А. Ядова, считавшего, что «несомненная и наиважнейшая особенность России — анклавизация» [12. С. 354, 358]. Многие вызовы устойчивому развитию нашей страны имеют как объективные (гло-локал-анклавные реалии), так и субъективные (массовое историческое сознание россиян) детерминанты.

Идеологическое противостояние в восприятии отечественной истории. В годы перестройки и либеральных реформ в общественное сознание россиян активно внедрялся миф о «деидеологизации истории», который камуфлировал «множественные атаки на историю, попытки ее переосмыслить, заменить ее прочтение как героических страниц на прочтение как страниц идеологического и гуманитарного поражения» (С. 59–60). В книге утверждается, что идеологическая борьба не только не завершилась, но существенно усложнилась, распространяясь и на прошлое (исконные ценности, исторические победы и др.), и на современность: «идеологическое противостояние фокусируется сегодня и на “актуальной повестке дня”, и на том, что происходило в прошлом. Поэтому нам просто необходим регулярный социологический мониторинг восприятия обществом отечественной истории» (С. 247).

В попытках «отменить» российскую культуру задействованы новейшие приемы манипулирования смыслами, и ставка делается на «цифровой надзор», суть которого, по У. Беку, — «невидимый тотальный контроль на глобальном уровне», включая «возможности отслеживать личную информацию» и «утрату национальным государством способности обеспечить демократическое управление», что «угрожает “только” некоторым основным достижениям современной цивилизации: личной свободе и автономности, частной жизни, основополагающим институтам демократии и права» [13. С. 141–142, 143]. «В молодежной среде наиболее выражены установки на сближение с условным “Западом”, и это находит выражение в другом взгляде на события советского и современного периодов» (С. 63–64).

Эти данные побуждают обществоведов «переоткрыть» значение идеологии для устойчивого развития страны. Еще К. Манхейм указал на амбивалентную функциональность идеологии: она способствует саморационализации (этот эффект свойственен национальной идеологии и актуален для устойчивого развития общества), однако определенные ее типы, подчас созданные в политических целях, влекут дерационализацию, производя смыслы «от сознательной лжи до полусознательного инстинктивного сокрытия истины, от обмана до самообмана» [8. С. 56]. Если национальная или государственная идеология консолидирует общественное сознание и, соответственно, укрепляет устойчивость социальных институтов, то так называемая «деидеологизированная история»

воспроизводит чуждые нам идеологии, хаотизирующие общественное сознание россиян. Согласно Ж.Т. Тощенко, «идеология — неперенный атрибут развития общества... ни одна страна, общество, государство не могут существовать без идеологии. Она имеется в каждом их них, независимо от официального ее признания... Отказ от официальной идеологии привел к тому, что общественному сознанию была нанесена колоссальная травма», и сегодня в российском обществе сосуществуют либеральная, социалистическая, консервативно-патриотическая, национальная и «эрзац-идеологические формы» [10. С. 182, 185, 195–199]. От нашего отношения к современным усложняющимся идеологиям в конечном счете зависит устойчивость российского общества, поэтому важно включить в программы подготовки социологов курсы «Отечественная история через призму борьбы идей» и «Современные средства идеологического противоборства: мифы “деидеологизации”, “культуры отмены”, постправды».

Таким образом, рецензируемое издание стало событием и импульсом для развития российской социологической науки. Положения книги основаны на достижениях мировой социологической мысли, но отфильтровывают постулаты об универсальности западных исследовательских подходов, раскрывая их идеологическую направленность. Проведенное учеными ФНИСЦ РАН исследование — несомненно, мирового уровня, но его результаты и выводы национально ориентированы — призваны способствовать разработке стратегии устойчивого консолидированного развития России и инициируют обновление программ подготовки социологов с учетом тех внешних вызовов, с которыми столкнулась наша страна.

Библиографический список

1. *Бодрийяр Ж.* К критике политической экономии знака. М., 2000.
2. *Вебер М.* Основные социологические понятия // Избранные произведения. М., 1990.
3. *Велибахов Г.В.* Символы России. Очерки по истории русской геральдики. СПб., 2009.
4. *Горшков М.К.* Российское общество как оно есть (опыт социологической диагностики). Т. 1. М., 2016.
5. *Горшков М.К., Комиссаров С.Н., Карпунин О.И.* На переломе веков: социодинамика российской культуры. М., 2022.
6. *Деррида Ж.* Письмо и различие. М., 2000.
7. *Кравченко С.А.* Динамика социологического мышления и воображения // Социологические исследования. 2009. № 8.
8. *Манхейм К.* Идеология и утопия. Диагноз нашего времени. М., 1994.
9. *Маркс К.* Социология. М., 2000.
10. *Тощенко Ж.Т.* Общество травмы: между эволюцией и революцией (опыт теоретического и эмпирического анализа). М., 2020.
11. *Фуко М.* Археология знания. СПб., 2004.
12. *Ядов В.А.* Некоторые социологические основания для предвидения будущего российского общества // Россия реформирующаяся. М., 2002.
13. *Beck U.* *The Metamorphosis of the World.* Cambridge, 2016.

Sociological diagnostics of the historical consciousness of Russians: Request for sustainable development and teaching of sociology*

S.A. Kravchenko

Moscow State University of International Relations,
Vernadskogo Prosp., 76, Moscow, 119454, Russia

Institute of Sociology of FCTAS RAS,
Krzhizhanovskogo St., 24/35–5, Moscow, 117218, Russia

(e-mail: sociol7@yandex.ru)

Abstract. The article is a review of the book edited by M.K. Gorshkov *Historical Consciousness of Russians: Assessments of the Past, Memory, and Symbols (Sociological Measurement)* (Moscow: Ves Mir, 2022. 248 p.). The author identifies the key characteristics of the theoretical-methodological tools of this sociological diagnostics: analysis of civil identity through the national-state symbols; identification of specific features of the historical memory of social, regional and generational groups about the significant achievements of society and the state; representativeness of the sociological data provided by a multi-stage stratified sample. The article describes seven most significant characteristics of the historical consciousness of Russians as factors strengthening the civil identity and the country's sustainable development. The author argues that the book has both theoretical and practical significance due to being based on a comprehensive multi-aspect analysis of the historical consciousness and to providing grounds for a national strategy for sustainable development and for new approaches to teaching sociologists. The author makes some proposals of courses that would help younger generations of sociologists to develop critical thinking, historical consciousness, and sociological imagination.

Key words: historical consciousness of Russians; national-state symbols; historical memory; social pride; Russian identity; ideology; sustainable development



DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-644-653

EDN: ZSHAKA

О пользе мифологем для социологического воображения*

И.В. Троцук, М.В. Цимбал

Российский университет дружбы народов,
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198, Россия

(e-mail: irina.trotsuk@yandex.ru; 1132223166@rudn.ru)

Аннотация. Статья представляет собой социологическую рецензию-размышление о несоциологической книге П.А. Сапронова «Мифология секулярной культуры» (СПб.: Издательский дом «Петрополис», 2023. 380 с.) и призвана подтвердить полезность экс-дисциплинарного чтения для понимания своего предметного поля. Из названия книги очевидно, что для читателя-социолога она интересна, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, секуляризация — однозначно социологическая тема, связанная с зарождением нашей дисциплины, а секулярная культура/общество — неоспоримый объект социологического анализа. Во-вторых, у понятия «миф» неоднозначный статус в социологии: с одной стороны, это общепризнанный атрибут любой архаической/древней культуры/общества; с другой стороны, сегодня слово «миф» имеет метафорическую окраску, зачастую выступая оценочно насыщенным синонимом других понятий (идеологии, заблуждений массового сознания, нерелигиозных культов, расхожих публицистических образов и пр.). Хотя книга заявлена как курс лекций, это скорее развернутое монографическое повествование, не соответствующее формальным требованиям к декларируемому жанру: в книге нет введения, сносок и библиографии — только суммирование авторских тезисов в заключении и многочисленные упоминания релевантных авторов, концепций, понятий, примеров и дискуссионных вопросов во всех трех ее разделах — «Миф и его вариации» (исторические трансформации мифологического), «Мифологемы секулярной культуры» (прогресса, индивидуализма, великого человека, свободы, революции, религии в секулярной культуре и национализма) и «О необходимости и возможности преодоления мифа в секулярной культуре» (перспективы демифологизации на пути науки, философии и богословия).

Ключевые слова: миф; мифология; секулярная культура; демифологизация; современное общество; прогресс; индивидуализм; сакральное

*© Троцук И.В., Цимбал М.В., 2023

Статья поступила 21.04.2023 г. Статья принята к публикации 15.06.2023 г.

Если задуматься, то в современной жизни мы используем понятие мифа в двух значениях: говоря о мифах Древней Греции, Китая и других стран, мы подразумеваем особенности мышления несовременных обществ, дофилософский период, когда «счастливым считался человек, которому покровительствуют боги... судьба в мифологическом понимании... это “предначертанный сценарий жизни”, автором которого является бог, а исполнителем главной роли — человек... с распадом мифологического мышления происходит десакрализация мифологемы “судьба”» [3. С. 57] и т.д. Сегодня «повествовательная проза (особенно роман) заняла место, которое в обществах традиционных принадлежало изустно передаваемым мифам и сказкам» [9. С. 187]. Мифология секуляризованного общества «дает человеку полную уверенность в том, что все, что он готовится сделать, уже когда-то было сделано, он помогает прогнать сомнения, которые могут зародиться относительно результатов предпринимаемых действий... Существование модели для подражания нисколько не мешает творческим поискам. Способы использования мифической модели могут быть самыми разными» [9. С. 143].

Утверждая, что «великие политические идеологии доказали свою неспособность сделать мир лучше и из-за своего краха подорвали веру в прогресс — основной миф современности, а вопрос о личном счастье вновь вышел на первый план» [5. С. 16], или что «советский человек жил в страшном, тяжелом мире, но эти тяготы оправдывались мифологемой “светлого коммунистического будущего, в котором будут жить наши внуки”» [8. С. 240], мы трактуем миф совершенно иначе. Он выступает синонимом других, более научнообразных понятий: например, у К. Леви-Стросса — нарратива, в котором главное не содержание, а универсальные ментальные операции по классификации и организации реальности [4], и «если бы функция структуралистского анализа не была таковой, он свелся бы к бесплодной игре, спорной алгебре и даже миф был бы лишен функции, приписываемой ему Леви-Строссом — сообщения людям об определенных оппозициях и их последовательном соединении; лишить миф этой референции к апориям существования означает свести теорию мифа к некрологам бессмысленных дискурсов человечества» [6. С. 40]; у Р. Барта — коннотативной «метаязыковой» системы [1. С. 18–19], «социализирующей» абсолютно все в нашем мире посредством «тошнотворной непрерывности языка» [1. С. 199], или «коммуникативной системы, некоторого сообщения, формы, способа обозначения, которые заключены в исторические рамки, подчинены условиям применения

¹ Прилепин З. Книгочет: пособие по новейшей литературе с лирическими и саркастическими отступлениями. М., 2012. С. 316.

и наполнены социальным содержанием» [1. С. 234]. В социальной психологии и социологии «современные мифы» — это метафорические метанарративы («большие нарративы»/«публичные мифы» [7. С. 14]), т.е. социокультурные нормы, доминирующие социальные представления, «риторические формы» и мифологическая подструктура официальных идеологий.

В своей книге П.А. Сапронов показывает, как именно и почему в истории человечества миф прошел подобный сложный путь (не линейно, а со множественными флуктуациями), предлагая определять миф как конструкцию, строящуюся на основаниях противоположных, часто логически взаимоисключающих. Эта особенность делает мифологемы любого характера — как «архаичные», мифы в буквальном смысле, так и «секулярные», привычные человеку современной культуры — устойчивыми и «прозрачными», позволяющими индивиду поместить в свое «прокрустово ложе» любые социальные явления/события/вещи, попадающиеся ему на жизненном пути. Мышление такого типа по определению застраховано от когнитивных диссонансов: его механизмы нивелируют и устраняют любые противоречия, размещая их в привычной системе мировоззренческих координат. Собственно это и делает мифологему не только живучей, но и востребованной в любой культуре в любой исторический период — это удобный, универсальный и безопасный (для человека как члена конкретных групп и сообществ) способ мышления, который, благодаря этим свойствам, постоянно трансформируется и возрождается в обновленных формах по мере изменения социального контекста, не теряя своего «скелета».

Обозначение социальных представлений об отдельных явлениях/акторах как соединяющих в себе несоединимое, т.е. (полу) мифологических, в принципе характерно для (социально) философской традиции, но автор систематизирует этапы формирования и изменения мифологем — в ходе исторического процесса, в контексте тенденций демифологизации/секуляризации и в рамках разных дисциплинарных областей. Такой подход буквально позволяет «отсечь лишнее» — выделить общие характеристики мифа, неизменно сохраняющиеся даже в рамках секулярной культуры. Объединение мифологем на основании обозначенных атрибутов мифа позволяет реконструировать логику их превращения в цепочку взаимосвязанных когнитивных конструкций, привычных человеку секулярной культуры настолько, что в повседневной жизни он их практически не замечает, принимая за здравый смысл.

Соглашаясь в целом с рассуждениями автора, следует все же признать дискуссионность ряда его построений и конкретных примеров, скажем, не всегда понятны основания отбора одних примеров и принципиального исключения других. Безусловно, это не критическое вопрошание читателя-социолога о том, насколько репрезентативна выборка тех примеров/случаев, которые приведены в тексте в качестве убедительного подтверждения авторской трактовки мифологического. Но, скажем, когда автор ссылается на рабо-

ты общепризнанных классиков, не подкрепляет ли он тем самым «мифологему о великом человеке»? Или когда «мифологема прогресса» представлена, пусть и в критическом ключе, как некое универсальное «цивилизационное лекало», не кусает ли аргументация сама себя за хвост, учитывая, что принцип универсальности к прогрессу давно неприменим, и множество обществ (и сообществ внутри конкретных обществ) стремятся скорее к регрессу (отсюда понятия «традиционные ценности», «заветы предков» и прочие проявления консерватизма и даже архаизации).

У читателя-социолога могут возникнуть вопросы и по поводу разбора отдельных мифологем. Например, обоснование мифологемы индивидуализма отличается от прочих представленных в книге не столько неоднозначностью, сколько размытостью (речь не об эмпирической интерпретации/верификации, а о содержательных границах понятия). Если в рамках секулярной культуры мифологемы выживают и сохраняются как удобный способ повседневного восприятия, жертвующий логичностью во имя жизненного комфорта (самоуспокоения) субъекта, не выбивается ли «миф об индивидуализме» из ряда «комфортных» когнитивных искажений, если, с одной стороны, его содержание столь туманно, а, с другой стороны, способно порождать столь негативные в своих радикальных версиях феномены, как национализм.

Иными словами, прочие секулярные мифологемы, рассматриваемые в книге, скажем, прогресса или национализма (в контексте государственного строительства или конструирования позитивной этнической идентичности), служат своим «адептам» источником чувства безопасности, уверенности в себе и в окружающем мире, а индивидуализм — это скорее экзистенциальный кошмар. Следуя примеру автора — обращаясь к общеизвестным проявлениям гипертрофированного индивидуализма в мировой истории, можно заметить, что такая дистанцированность/оторванность от других и чрезмерная сфокусированность на себе, как правило, трактуется как «проклятие» — неисчерпаемый источник фрустрации вследствие невозможности истинного слияния/единения с другими (и сожалений по этому поводу). Автор упоминает, что некогда идеи человека как отдельного/самостоятельного (социального) актора не существовало — люди мыслили себя исключительно как «мы», что несколько спорно как с исторической точки зрения, так и в рамках современной секулярной культуры (где, например, сильная групповая/коллективная компонента идентичности у представителей кавказских народов не отменяет выраженного личностного компонента, который доминирует в иных ситуациях).

Вопросы, возникающие у читателя, отягощенного социологической подготовкой, ни в коей мере не обусловлены недосказанностями книги — скорее это результат работы социологического воображения и методологической рефлексии, которая порождает сомнения, например, в доминировании объективного компонента в феномене свободы. Если бы свобода была объектив-

ной данностью, вряд ли можно было бы говорить о ней как о мифе, вернее разделять в свободе ее мифологическое и реалистическое содержание. Здесь возникает два вопроса: если в свободе эти два типа содержания разводятся, то почему нельзя аналогичным образом «препарировать» индивидуализм; как следует воспринимать те многочисленные научные (или наукообразные) трактовки свободы, которые отрицают ее именно в реалистических версиях. Сложно однозначно говорить о феноменах, в которых неразрывно переплетены субъективное и объективное измерения: если происходит перекосяк в объективистскую трактовку, то радикальные индивидуалисты предстают как своего рода социальные нигилисты-сепаратисты, отрицающие любую связь с окружающими как значимую; если же гиперболизируется идея субъективной (само) ценности, то происходит смещение к признанию субъективистской «запертости» каждого в собственном сознании, и тогда самопожертвование во имя высшей цели, по сути, становится невозможным, хотя подразумевается лишь глубинная интеграция некоей общей идеи/цели в мировоззрение индивида, которая не умаляет его субъективности («мое решение изменит мир так, как именно я считаю правильным»).

Схожие вопросы возникают и по поводу авторской трактовки творчества как деятельности, обращаемой к необъятному внешнему миру, что якобы нивелирует в нем эгоцентризм и индивидуализм, хотя что может быть более субъективным, чем творческое самовыражение. Гиперболизация образа творца превращает его в пленника собственного восприятия — ничего иного, кроме самовыражения, он миру предложить не может, причем будучи, как правило, уверен, что имеет право свое незначительное в масштабах (социальной) вселенной самовосприятие материализовывать и демонстрировать.

Упоминание возможности перерождения мифологемы индивидуализма в проявления национализма фактически говорит о формировании в современной секулярной культуре скорее мифа о коллективизме, чем мифа об индивидуализме. И здесь читатель, увлеченный гендерной проблематикой, может подвергнуть критике оба мифа: на протяжении человеческой истории и в значительной степени сегодня (пусть даже «очагово») мифологемы индивидуализма (включая героя и творца) и коллективизма (социальной сплоченности) носят маскулинно-центрированный характер. В целом трудно найти систему социальных представлений, столь же древнюю и значимую в культуре, как трактовки гендера («миф о женственности и мужественности», объявляющий социальные различия полов естественными/божественно дарованными), объединяющие столько взаимоисключающих метафор, что из них может следовать почти все, что угодно.

Впрочем, все перечисленные (а, возможно, и другие) вопросы читателя-социолога говорят как раз в пользу предлагаемого автором понимания мифа как обладающего «необозримым множеством интерпретаций... но самое несомненное в мифе — его универсализм... он предполагает высказыва-

ние если не всего обо всем, то главного о самом существенном и неизменно насущном» (С. 6), а такой универсализм достигается неоднозначностью (в мифологемах всегда есть некоторое общепризнанное содержание и в то же время что-то свое для каждого). «Совпадение или сближенность в мифе его глубокой, в чем-то сокровенной мудрости с доступностью... сохранилась навсегда. Иначе миф не мог бы носить всеобщего характера, быть универсальным не только ввиду предельности своего содержания, но точно так же и распространенности на всех, составляющих данную человеческую общность, в которой миф зародился... и авторство ему раз и навсегда противопоказано» (С. 7). В социологическом контексте пример тому — множество понятий, которые, имея конкретных «родителей», становятся как бы само собой разумеющимися постулатами некоего учения, скажем, в классическом марксизме это «диктатура пролетариата» — понятие весьма мифологическое.

«Миф — это борьба за логику и смысл, ведущаяся внелогическими средствами. Миф стремится стать мыслью, смыслом и точно так же легко мирится с их дефицитом, в соответствующих случаях замещая мысль, смысл словами, чуждыми или безразличными к ним» (С. 9). Подобная противоречивость мифа, выраженная, как правило, в его метафорике, позволяет мифу помочь человеку с ориентацией в мире: «миф может содержать в себе множество иллюзий, искажений, подтасовок... но высказывает в первую очередь истину о человеке, о том, каков он есть, ...миф всегда искренен» (С. 13). Однако это не означает, что миф предлагает упорядоченное восприятие/видение всего и вся и «однороден в определенных жизненных ситуациях и обстоятельствах. Они, оставаясь одними и теми же, допускают проекцию на них различных мифологем и мифологических систем» (С. 14). Примером может служить революция, которую автор рассматривает как очередной миф секулярной культуры: фраза «революция пожирает своих детей» обозначает, что реальные исторические события, которые мы сегодня называем, например, Октябрьской революцией 1917 года, неоднократно меняли «статус» своих творцов на прямо противоположный, используя соответствующий идеологический (мифологически и метафорически оснащенный) фундамент.

Автор убедительно показывает, что сегодня в рамках секулярной культуры мы продолжаем жить в плену мифического, просто оно изменилось и «повзрослело», превратившись из «мифа как менее всего рефлексивно-го, доверчивого к своим истинам, к своему наполнению» (хотя, например, плоскоземельщики явно пребывают именно в нем) в миф, «себя преодолевающий, вплоть до самоотрицания... но от этого миф философии и науки не перестанет быть мифом» (С. 26). Одна из множества справедливо обозначенных в книге причин неизживаемости мифа даже в постмифологическую эпоху — то, «что все мифологические реакции проникнуты оценкой и никогда не бывают ценностно нейтральными» (С. 36). Яркий пример — идея

универсальности прогресса: «То, что люди от века к веку переходят и еще будут переходить ко все более совершенному состоянию — это утверждение явно аксиологического плана [конкретные люди формулируют критерии того самого “хорошо”, к которому мы должны стремиться], это желаемое... легко подкрепляемое соответствующей гносеологией (научное знание, добытое в результате серьезных научных изысканий с их экспериментами и построениями теорий) и онтологией (реальность бытия прогресса как бесконечного)» (С. 37). Соответственно, еще большой вопрос, какой миф о прогрессе честнее, глубже и смелее — архаичный, «по возможности не закрывающий глаза на хаос» и «готовый выдержать увиденное», или новоевропейский, в котором «сильнее и отчетливее выражена готовность закрыть глаза на... неудобное, проблематичное, опасное для собственных построений» (С. 48).

Книга показывает эволюцию (понятия) мифа с древности до современности (с многочисленными историческими примерами и иллюстрациями из сферы науки и искусства), обосновывая возможность и даже необходимость использовать сегодня словосочетание «секулярный миф» (для читателя-социолога это объяснение столь убедительно, что имплицитно содержит элементы эмпирической верификации). Впрочем, автор отмечает не только познавательный потенциал этого понятия, но и его очевидные противоречия и ограничения: «В формально-логическом плане словосочетание “секулярный миф” сродни словосочетанию “квадратный круг” или “деревянное железо” [для русского языка такое семантическое противоречие привычно — мы празднуем «старый новый год» и понимаем ситуацию, когда «руки не доходят посмотреть» и пр.]... потому что миф — это реальность сакральная [кстати, многие понятия в книге не «расшифрованы», например, (де) сакрализация и (де) мифологизация]... и связь мифа с сакральной реальностью целиком никогда не прерывалась» (С. 122). Однако менялись «объекты» сакрализации (боги — природа — культура — человек), и мифология новоевропейского образца, заявляющая о своей полной несовместимости с мифологизированием и о своей категорической неприкрепленности к сакральной реальности, просто становилась все более наукообразной (на научной, а имитирующей научное знание), оставаясь «неизбывной в философии и мифологии» (С.133–134).

Вывод автора по результатам хронологической систематизации вариаций мифологического таков: «миф остается неистребим: преодоленный в одном отношении или ситуации, он пробьется, даст о себе знать в других отношениях и ситуациях... Пребывать вне мифа и мифологизирования — вне человеческих возможностей. Все, что остается человеку... — это констатация действительного состояния вещей, не сводимого к пораженьству. Уже потому, что миф не только обременяет культуру, но и в известных пределах работает на нее, позволяет создавать в ней момент устойчивости

[скажем, как бы мы ни относились к мифологеме «русский мир», очевидно, что она поддерживает русскую самоидентификацию далеко за пределами России]. Миф нельзя принимать в абсолютном смысле [это черта религиозного сознания], но и отвергать миф всецело также бессмысленно. В конце концов, каждый из мифов определенной эпохи оказывается преодолен за счет другого мифа [или же скорректирован в новых реалиях]. А такое возможно в результате того, что сознание человека не всецело и окончательно мифологично» (С. 142).

Второй раздел книги посвящен подтверждению всех обозначенных в первом разделе особенностей мифа в его секулярном бытовании. Автор последовательно реконструирует содержательные и функциональные элементы конкретных мифологем секулярной культуры, показывая даваемые ими возможности и налагаемые ограничения. Так, мифологема прогресса имеет фундаментальный характер — прогресс «первоначально был заявлен не просто как научное понятие, а еще в качестве универсалии, будучи соотнесен со всем сущим» (С. 145) и «предполагая в качестве субъекта человечество... совместные усилия по достижению совокупного обожения», хотя «гениальный человек может сыграть далеко выходящую из общего ряда роль (индивидуальный вклад в общее дело)» (С. 156). Автор отвергает критику идеи прогресса, полагая, что «прогресс — это что угодно, но не рациональная конструкция, приложимая к реальности с целью ее научного или философского постижения [здесь «миф секулярной культуры» оказывается созвучен веберовскому понятию идеального типа]. От мифа этого не требуется, а прогресс есть не что иное, как мифологема, чья мифологичность далеко на сразу стала очевидна» (С. 161). «В качестве реальности немифологизируемой, прогресс работает в строго определенных рамках с заранее принятыми критериями и без предположения о его неперменной осуществимости... и окончательности достигнутых им результатов... и может быть обратимым [распад единого европейского пространства в период пандемии коронавируса — тому подтверждение]» (С. 163).

Аналогичным образом во втором разделе разобраны другие мифологемы — свободы, великого человека, (освободительной) революции (позитивный революционаристский и отчужденно неприемлющий революцию мифы), религии в секулярной культуре и национализма как претензии на ценностную национальную исключительность, поэтому, «в отличие от мифов индивидуализма, прогресса и новоевропейской свободы, позитивного начала в национализме не обнаружить... остается определять миф национализма как мифологическую инъекцию, болезнь, в своей полной развернутости и осуществленности становящейся антимифом» (С. 291–292). Вероятно, для читателя-социолога наиболее интересна будет мифологема индивидуализма, включая ее частные (индивидуалистиче-

ское восприятие гениальности) и обобщающие (мифологема общественного договора) проявления.

В третьем разделе книги автор оценивает необходимость и возможность преодоления мифа в секулярной культуре, последовательно обосновывая и убедительно иллюстрируя те положения, что должны быть привычны и понятны представителю научного сообщества: «миф и мифологизм в своем научном поиске ученый (астроном-физик-математик)... обязан блокировать и изживать» (С. 298), что, однако, не означает запрет для историка-экономиста-политолога использовать «мифологему раздвоения некогда единой первобытной культуры на Восток и Запад с последующим усмотрением в последнем трех великих культурных эпох», потому что эта «мифологема работает, в том числе, и на уровне исторической жизни... она бытийственна... Разумеется, перед наукой стоит задача демифологизации истории, очищения ее от мифа. Без этого историческая наука невозможна. Но почему бы ей не признать того, что демифологизация в определенных случаях невозможна, и в ней нет смысла — ...когда “разоблаченный” миф оставляет после себя пустоту, ничем незаместимую, и последствия этого разрушительны» (С. 308–309).

В философии и богословии такая задача если и стоит, то решить ее значительно сложнее: в богословии «усматривают реальность, близкую к мифу, если не прямо тождественную ему» (С. 341), и «мифологические вкрапления в вероучение и богословие обычно представляют собой попытки истолкования тех или иных положений, дающихся с трудом или не дающихся окончательно разумному постижению» (С. 346). А философия — наука «доктринальная» в том смысле, в каком это понятие использовал Г.С. Батыгин (личностно-окрашенные, ценностно-нагруженные, метафорически избыточные теоретические построения) [2], поэтому «демифологизация себя сильно затрудняет путь философии к предельности и универсализму... это путь борьбы с собой и самопреодоление в стремлении (небезнадежном) оставаться философией» (С. 340). С заключительным выводом автора читатель-социолог вряд ли не согласится: «Преодоление секулярного мифа в его универсальном измерении, т.е. не как одной из мифологем наряду с другими, невозможно ни на научном, на ни философском уровне и тем более на уровне здравого смысла. Такое преодоление не просматривается даже в качестве самой отдаленной перспективы» (С. 377), в чем для современного человека есть как несомненные плюсы, так и очевидные минусы.

Библиографический список

1. Барт Р. Мифологии. М., 2000.
2. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М., 1995.
3. Воркачев С.Г. Счастье как лингвокультурный концепт. М., 2004.
4. Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 2001.

5. Ленуар Ф. Счастье. М., 2017.
6. Рикер П. Модель текста: осмысленное действие как текст // Социологическое обозрение. 2008. Т. 7. № 1.
7. Робертс Б. Конструирование индивидуальных мифов // ИНТЕР. 2004. № 2–3.
8. Топография счастья. Этнографические карты модерна. М., 2013.
9. Элиаде М. Аспекты мифа. М., 2010.

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-644-653

EDN: ZSHAKA

On the benefits of mythologies for sociological imagination*

I.V. Trotsuk, M.V. Tsimbal

RUDN University,

Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, 117198, Russia

(e-mail: irina.trotsuk@yandex.ru; 1132223166@rudn.ru)

Abstract. The article is a sociological review-reflection on the non-sociological book by P.A. Sapronov *Mythology of Secular Culture* (Saint Petersburg: Publishing House “Petropolis”, 2023. 380 pp.) and aims at proving the usefulness of ex-disciplinary reading for understanding one’s subject field. From the title of the book, it is obvious that it is interesting for the sociological reader for at least two reasons. First, secularization is clearly a sociological topic associated with the origins of our discipline, and secular culture/society is an undeniable object of sociological analysis. Second, the concept ‘myth’ has an ambiguous status in sociology: on the one hand, it is a generally recognized attribute of any archaic/ancient culture/society; on the other hand, today the word ‘myth’ has a rather metaphorical connotation, thus, serving as synonym for other concepts (ideology, misconceptions of mass consciousness, non-religious cults, common journalistic images, etc.). Although the book is declared as a course of lectures, it is rather a detailed monographic narrative that does not meet the formal requirements for the declared genre: the book does not have an introduction, footnotes or references — only a summary of the author’s theses in the conclusion and numerous references to relevant authors, concepts, examples and discussions in all three sections — “Myth and its variations” (historical transformations of the mythological), “Mythologems of secular culture” (progress, individualism, great man, freedom, revolution, religion in secular culture and nationalism) and “On the necessity and possibility of overcoming myth in secular culture” (prospects for demythologization on the paths of science, philosophy and theology).

Key words: myth; mythology; secular culture; demythologization; contemporary society; progress; individualism; sacred

*© I.V. Trotsuk, M.V. Tsimbal, 2023

The article was submitted on 21.04.2023. The article was accepted on 15.06.2023.



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

SCIENTIFIC LIFE

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-654-660

EDN: ZKRXWT

Социогуманитарные аспекты построения диалога в системе здравоохранения*

И.В. Богдан, В.А. Кузьменков

НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента

Департамента здравоохранения г. Москвы,

ул. Шарикоподшипниковская, 9, Москва, 115088, Россия

(e-mail: bogdaniv@zdrav.mos.ru; KuzmenkovVA@zdrav.mos.ru)

Аннотация. В статье представлен обзор IV Форума «Социология здоровья: новое здравоохранение в диалоге с каждым», организованного по поручению Департамента здравоохранения города Москвы ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» 17 ноября 2022 года. Представлены основные идеи выступлений участников форума — социологов, руководителей медицинских организаций Москвы и других регионов страны, представителей академического сообщества и НКО. По итогам рассмотрения докладов выделено четыре актуальных социогуманитарных аспекта построения диалога в системе здравоохранения: ценностные основы и методология построения, роль гражданского общества и основные тематики. Помимо методологических вопросов в рамках мероприятия были представлены результаты прикладных исследований, в частности проектов, направленных на борьбу с курением, на мотивирование к донорству крови, создание онкопсихологической службы и др. Отмечена актуальность внедрения социогуманитарных технологий в работу системы здравоохранения в целях ее пациентоцентричной трансформации, в том числе необходимость тиражирования социологических мониторингов.

Ключевые слова: здравоохранение; медицина; некоммерческие организации; пациентоориентированность; социология здоровья; ценности; диалог; форум

IV Форум «Социология здоровья: новое здравоохранение в диалоге с каждым», организованный по поручению Департамента здравоохранения города Москвы ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», прошел 17 ноября 2022 года. Как и в предыдущие годы, участие в Форуме приняли ру-

*© Богдан И.В., Кузьменков В.А., 2023

Статья поступила 21.02.2023 г. Статья принята к публикации 15.05.2023 г.

ководители медицинских организаций Москвы и других регионов страны, социологи, полстеры и представители академического сообщества из России и других стран, руководители НКО. Миссия Форума за четыре года его существования осталась неизменной: предоставить площадку для встречи представителей социогуманитарных наук и организаторов системы здравоохранения в интересах решения актуальных задач отрасли. Форум задал рамки обсуждения того, как мы можем использовать социогуманитарное знание для построения эффективного диалога на всех уровнях системы здравоохранения. Различные аспекты построения диалога были раскрыты с точки зрения социологии, менеджмента и социальной психологии.

Логика программы Форума прослеживается в ее структуре: от общих ценностных вопросов построения диалога, внимание которым было уделено преимущественно на пленарном заседании, — к более частным вопросам: практикам реализации социологических мониторингов (секция 1), пониманию мотивации пациента и медицинского работника в контексте самосохранительного поведения (секция 2), механизмам привлечения гражданского общества для улучшения взаимодействия акторов системы здравоохранения (секция 3), общим методическим вопросам (секция 4). Следует отметить партнерскую секцию ННИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко, посвященную пациенту будущего (секция 5), также раскрывающую важные аспекты диалога.

Во множестве докладов можно выделить следующие сквозные тематики: ценностные основы диалога, методология его построения, роль гражданского общества в нем и основные вопросы диалога. Рассмотрим отдельные тезисы докладов, которые наиболее полно раскрывают перечисленные тематики.

Ценностные основы диалога в системе здравоохранения. Самый общий термин, обозначающий современное аксиологическое направление трансформации здравоохранения, — ценностно-ориентированное здравоохранение (ЦОЗ), о котором говорили, например, О.А. Волкова (ИДИ ФНИСЦ РАН, НИИОЗММ ДЗМ) и П.И. Ананченкова (ННИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко), которая отметила запрос на маркетинговый подход в здравоохранении для лучшего понимания потребностей пациента. Формой реализации ЦОЗ в нашей стране можно назвать пациентоориентированность (1). На соответствующий сдвиг обратил внимание А.А. Тяжелников (КДП № 121 ДЗМ), который отметил важнейшую роль социологических опросов и маркетинговых методик в трансформации оказания медицинской помощи в сторону пациентоориентированности. При этом Д.Н. Проценко (ММКЦ «Коммунарка») отметил не просто пациентоориентированность, а «человекоориентированную медицину», «медицину с человеческим лицом». Также была отмечена важность особого подхода к отдельным группам пациентов, таким как онкопациенты и их родственники (О. Гольдман, «Ясное утро»), ма-

лообеспеченные, мигранты, женщины, дети (В. Суджата, Центр изучения социальных систем института Дж. Неру, Индия), в том числе болеющие орфанными заболеваниями (Е.Ю. Красильникова, НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко) или с ментальными особенностями (К.А. Алферова, Фонд «Я есть!»), и важность внимания не только к пациентам, но и к медицинским работникам.

Методология построения диалога. Ценностную трансформацию здравоохранения ряд спикеров объяснял применением социогуманитарных методик. Общая количественная оценка распространенности такого рода методик была дана И.В. Богданом (НИИОЗММ ДЗМ): он представил результаты исследования использования социогуманитарного инструментария в системе обратной связи от пациентов и сотрудников городских медицинских организаций Москвы. В 82 % обследованных медицинских организациях респонденты отметили, что у них ведется работа по выстраиванию обратной связи, в основном в форме замеров удовлетворенности. Показательно, что на самом деле 100 % организаций ведут такого рода работу как минимум с пациентами, к чему их обязывают нормативные акты, что может говорить о недостаточной информированности и централизации таких работ на мезоуровне системы здравоохранения. Исследование показало и другие проблемы, например дефекты методологии (особенно в опросах сотрудников), неумение или нежелание использовать результаты исследований и др. Данные проблемы могут быть устранены только после соответствующей ценностной трансформации в здравоохранении.

Секция 1 была посвящена опыту мониторингов. Так, И.И. Шестова (ГБ № 13 Тулы) и Л.В. Кещьян (ГБУЗ МО «Наро-Фоминский перинатальный центр») поделились опытом внедрения социологических технологий в работу с обратной связью от пациентов и наглядно продемонстрировали практические результаты таких мониторингов. И.И. Шестова описала реализацию стандартизированной методологии, которая включает системную работу по мониторингу ситуации и проведение на его основе преобразований. Сбор данных ведется по трем направлениям: опрос пациентов, анализ объективных данных и анализ клиентских путей. В ГБ № 13 такая работа привела к снижению количества жалоб пациентов и повышению доступности медицинской помощи, поскольку ожидание приема сократилось до 20 минут, появились зоны отдыха и навигация по помещениям, была усовершенствована модель коммуникации с пациентами и т.д. Команда Л.В. Кещьян использовала другой подход к опросам пациентов и внедрению инноваций на их основе — улучшение сервиса для пациента, например, внедрение различных занятий для заполнения свободного времени («альтернатива больничной койке»), психологических тренировок по подготовке к прохождению беременности, службы заботы о пациенте, в которую входит вся команда перинатального центра, и др.

Встречаются мониторинги, затрагивающие не только пациентов, но и сотрудников. Так, Д.Н. Проценко обозначил актуальную для его организации тему медико-социологических исследований — социально-психологический климат. На регулярной основе в ММКЦ «Коммунарка» проводятся опросы сотрудников, в том числе по вопросам стресса у медиков. В центре проводятся и опросы пациентов, например, связанные с качеством жизни после перенесенного covid-19. Социально-психологический подход ММКЦ «Коммунарка» хорошо дополняет психологический подход А.С. Огнева (РосНОУ), который отметил перспективность методов ай-трекинга и проективной психодиагностики в изучении социальных процессов. Исследования, проведенные под его руководством, позволили реконструировать психологический портрет противников вакцинации: они отличаются повышенным пессимизмом и протестностью, избегают инициативы, чаще воспринимают себя жертвами обстоятельств и т.д.

Особое внимание было уделено «противостоянию» количественного и качественного подходов в социологических исследованиях. В рамках отдельной секции в формате «поединка» встретились А.А. Новкунская (ЕУСПб), представлявшая позиции академистов-«качественников», и Р.С. Кузнецов (Исследовательский центр «Дискурс», ФНИСЦ РАН) — со стороны полстеров-«количественников». Судьей и модератором выступил представитель медицинского сообщества — К.П. Иванов (НКЦ № 3, ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. академика Б.В. Петровского»). На секции были обсуждены преимущества и ограничения двух подходов, однако оппоненты согласились, что они не должны противопоставляться и взаимно дополняют друг друга. Голосование по итогам секции показало практически равное количество сторонников аргументов каждого спикера. Такой формат — перспективное просветительское мероприятие, которое позволяет в форме «шоу» рассказать о разных методологических подходах и методических приемах, столкнуть их, ярче показав плюсы и минусы как для специалистов, так и для тех, кто не обладает в данной области компетенциями.

Роль гражданского общества. Секция «Помогая человеку: прикладная социология в добровольческих проектах» раскрыла роль НКО как важнейшего посредника в диалоге между представителями системы здравоохранения и получателями ее услуг, который смягчает «провалы государства и рынка» в этой области. Общую для нашей страны картину обрисовала И.В. Мерсиянова (НИУ ВШЭ): она отметила небольшую долю НКО, работающих в сфере здравоохранения (10%), хотя их потенциал в данной области сегодня велик. Так, доля тех, кто считает работу НКО в здравоохранении необходимой, примерно в два раза больше, чем тех, кто считает, что они там работают (55% против 27%). Важен и «портрет» медицинского волонтера: О.А. Волкова справедливо подчеркнула, что именно некоммерческие организации имеют возможность реализовывать ценностно-ориентированный подход как более гибкие и менее привязанные к строгим стандартам.

Другие спикеры представили кейсы, которые подтверждают важную роль НКО не только в улучшении здоровья населения, но и важную роль социологии в этом процессе. Так, Е.В. Дмитриева (МГИМО, Фонд «Здоровье и развитие») описала проект «Бросаем курить!», который охватил более 120 тысяч участников. Это мобильное приложение, которое дает инструкции по прекращению употребления табачной продукции, — его разработала междисциплинарная команда, в которую входили и социологи. Р.П. Шекуров («Donorsearch») представил результаты исследования мотивации молодежи к донорству крови на основе всероссийского социологического опроса, итогом которого стала комплексная стратегия вовлечения молодежи в донорство. Данный проект крайне актуален, поскольку только 1 % опрошенных дал абсолютно корректные ответы на вопросы о донорстве. Исследование показало сильную связь мотивации на донацию с альтруистическими мотивами, но молодежь не отказывается и от материального стимулирования, в частности, перспективным стимулом видится проверка здоровья (чекап) перед донацией.

О.Э. Гольдман охарактеризовала актуальность внедрения психологической службы в стационарах и амбулаториях онкологического профиля на основе социологического исследования. По данным опроса, только 7 % онкобольных обращались за психологической помощью, тогда как очень сильное эмоциональное напряжение испытывали 50 %, а 27 % вообще не знали, что делать, если им нужна помощь. Более того, родственникам психологическая помощь нужна даже в большей степени, чем самим пациентам, что зачастую упускается из виду на практике. Результаты исследования свидетельствуют об эффективности психологической помощи для улучшения состояния целевых групп.

Следует отметить международный опыт НКО в области медицины, представленный В.Н. Валиковой («Health and Help»). Социологические исследования в Гватемале выявили социальные детерминанты здоровья, а также факторы ранней смертности: низкооплачиваемый труд, недоступность медицинской помощи, гендерное неравенство, дискриминация по расовому, половому и социальному признакам, отсутствие пенсий и иных форм социального страхования. Важнейшее условие преодоления этой негативной ситуации — распространение образования, особенно среди женщин.

Темы диалога. Во-первых, это вопросы удовлетворенности, по сути, общей тональности диалога, которые выступают основным предметом социологических мониторингов. На Форуме были представлены данные об удовлетворенности здравоохранением. Так, согласно К.С. Родину (ВЦИОМ), 49 % россиян (из числа обратившихся за медицинской помощью в 2022 году) довольны ее качеством, и этот показатель в последние годы растет. Во-вторых, это вопросы самосохранительного поведения и здорового образа жизни (ЗОЖ). Так, И.А. Гильдебрандт (НАФИ) отметила диссонанс между тем, что

человек называет важным для самосохранительного поведения, и тем, что он реально делает. В частности, 26 % россиян игнорируют диспансеризацию, хотя она бесплатна, а 10 % никогда не были на ней. Е.А. Удалова (АНО «Диалог») также отметила, что прохождение регулярных медицинских обследований далеко не всегда воспринимается населением как фактор здоровья, и менее трети относят их к ЗОЖ.

Близка к ЗОЖ тема общественного психического здоровья, которая актуализировалась на фоне пандемии и кризисных явлений 2022 года. Т.А. Нестик (Институт психологии РАН) проанализировал социально-психологические предпосылки отношения россиян к пандемии и к самосохранительному поведению (включая вакцинацию) в ее рамках. Другую важную социопсихологическую тему поднял Е.Д. Касьянов (НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева), говоря о депрессии и ее стигматизации, которая ведет к обесцениванию жалоб людей, их изоляции и т.д.

Вопросы психологического самочувствия важны и для медицинского персонала. Например, в совместном докладе С.С. Петриков и А.Б. Холмогорова (НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ) представили результаты опроса врачей-ординаторов, который показал, что факторами выгорания медработников являются социодемографические особенности (более склонны к выгоранию женщины и молодежь), организационные условия (переработки, дефекты обратной связи), психологические причины (тревога, одиночество, отсутствие поддержки, перфекционизм), поэтому крайне важно внедрять инструменты психологической работы (например, тренинги эмоционального выгорания) в медицинских организациях.

Представленные тематики формируют дискурс отечественного экспертного сообщества о социогуманитарных аспектах диалога в системе здравоохранения. В нем можно отметить как продолжение тематик прошлых лет (например, ЗОЖ и пандемия), так и появление новых вопросов, например, движение к ЦОЗ и внедрение социологических мониторингов в систему здравоохранения, что особенно актуально ввиду недавнего законодательного принятия нового стандарта мониторинга в данной области.

Материалы Форума и видеозаписи основных секций за 2022 и предыдущие годы представлены на официальном сайте (socforum.niooz.ru). Мы приглашаем коллег, ведущих прикладные социогуманитарные проекты в области здравоохранения, к участию в пятом, юбилейном форуме в 2023 году, а ученых до 35 лет — на ежегодные профессиональные конкурсы молодых исследователей в рамках Форума.

Примечание

- (1) *Аксенова Е.И., Камынина Н.Н., Кравчук А.А., Нечаев О.И., Швец Ю.Ю.* Ценностно-ориентированное здравоохранение. Предпосылки становления в Москве. М., 2022.

Social-humanitarian aspects of dialogue in the healthcare system*

I.V. Bogdan, V.A. Kuzmenkov

Research Institute for Healthcare Organization and Medical Management
of Moscow Healthcare Department

Sharikopodshipnikovskaya St., 9, Moscow, 115088, Russia

(e-mail: bogdaniv@zdrav.mos.ru; KuzmenkovVA@zdrav.mos.ru)

Abstract. The article presents an overview of the IV Forum “Sociology of Health: Contemporary Healthcare in Dialogue with Everyone” organized by the Research Institute for Healthcare Organization and Medical Management of the Moscow Healthcare Department on November 17, 2022. The article summarizes presentations made by sociologists, heads of medical organizations of Moscow and other Russian regions, academic researchers, and representatives of non-profit organizations. The authors identify four key social and humanistic aspects of dialogue in the healthcare system: value basis, methodology, role of the civil society, and main issues. The Forum focused not only on methodological issues, but also on the applied research, such as projects aimed at smoking cessation, motivating to blood donation, developing psychological support service for cancer patients, etc. The authors emphasize the need for social-humanitarian technologies in the healthcare system for its patient-oriented transformation, including introduction of sociological monitoring.

Key words: healthcare; medicine; non-profit organizations; patient-oriented; sociology of health; values; dialogue; forum



DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-661-667

EDN: YEOGRL

Новейшие формы и модели кооперативного движения*

Л.А. Овчинцева

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
просп. Вернадского, 82, Москва, 119571, Россия

(e-mail: ovchintseva-la@ranepa.ru)

Аннотация. 30 июня 2023 года в онлайн-формате прошла третья международная научно-практическая конференция «Новейшая кооперация в сельском хозяйстве: альтернативные формы и модели в подтверждение экономической теории И.В. Емельянова», организованная по инициативе коллектива ученых — специалистов в области сельской кооперации. С докладами на конференции выступили как теоретики, так и практики сельской кооперации, отметившие противоречия в развитии кооперативного движения и обсудившие новые модели и формы кооперирования с теоретической и практической точек зрения.

Ключевые слова: сельская кооперация; кооперация в сельском хозяйстве; гибридные кооперативы; новые формы кооперативов

Развитие сельской и сельскохозяйственной кооперации в России сегодня подвержено воздействию взаимопротиворечащих факторов. С одной стороны, государство поддерживает кооперативы — только в 2022 году финансовая поддержка кооперации по линии Министерства сельского хозяйства составила около 3 млрд рублей. С другой стороны, нынешние институциональные условия для развития кооперативов нельзя назвать благоприятными, пример чему — ситуация с кредитными кооперативами: быстрый рост их числа вызвал резкую реакцию со стороны банков — они способствовали принятию нормативных актов, жесткое регулирование которых привело к существенному затруднению работы и втроекратному уменьшению численности российских кредитных кооперативов.

Противоречивый характер и новые стимулы для развития кооперации обсуждались 30 июня 2023 года на третьей международной научно-практической конференции «Новейшая кооперация в сельском хозяйстве: альтернативные формы и модели в подтверждение экономи-

*© Овчинцева Л.А., 2023

Статья поступила 02.07.2023 г. Статья принята к публикации 02.08.2023 г.

ческой теории И.В. Емельянова». Иван Васильевич Емельянов — выходец из Сибири, всю жизнь посвятивший учебе и просвещению и прошедший путь от помощника земского агронома до профессора, защитившего диссертацию в США по экономической теории кооперации. Его труды в нашей стране до сих пор малоизвестны, но вклад в общую теорию кооперации неоценим и признан практиками и теоретиками кооперации. В своих работах И.В. Емельянов описал разнообразные формы кооперации и показал, что кооперирование (в его терминологии — «агрегирование») приносит выгоду отдельным хозяйствам за счет горизонтальной и вертикальной интеграции и решения общих хозяйственных задач [см., напр.: 2–4].

Конференция проходила в онлайн формате, в ее организации и проведении принимали участие как ученые, так и практики: Комитет по развитию предпринимательства в агропромышленной комплексе Московской торгово-промышленной палаты, Институт общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кафедра аграрной экономики Московского государственного университета, Пензенский государственный технологический университет, кооперативный союз «Селькооп» и др. Для участия в конференции зарегистрировались представители более чем двадцати регионов России, а также стран ближнего зарубежья.

После приветственных слов организаторов конференции с докладом выступила М.П. Антонова, председатель оргкомитета, проанализировав современные тренды развития сельской кооперации. Она отметила, что кооперация последовательно поддерживалась государством в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на 2018–2024 годы» и др., и только с 2015 по 2018 годы на развитие кооперации было выделено около 6,5 млрд рублей. Государственные средства вкладывались и в развитие кооперативов, которые создавались на основе федерального закона № 193 «О сельскохозяйственной кооперации». В результате оказанной поддержки, а также реагируя на сигналы рынка, кооперативы эволюционировали в сторону бизнес-моделей. Качество продукции, поставляемой кооперативами на рынок, возросло, но они стали все больше напоминать предприятия, ориентированные преимущественно на повышение прибылей своих участников. Проведенные обследования показали, что понятие кооператива изменяется, социальная функция кооперативов отходит на второй план, уступая место стремлению выйти на стабильные рынки сбыта за счет повышения качества продукции и соответствия требованиям рынка, т.е. происходит вынужденное укрупнение кооперативов и их специа-

лизация — за прошедшие годы общее число кооперативов сократилось, а число их участников возросло. Более подробно с результатами данных исследований можно ознакомиться в монографии, изданной Центром агропродовольственной политики РАНХиГС в 2022 году [1]. Вывод докладчика таков: новейшие тенденции развития кооперативов не находят отражения в действующем законе о кооперации, а Емельянов предвидел такое развитие событий еще в начале XX века. Кооперативное движение выходит за рамки существующего законодательства, поэтому нередко кооперативы трансформируются в общества с ограниченной ответственностью или же кооперирующиеся хозяйственные субъекты вообще не оформляют свою кооперацию. В интересах сельского развития и общества в целом целесообразно актуализировать законодательную базу и поддерживать новые формы кооперации.

Доклад Г.Р. Янбых (Высшая школа экономики) был посвящен социальной базе кооперации, которая неуклонно сокращается вследствие сельской депопуляции и неравномерного расселения. За последние годы центры принятия решений сместились в сторону административных органов управления более высокого уровня, нежели сельский населенный пункт или даже сельский район, что снижает активность сельского населения, его предпринимательский потенциал и стремление к кооперированию. Социологические исследования показали, что сельские жители, как правило, не хотят, чтобы их дети жили на селе, хотя сами переезжать в города не собираются.

С докладом о современных проблемах в развитии кооперации и, в частности, о деятельности сельских жилищных кооперативов выступил И.В. Палаткин (Пензенский государственный технологический университет). Докладчик подчеркнул, что в свете теоретического наследия Емельянова очевидными становятся такие проблемы в развитии кооперации всех видов, как недооценка необходимости постепенного развития кооперативов от начального «эмбрионального» уровня до регионального и межрегионального, ошибочное представление о кооперативе как коммерческой организации, тогда как кооператив является «агрегатной» некоммерческой структурой. Кооперативное движение характеризуется многообразием, но в управлении им отсутствует программно-целевой подход. По мнению докладчика, необходимо создавать условия для выхода малых форм хозяйствования из «серой зоны», убирая бюрократические барьеры и адаптируя действующие регламенты к реальным возможностям сельского населения. Так, в Пензенской области в рамках государственной поддержки кооперации были созданы сотни кооперативов, и их число еще недавно достигало 1700, а сейчас действует всего 251 кооператив, из них 65 — в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Эти кооперативы решают такие задачи, как обеспечение жилищ водой, уборка и вывоз

отходов, благоустройство территорий, обеспечение первичной пожарной безопасности, ремонт жилых помещений, подведение коммуникаций, установка счетчиков, оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов, ведению личного подсобного хозяйства (вспашка земли, уборка урожая) и передаче бесхозных инженерных сетей обслуживающим организациям. Такие кооперативы эффективны, поскольку решения принимаются всеми участниками, налоговая составляющая в затратах на оказание услуг ниже, нет установленных тарифов, а есть возмещение затрат по себестоимости. Однако число таких кооперативов также сокращается, поскольку многие из них создавались по решению администрации «сверху», а не по инициативе населения.

Проблемы развития кооперации в сфере совместного пользования сельскохозяйственной техникой обозначил С.Н. Скоморохов (ВНИИЭСХ–ВИАПИ им. А.А. Никонова): несмотря на очевидную выгоду машинных кооперативов, фермеры не стремятся такие кооперативы регистрировать и обмениваются техникой неформально, хотя государственную поддержку может получить лишь зарегистрированный кооператив. Вероятно, на выбор такой формы кооперирования влияют и психологические причины — желание фермеров владеть собственной техникой. Также докладчик остановился на формах поддержки, которую оказывает предпринимателям платформа «Селькооп» и Московская торгово-промышленная палата: методическое и информационное консультирование, помощь в оформлении и регистрации локальных брендов. Палата заинтересована в сотрудничестве с кооперативами, поскольку одна из ее задач — наполнение рынка продовольствия московского региона качественной продукцией.

В.А. Сарайкин (ВНИЭСХ–ВИАПИ им. А.А. Никонова) подчеркнул важность сохранения социальной функции кооперативов и призвал к участию в проводимых им исследованиях кооперативы, которые выполняют те или иные социальные функции или вкладывают средства в строительство социальных объектов. И.Д. Котляров (Санкт-Петербургский политехнический университет) рассмотрел возможность гибридных форм кооперации — в том смысле, как их трактует институциональная теория О. Уильямсона. Впрочем, Емельянов отмечал, что содержательно между фирмой и кооперативом нет различий, а участники кооператива одновременно являются и собственниками, и потребителями услуг, и контролирующими органами, что создает условия для возникновения гибридов, сочетающих в себе разные функции фирмы и кооператива. Докладчик проанализировал слабые и сильные стороны фирмы и кооператива и показал, что гибридные формы могут пользоваться преимуществами обеих хозяйственных форм, пусть не в полном объеме, а лишь частично. В качестве примера гибридных кооперативных организаций были названы

франчайзинг и краудфандинговые проекты. По мнению докладчика, противопоставление фирмы и кооператива нецелесообразно, а увеличение вариантов гибридных форм позволит расширить доступ участников таких кооперативов к товарам и рабочим местам, поскольку не классические, а гибридные кооперативы имеют сегодня лучшие перспективы для развития.

А. Рыкалин (Органическая ферма «Черный хлеб») подверг критике программы государственной поддержки создания «сверху» «классических кооперативов» за «кооперативный догматизм», который, по его мнению, привел к тому, что создатели кооперативов были ориентированы не на разработку оптимальных бизнес-моделей, а на получение грантов — в результате попали в ловушку патернализма, их творческие силы были растрчены на оформление «бумажек», а государство впустую раздало бюджетные средства. Докладчик справедливо поставил следующие вопросы: почему фермеры в своем большинстве не стремились к самостоятельному созданию кооперативов? Какова средняя продолжительность работы кооператива после получения им государственного гранта? Почему не проводится оценка эффективности использования средств, выделенных на поддержку кооперативов? По мнению докладчика, слабые стороны кооператива как предприятия — дефицит квалифицированных кадров, непонимание сути кооперативов судами, налоговыми органами и банками, высокие транзакционные издержки. Возникает противоречие: потребность в кооперировании сохраняется, но формальные кооперативы ее не покрывают, в то время как социальные функции зачастую успешно выполняют корпоративные предприятия, ведущие благотворительные программы. Позиция Рыкалина получила поддержку участников конференции, отметивших справедливость критики и выводов выступавшего.

Оценки Рыкалина нашли подтверждение в докладах Ю.В. Дорошенко (кооперативный проект «Опорный фермер»), рассказавшего о сложностях, с которыми сталкиваются мелкие фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств в попытках получить доступ к земле и ресурсам, Н.Т. Хожаинова (Московский государственный университет), подчеркнувшего важность фермерской кооперации в обеспечении городов органической продукцией, и руководителя консалтинговой фирмы М.Д. Петровой, отметившей давно назревшую потребность в кооперации для предприятий молочной отрасли.

Дискуссия развернулась по поводу интерпретации категория «прибыль» в кооперативе. С одной стороны, кооператив является некоммерческой организацией и у него не может быть прибыли. С другой стороны, в деятельности кооперативов возникают свободные средства, которые в бухгалтерском учете проходят как прибыль, и таковую у кооперативов ищут банки и нало-

говые органы: первые потому, что по правилам банков кредит можно выдавать только успешно действующей организации, вторые — чтобы начислить налог. Высказывалось мнение, что применительно к кооперативу целесообразно оперировать категорией «рентабельность», а не «прибыль», но в любом случае кооперативу не следует бояться получать прибыль, но и не стоит стремиться к ней.

В заключительном докладе практик кооперации А.С. Чернышев (Общественное движение кооператоров) проинформировал участников конференции о переиздании двух ранних работ И.В. Емельянова — «Кооперативное объединение как предприятие» и «О природе кооперативного движения среди земледельцев». Докладчик отметил, что в ходе эволюции кооперативы утрачивают свои первоначальные черты и становятся все более похожими на другие хозяйственные формы, например общества с ограниченной ответственностью. Но это не означает, что кооперативы утрачивают свое хозяйственное и социальное значения, напротив, цифровизация облегчает коммуникацию и дает новые стимулы кооперативному движению, порождая новые формы и модели кооперации.

Информация о финансировании

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

Библиографический список

1. Антонова М.П., Гатаулина Е.А., Потапова А.А., Скоморохов С.Н. Почему не развивается сельскохозяйственная потребительская кооперация в России? Мнения участников процесса сельскохозяйственной кооперации в вопросах и ответах. М., 2022.
2. Емельянов И.В. Экономическая теория кооперации. Экономическая структура кооперативных организаций. Тюмень, 2005.
3. Емельянов И.В., Скоморохов С.Н., Антонова М.П., Царев В.М. Экономическая теория кооперации. Экономическая структура кооперативных организаций. М., 2020.
4. Емельянов И.В. Кооперативное объединение как предприятие. О природе кооперативного движения среди земледельцев. М., 2023.
5. Троцук И.В. Сельский человеческий капитал в концептуальной оптике: континуум и/или пост-изм? // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2023. Т. 23. № 2.
6. Chayanov A.V. A Short Course on Cooperation // *Russian Peasant Studies*. 2019. Vol. 4. No. 2.
7. Sovolev A., Kurakin A., Trotsuk I. Methodological approaches to the study of Russian cooperation and “Theory and practice of cooperation” as an academic discipline // *Russian Peasant Studies*. 2017. Vol. 2. No. 1.
8. Sobolev A., Kurakin A., Pakhomov V., Trotsuk I. Cooperation in rural Russia: Past, present and future // *Mir Rossii*. 2018. Vol. 27. No. 1.
9. Wegren S.K., Nikulin A.M., Trotsuk I. Problems and prospects for organic agriculture in Russia // *Post-Communist Economies*. 2023. 10.1080/14631377.2023.2237201

DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-3-661-667

EDN: YEOGRL

The latest forms and models of the cooperative movement *

L.A. Ovchintseva

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,
Vernadskogo Prosp., 82, Moscow, 119571, Russia

(e-mail: ovchintseva-la@ranepa.ru)

Abstract. On June 30, 2023, the third international scientific-practical conference “The latest cooperation in agriculture: Alternative forms and models in support of the economic theory of I.V. Emelyanov” was organized on the initiative of a team of scientists — specialists in the field of rural cooperation. Presentations were made by both theoreticians and practitioners of rural cooperation, who focused on the contradictions in the development of the cooperative movement and discussed new models and forms of cooperation in the theoretical and practical perspectives.

Key words: rural cooperation; cooperation in agriculture; hybrid cooperatives; new forms of cooperatives

Funding

The article was written on the basis of the RANEPА state assignment research program.



НАШИ АВТОРЫ

Барков Сергей Александрович — доктор социологических наук, заведующий кафедрой экономической социологии и менеджмента Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (e-mail: barkserg@live.ru).

Богдан Игнат Викторович — кандидат политических наук, начальник отдела медико-социологических исследований Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы (e-mail: bogdaniv@zdrav.mos.ru).

Гончаров Николай Владимирович — кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры философии, культурологии и социологии Оренбургского государственного университета (e-mail: nik567485@mail.ru).

Гудкова Яна Александровна — аспирант кафедры социологии Российского университета дружбы народов; специалист по работе с базами исследовательских данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (e-mail: gudkova_yaa@rudn.ru).

Добреньков Владимир Иванович — доктор философских наук, заведующий кафедрой истории и теории социологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (e-mail: Vladimiro040239@mail.ru).

Дорохина Ольга Васильевна — кандидат социологических наук, доцент кафедры управления проектами и программами Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (e-mail: odorokhina@yandex.ru).

Железняков Александр Сергеевич — доктор политических наук, руководитель Центра политологии и политической социологии Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (e-mail: zhelezniakovas@yahoo.com).

Ильина Илона Валерьевна — старший преподаватель кафедры общей и экономической социологии Тюменского государственного университета (e-mail: i.v.ilina@utmn.ru).

Кравченко Сергей Александрович — доктор философских наук, профессор кафедры социологии Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации; главный научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (e-mail: sociol7@yandex.ru).

Кузьменков Владимир Александрович — кандидат философских наук, аналитик отдела медико-социологических исследований Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы (e-mail: KuzmenkovVA@zdrav.mos.ru).

Куропятник Марина Степановна — доктор социологических наук, заведующая кафедрой культурной антропологии и этнической социологии Санкт-Петербургского государственного университета (e-mail: kuropjatnik@bk.ru).

Ланцев Виктор Леонидович — заместитель директора по проектному управлению Дворца пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина (Орел) (e-mail: vic_lan@mail.ru).

Никулин Александр Михайлович — кандидат экономических наук, директор Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; проректор по научной работе Московской высшей школы социальных и экономических наук (e-mail: harmina@yandex.ru).

Овчинников-Лысенко Егор Геннадьевич — аспирант кафедры социологии, Российского университета дружбы народов (e-mail: 1042200009@rudn.university).

Овчинцева Любовь Александровна — кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (e-mail: lovchintseva@gmail.com).

Осадчая Галина Ивановна — доктор социологических наук, руководитель отдела исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (e-mail: osadchaya111@gmail.com).

Подлесная Мария Александровна — кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Центра изучения регионов России Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (e-mail: yamar@yandex.ru).

Попов Евгений Александрович — доктор философских наук, профессор кафедры социологии и конфликтологии Алтайского государственного университета (e-mail: popov.eug@yandex.ru).

Проказина Наталья Васильевна — доктор социологических наук, заведующая кафедрой социологии и социальных технологий Среднерусского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (e-mail: nvprokazina@mail.ru).

Синельников Александр Борисович — доктор социологических наук, профессор кафедры социологии семьи и демографии Московского государственного университет имени М.В. Ломоносова (e-mail: sinalexander@yandex.ru).

Старостина Дарья Антоновна — соискатель кафедры социологии Российского университета дружбы народов (e-mail: dasha-sta@yandex.ru).

Субботина Мария Владимировна — кандидат социологических наук, ассистент кафедры социологии Российского университета дружбы народов (e-mail: mariya.subbotina.1995@mail.ru).

Троцук Ирина Владимировна — доктор социологических наук, профессор кафедры социологии Российского университета дружбы народов; ведущий научный сотрудник Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Центра фундаментальной социологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (e-mail: irina.trotsuk@yandex.ru).

Тупикова Вера Андреевна — аспирант кафедры социологии Российского университета дружбы народов (e-mail: tupikova-va@rudn.ru).

Цзык Владимир Анатольевич — доктор философских наук, заведующий кафедрой этики и декан факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов (e-mail: tsvyk-va@rudn.ru).

Цзык Ирина Вячеславовна — доктор философских наук, профессор кафедры философии Московского авиационного института (национального исследовательского университета); доцент очно-заочного отделения факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов (e-mail: tsvykirina@mail.ru).

Цимбал Мария Владимировна — магистрант кафедры социологии Российского университета дружбы народов (e-mail: 1132223166@rudn.ru).

Чулуунбаатар Гелегпил — доктор философских наук, первый вице-президент Монгольской академии наук (e-mail: chuluunbaatargelegpil@gmail.com).

Шевченко Олег Константинович — доктор философских наук, доцент Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, академик Российской академии естественных наук, председатель Крымского республиканского отделения Российского философского общества (e-mail: skilur80@mail.ru).



К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

В журнале публикуются статьи по методологии, истории и теории социологии, статьи по результатам социологических и междисциплинарных исследований по широкому кругу вопросов социально-гуманитарного знания на русском и английском языках, а также реферативные обзоры и рецензии.

Редакция принимает к рассмотрению статьи, оформленные в строгом соответствии со следующими правилами:

1. **Объем рукописи** — от 30 до 50 тысяч знаков (с пробелами) для статей, от 20 до 30 тысяч знаков — для рецензий. Формат страницы — А4, шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 12, межстрочный интервал — полуторный, нумерация страниц не проставляется. Отступ первой строки абзаца — 1,25, поля на странице — 30 мм слева, 20 мм справа, сверху и снизу. Ссылки даются в тексте в квадратных скобках, внутри которых первая цифра указывает на номер источника в библиографическом списке, вторая, стоящая после прописной буквы «С», — на номер страницы в источнике (например, [1. С. 26]; ссылка на несколько источников — [1. С. 126; 4. С. 43]). Ссылки на примечания даются в круглых скобках, например, (1).
2. **Все таблицы, схемы, графики и рисунки** встраиваются непосредственно в текст статьи. Они должны быть пронумерованы и озаглавлены. Таблицы должны иметь заголовки, размещаемый над табличным полем, рисунки — подрисуночные подписи. При использовании в статье нескольких таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна.
3. **Формулы** размечаются, поясняются и снабжаются библиографическими ссылками.
4. В рукописях необходимо приводить два списка ссылок на использованные в работе источники — «**Библиографический список**» и «**References**». Ссылки на источники в Библиографическом списке следует оформлять в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008; References — в стиле Vancouver в версии AMA. Требования к оформлению Библиографического списка и References приведены на сайте журнала: http://journals.rudn.ru/index.php/index/pages/view/References_guidelines.
5. К статье обязательно прилагаются:
 - ♦ **аннотация** (резюме) объемом 250–300 слов на русском и английском языках;

- ◆ **список 7–8 ключевых слов** на русском и английском языках; каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого точкой с запятой;
- ◆ **авторская справка** на русском и английском языках, где указываются: Ф.И.О. (полностью), официальное наименование места работы, должность, ученая степень, а также **данные для связи с автором** — адрес места работы, включая почтовый индекс, номер телефона (служебный, мобильный), электронный адрес; **в статье допускается не более четырех соавторов.**

Срок рассмотрения и принятия решения о публикации составляет не менее **шести** месяцев со дня регистрации рукописи в редакции. Материалы, не принятые к изданию, не возвращаются. Редакция не вступает с авторами в переписку в случае отказа от публикации их материалов.

Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, цитат, статистических и социологических данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений.

Публикуемые материалы могут не отражать точки зрения редколлегии.

Представляя в редакцию рукопись, автор берет на себя обязательство не публиковать ее ни полностью, ни частично в ином издании без согласия редколлегии.

С содержанием вышедших номеров и аннотациями статей можно ознакомиться на сайте журнала в сети Интернет: <http://journals.rudn.ru/sociology/index>.

Для отправки статьи в редакцию необходимо заполнить форму на сайте журнала <http://journals.rudn.ru/sociology/information/authors>, где также приведена подробная информация для авторов.

AUTHORS' GUIDELINES

The journal publishes articles on the methodology, history and theory of sociology, articles on the results of sociological and interdisciplinary studies covering a wide range of issues in social sciences and humanities written in Russian and English, as well as brief surveys and book reviews.

The editors will consider articles strictly complying with the following standards:

1. **The size of the manuscript** — from 30 to 50 thousand symbols for articles; from 20 to 30 thousand symbols for reviews. References are to be given in the text in square brackets, inside of which the first figure indicates the number of the source in the references list, the second one, following the capital letter “P”, indicates the page number in the source (for example, [1. P. 126]; references to several sources — [1. P. 126; 4. P. 43]). References to footnotes are to be given in round brackets, for example, (1).
2. All the **tables, diagrams, graphs, and drawings** are to be incorporated in the text of the article. They are to be numbered and supplied with a title. Tables are to be given a title placed above the table, drawings are to have captions. When several tables and/or drawings are used in the article, their numeration is obligatory.
3. **Formulas** are to be marked out, explained and provided with references.
4. The manuscript must include a list of references submitted in accordance with the Vancouver style of the AMA version. Requirements to ‘References’ can be found on the journal’s website: http://journals.rudn.ru/index.php/index/pages/view/References_guidelines.
5. **It is obligatory to attach** the following to the manuscript:
 - ◆ **abstract (summary)** of 250–300 words in Russian and English;
 - ◆ **a list of 7–8 key terms** in Russian and English; each key term or word-combination is to be separated from another one with a semicolon;
 - ◆ **information about the author** in Russian and English, including: the author’s full name, the official name of the place of employment, position, scientific degree, as well as the **author’s contact data** — mailing address, telephone number (office, mobile), electronic address; **the number of co-authors cannot be more than four.**

The decision as to publication is made no less than within **six** months from the day the manuscript is registered at the editorial office. Materials which are not accepted for publication will not be returned. The editors will not enter into correspondence with the authors in case of refusal to publish the articles submitted by them.

The authors will bear full responsibility for the selection and authenticity of the given facts, quotations, statistical and sociological data, proper names, geographical names and other information.

The published materials may not reflect the viewpoint of the editorial board and the editors.

The author, submitting a manuscript to the editors, undertakes not to have it published, either in full or partially, in any other publication without the editors' consent.

The published issues and abstracts of the articles are available on the website of the journal: <http://journals.rudn.ru/sociology/index>.

To send the article to the editors the author need to fill in a form on the website <http://journals.rudn.ru/sociology/information/authors>, which also provides the detailed information for authors.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
